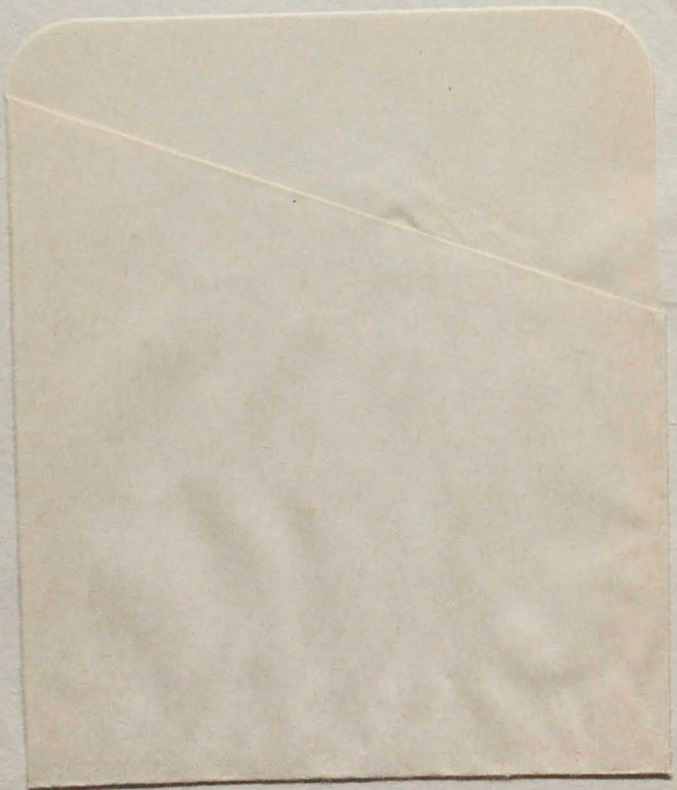
M 108/212
т. 1, 2 1933г.



ИНСТИТУТ МАРКСА — ЭНГЕЛЬСА — ЛЕНИНА при ЦК ВКП(б)

М 108/212

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Н. К. КРУПСКАЯ

ВОСПОМИНАНИЯ О ЛЕНИНЕ

801-84/12810-5

ЧАСТИ I и II

917

ПАРТИЗДАТ 1933

2011142663

Государственная
БИБЛИОТЕКА
СССР
им. В. И. Ленина

92632-55

Подготовила к печати *Е. И. Лакида* под наблюдением *М. И. Гляссер*
Техред *А. Дружков*
Книга сдана в набор 27/X—33 г. Подписана к печати 21/XII—33 г.
Партиздат № 716
Тираж 50.000 экз. Главлит № Б—35265. Формат бумаги 82×110/32. 22 1/2 печ. листов (70 848 зн. в бум. л.). Бум. л. 5 3/4. Вышла в свет — декабрь 1933 г.,
Заказ 7357

Фабрика книги «Красный пролетарий» издательства ЦК ВКП(б) Партиздата.
Москва, Краснопролетарская, 16.

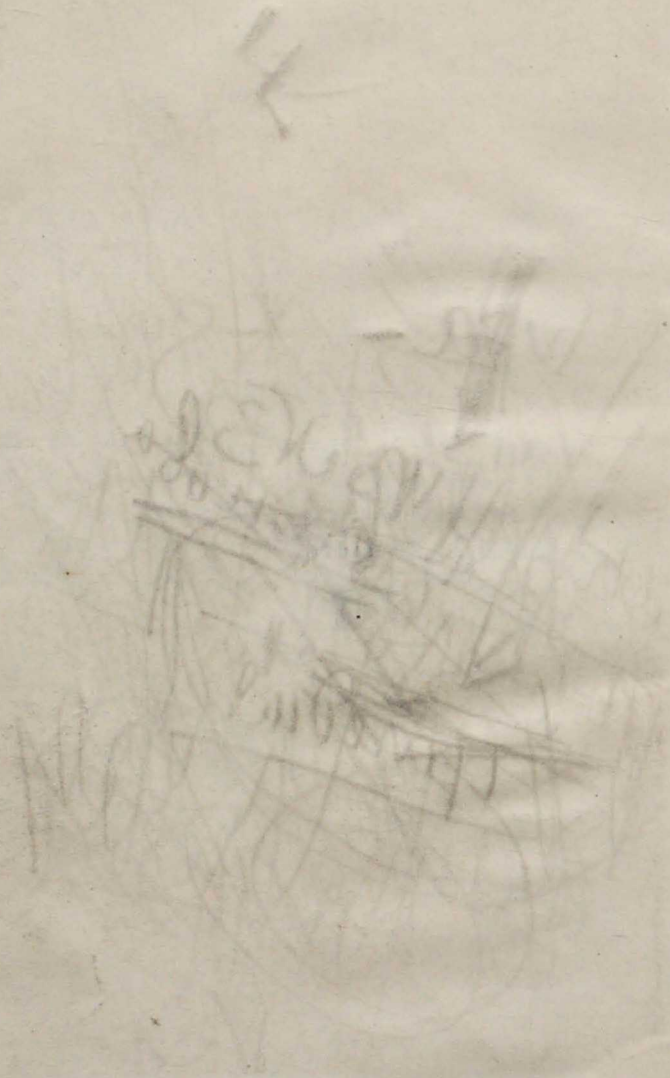
ОТ РЕДАКЦИИ

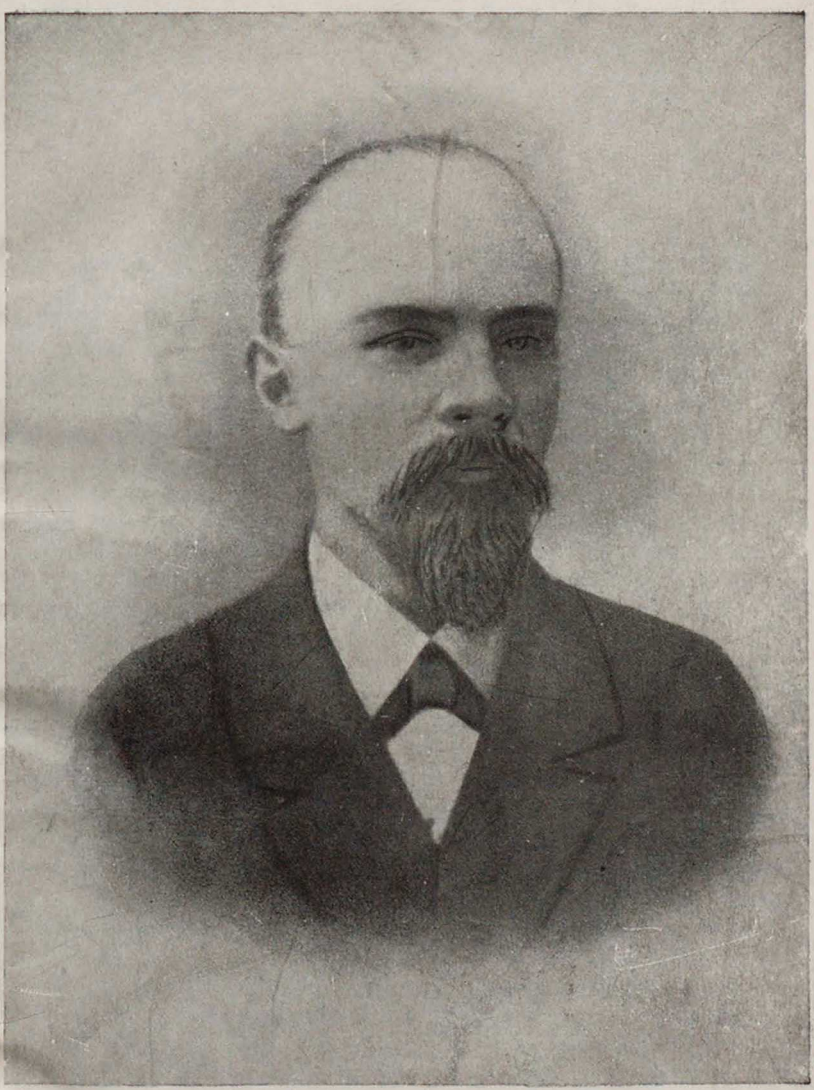
I часть «Воспоминаний о Ленине» Н. К. Крупской была издана Институтом Ленина в 1930 г., II часть — в 1931 году. Для настоящего, второго, издания «Воспоминания» вновь пересмотрены и частично дополнены автором, причем учтены также те изменения, которые были внесены в отдельное издание «Воспоминаний» Партиздата в 1932 году.

10 октября 1933 года.

ЧАСТЬ

I





В. И. Ленин. 1897 г.

ВВЕДЕНИЕ

Печатаемые в данном сборнике воспоминания охватывают период с 1894 по 1917 г. со времени моей первой встречи с Владимиром Ильичем в 1894 г. и до Октябрьской революции 1917 года. Мне часто говорят, что написаны мои воспоминания очень скупо. Конечно, об Ильиче всем хочется знать как можно больше, да и описываемая эпоха—эпоха громадной исторической значимости. Она охватывает период развертывания массового рабочего движения, создания крепкой, принципиально выдержанной, закаленной тяжелейшими условиями подпольной работы партии рабочего класса. Это были годы непрерывного нарастания сознательности и организованности рабочего класса, годы отчаянной борьбы, закончившейся победой пролетарской социалистической революции.

Об этой эпохе и об Ильиче можно написать горы интереснейших статей и книг. Целью моих воспоминаний было дать картину той обстановки, в которой приходилось жить и работать Владимиру Ильичу.

Я писала только о том, что особенно живо осталось в памяти. Воспоминания написаны в два приема. Первая часть, охватившая период 1894—1907 гг., написана в первые годы после смерти Владимира Ильича. Сюда входят воспоминания, касающиеся работы в Питере, времени пребывания в ссылке, мюнхенского и лондонского периодов первой эмиграции, времени перед II съездом партии, самого II съезда и периода непосредственно после него—до 1905 г. Затем идут воспоминания о 1905 г. за границей и в России и, наконец, о 1905—1907 годах. Я писала их большею частью в Горках, бродя по опустелым комнатам горкинского большого дома и по зарастающим травой дорожкам парка, где провел последний год своей жизни Ильич. 1894—1907 годы были годами пафоса молодого рабочего движения, и невольно мысли бежали к этим годам, когда закладывался фундамент нашей партии. Я писала первую часть почти исключительно по памяти. Вторая часть написана несколько лет спустя.

За эти годы пришлось много учиться, усиленно перечитывать Ленина, учиться связывать в тесный узел прошлое с настоящим, учиться жить с Ильичем без Ильича. И вторая часть вышла иная, чем первая. В первой части больше бытового, во второй— больше о том написано, чем жил, о чем думал Владири Ильич. Мне кажется, что лучше читать обе части вместе. Первая часть органически связана со второй, без первой части вторая может показаться менее „воспоминательной", чем она есть на самом деле.

Когда писалась вторая часть воспоминаний, вышло уже в печати много других воспоминаний, сборников, вышло второе издание Сочинений Ленина. Это наложило на воспоминания о второй эмиграции определенную печать. Можно было лучше проверять себя. Кроме того период, которого касаются эти воспоминания, 1908—1917 гг., гораздо сложнее, чем предыдущий.

Первый период (1893—1907 гг.) охватывал первые шаги рабочего движения, борьбу за создание партии, нарастание первой революции, направленной главным образом против царизма, и разгром этой революции.

Второй период—годы второй эмиграции—куда сложнее. Это были годы подытоживания революционной борьбы первого периода, годы борьбы с реакцией. Это были годы бешеной борьбы против оппортунизма во всех его видах и формах, это была борьба за необходимость приспособлять свою работу ко всяким условиям, не снижая ее революционного содержания.

Годы второй эмиграции были годами, когда надвигалась мировая война, когда оппортунизм рабочих партий привел к краху II Интернационала, когда перед мировым пролетариатом встали совершенно новые задачи, когда нужно было прокладывать новые пути, камешек по камешку закладывать фундамент III Интернационала, когда нужно было начинать в труднейших условиях борьбу за социализм. В эмиграции все эти задачи выступали во всей своей конкретности и остроте.

Вне понимания этих задач нельзя понять, как вырос Ленин в вождя Октября, в вождя мировой революции. Вожди складываются и вырастают в борьбе, в ней черпают свою силу. Воспоминания об Ильиче за годы эмиграции нельзя писать, не связывая каждой мелочи его жизни с той борьбой, которую он вел за эти годы.

За девять лет второй эмиграции Ильич остался таким же, каким был. Он так же много и организованно работал, зорко вглядывался в каждую мелочь, все связывал в один узел, так же умел глядеть правде в глаза, как бы горька она ни была.

КНИГА ИМЕЕТ

Листов печатных	Выпуск	В перепл. един. соедин. №№ выв.	Таблиц	Карт	Иллюстр.	Служебн. №№	№№ списка и порядковый	1967 г.

19

4

II

407/472

1

Он, как и раньше, ненавидел всякий гнет и эксплоатацию, так же был предан делу пролетариата, делу трудящихся, так же близко к сердцу принимал их интересы, и вся его жизнь была подчинена интересам дела, само собой это выходило, иначе жить он не мог. Он так же горячо и резко боролся против оппортунизма, против каких бы то ни было сматываний удочек. Он попрежнему рвал с ближайшими друзьями, если видел, что они тащат движение назад, умел просто, по-товарищески, подойти к вчерашнему противнику, если это нужно для дела, попрежнему говорил все начистоту, напрямик. Попрежнему любил он природу, пушистый весенний лес, горные тропы и озера, шум большого города, рабочую толпу, любил товарищей, движение, борьбу, жизнь во всей ее многогранности. Тот же Ильич, только если наблюдать его изо дня в день, заметишь, что стал он сдержаннее, еще внимательнее к людям, подолгу ходит задумавшись, и, когда оторвешь его от его мыслей, печалью какой-то светятся в первую минуту его глаза.

Трудны были годы эмиграции, унесли они у Ильича не мало сил, но выковали из него того борца, который нужен был массам, который повел их к победам.

Н. Крупская.

В ПИТЕРЕ

1893—1898 гг.

Владимир Ильич приехал в Питер осенью 1893 г., но я познакомилась с ним не сразу. Слышала я от товарищей, что с Волги приехал какой-то очень знающий марксист, затем мне принесли тетрадку „о рынках", порядком-таки зачитанную. В тетрадке были изложены взгляды, с одной стороны, нашего питерского марксиста, технолога Германа Красина*, с другой—взгляды приезжего волжанина. Тетрадка была согнута пополам: на одной стороне растрепанным почерком, с помарками и вставками, излагал свои мысли Г. Б. Красин, на другой—старательно, без помарок, писал свои примечания и возражения приезжий.

Вопрос о рынках тогда очень интересовал всех нас, молодых марксистов.

В питерских марксистских кружках в это время стало уже откристаллизовываться особое течение. Суть его заключалась в том, что процессы общественного развития представителям этого течения казались чем-то механическим, схематическим. При таком понимании общественного развития отпадала совершенно роль масс, роль пролетариата. Революционная диалектика марксизма выбрасывалась куда-то за борт, оставались мертвые „фазы развития". Конечно, сейчас каждый марксист сумел бы опровергнуть эту „механистическую" точку зрения, но тогда наши питерские марксистские кружки весьма волновались по этому поводу. Мы были еще очень плохо вооружены—многие из нас не знали из Маркса, например, ничего, кроме первого тома „Капитала", даже „Коммунистического манифеста" в глаза не видали и лишь инстинктом чувствовали, что эта „механистичность"—прямая противоположность живому марксизму.

Вопрос о рынках стоял в тесной связи с этим общим вопросом понимания марксизма.

---

* Студент Петербургского технологического института Герман Борисович Красин — брат покойного Л. Б. Красина. *Ред.*

Сторонники „механистичности“ обычно очень абстрактно подходили к вопросу.

С тех пор прошло больше тридцати лет.

Тетрадка, о которой идет речь, к сожалению, не сохранилась. Я могу говорить только о том впечатлении, какое она произвела на нас.

Вопрос о рынках в его трактовке приезжим марксистом ставился архи-конкретно, связывался с интересами масс, чувствовался во всем подходе именно живой марксизм, берущий явления в их конкретной обстановке и в их развитии.

Хотелось поближе познакомиться с этим приезжим, узнать поближе его взгляды.

Увидала я Владимира Ильича лишь на масленице. На Охте у инженера Классона, одного из видных питерских марксистов, с которым я года два перед тем была в марксистском кружке, решено было устроить совещание некоторых питерских марксистов с приезжим волжанином. Для ради конспирации были устроены блины. На этом свидании, кроме Владимира Ильича, были: Классон, Я. П. Коробко, Серебровский, Ст. Ив. Радченко и другие; должны были притти Потресов и Струве, но, кажется, не пришли. Мне запомнился один момент. Речь шла о путях, какими надо итти. Общего языка как-то не находилось. Кто-то сказал—кажется, Шевлягин,—что очень важна вот работа в комитете грамотности. Владимир Ильич засмеялся, и как-то зло и сухо звучал его смех—я потом никогда не слыхала у него такого смеха:

„Ну, что ж, кто хочет спасать отечество в комитете грамотности, что ж, мы не мешаем“.

Надо сказать, что наше поколение подростками еще было свидетелями схватки народовольцев с царизмом, свидетелями того, как либеральное „общество“ сначала всячески „сочувствовало“, а после разгрома партии Народной Воли трусливо поджало хвост, боялось всякого шороха, начало проповедь „малых дел“.

Злое замечание Владимира Ильича было понятно. Он пришел сговариваться о том, как итти вместе на борьбу, а в ответ услышал призыв распространять брошюры комитета грамотности.

Потом, когда мы близко познакомились, Владимир Ильич рассказал мне однажды, как отнеслось „общество“ к аресту его старшего брата. Все знакомые отшатнулись от семьи Ульяновых, перестал бывать даже старичок-учитель, приходивший раньше постоянно играть по вечерам в шахматы. Тогда еще

Брат В. И. Ленина — А. И. Ульянов.

не было железной дороги из Симбирска, матери Владимира Ильича надо было ехать на лошадях до Сызрани, чтобы добраться до Питера, где сидел сын. Владимира Ильича послали искать попутчика—никто не захотел ехать с матерью арестованного.

Эта всеобщая трусость произвела, по словам Владимира Ильича, на него тогда очень сильное впечатление.

Это юношеское переживание, несомненно, наложило печать на отношение Владимира Ильича к „обществу", к либералам. Он рано узнал цену всякой либеральной болтовни.

На „блинах" ни до чего не договорились, конечно. Владимир Ильич говорил мало, больше присматривался к публике. Людям, называвшим себя марксистами, стало неловко под пристальными взорами Владимира Ильича.

Помню, когда мы возвращались, идя вдоль Невы с Охты домой, мне впервые рассказали о брате Владимира Ильича, бывшего народовольцем, принимавшем участие в покушении на убийство Александра III в 1887 г. и погибшем от руки царских палачей, не достигнув еще совершеннолетия.

Владимир Ильич очень любил брата. У них было много общих вкусов, у обоих была потребность долго оставаться одному, чтобы можно было сосредоточиться. Они жили обычно вместе, одно время в особом флигеле, и когда заходил к ним кто-либо из многочисленной молодежи—двоюродных братьев или сестер—их было много, у мальчиков была излюбленная фраза: „Осчастливьте своим отсутствием". Оба брата умели упорно работать, оба были революционно настроены. Но сказывалась, вероятно, разница возрастов. Александр Ильич не обо всем говорил с Владимиром Ильичем.

Вот что рассказывал Владимир Ильич:

Брат был естественником. Последнее лето, когда он приезжал домой, он готовился к диссертации о кольчатых червях и все время работал с микроскопом. Чтобы использовать максимум света, он вставал на заре и тотчас же брался за работу. „Нет, не выйдет из брата революционера, подумал я тогда,—рассказывал Владимир Ильич,—революционер не может уделять столько времени исследованию кольчатых червей". Скоро он увидел, как он ошибся.

Судьба брата имела, несомненно, глубокое влияние на Владимира Ильича. Большую роль при этом сыграло то, что Владимир Ильич к этому времени уже о многом самостоятельно думал, решал уже для себя вопрос о необходимости революционной борьбы.

Если бы это было иначе, судьба брата, вероятно, причинила бы ему только глубокое горе или, в лучшем случае, вызвала бы в нем решимость и стремление итти по пути брата. При данных условиях судьба брата обострила лишь работу его мысли, выработала в нем необычайную трезвость, уменье глядеть правде в глаза, не давать себя ни на минуту увлечь фразой, иллюзией, выработала в нем величайшую честность в подходе ко всем вопросам.

Осенью 1894 г. Владимир Ильич читал в нашем кружке свою работу „Друзья народа". Помню, как всех захватила эта книга. В ней с необыкновенной ясностью была поставлена цель борьбы. „Друзья народа" в отгектографированном виде потом ходили по рукам под кличкой „желтеньких тетрадок". Они были без подписи. Их читали довольно широко, и нет никакого сомнения, что они оказали сильное влияние на тогдашнюю марксистскую молодежь. Когда, в 1896 г., я была в Полтаве, П. П. Румянцев, бывший в те времена активным социал-демократом, только что вышедшим из тюрьмы, характеризовал „Друзья народа" как наилучшую, наиболее сильную и полную формулировку точки зрения революционной социал-демократии.

Зимою 1894—1895 гг. я познакомилась с Владимиром Ильичем уже довольно близко. Он занимался в рабочих кружках за Невской заставой, я там же четвертый год учительствовала в Смоленской вечерне-воскресной школе и довольно хорошо знала жизнь Шлиссельбургского тракта *. Целый ряд рабочих из кружков, где занимался Владимир Ильич, были моими учениками по воскресной школе: Бабушкин, Боровков, Грибакин, Бодровы—Арсений и Филипп, Жуков и др. В те времена вечерне-воскресная школа была прекрасным средством широкого знакомства с повседневной жизнью, с условиями труда, настроением рабочей массы. Смоленская школа была на 600 человек, не считая вечерних технических классов и примыкавших к ней школ женской и Обуховской. Надо сказать, что рабочие относились к „учительницам" с безграничным доверием: мрачный сторож Громовских лесных складов с просиявшим лицом докладывал учительнице, что у него сын родился; чахоточный текстильщик желал ей за то, что выучила грамоте, удалого жениха; рабочий-сектант, искавший всю жизнь бога, с удовлетворением писал,

* Рабочий пригород Петербурга, расположенный за Невской заставой; раньше он назывался Невским, теперь Володарским районом. Через него вдоль Невы проходила большая почтовая дорога (тракт) на Шлиссельбург, вдоль которой и расположено большинство фабрик и заводов этого района. *Н. К.*

что только на страстной узнал он от Рудакова (другого ученика школы), что бога вовсе нет, и так легко стало, потому что нет хуже, как быть рабом божьим,—тут тебе податься некуда, рабом человеческим легче быть—тут борьба возможна; напивавшийся каждое воскресенье до потери человеческого облика табачник, так насквозь пропитанный запахом табака, что, когда наклонишься к его тетрадке, голова кружилась, писал каракулями, пропуская гласные,—что вот нашли на улице трехлетнюю девчонку, и живет она у них в артели, надо в полицию отдавать, а жаль; приходил одноногий солдат и рассказывал, что Михайла, который у вас прошлый год грамоте учился, надорвался над работой, помер, а помирая вас вспоминал, велел поклониться и жить долго приказал; рабочий-текстильщик, горой стоявший за царя и попов, предупреждал, чтобы „того, черного, остерегаться, а то он все на Гороховую шляется“ *; пожилой рабочий толковал, что никак он из церковных старост уйти не может, „потому что больно попы народ обдувают и их надо на чистую воду выводить, а церкви он совсем даже не приверженен и насчет фаз развития понимает хорошо“, и т. д. и т. п. Рабочие, входившие в организацию, ходили в школу, чтобы приглядываться к народу и намечать, кого можно втянуть в кружки, вовлечь в организацию. Для них учительницы не все уже были на одно лицо, они уж различали, кто из них насколько подготовлен. Если признают, что учительница „своя“, дают ей знать о себе какой-нибудь фразой, например, при обсуждении вопроса о кустарной промышленности скажут: „Кустарь не может выдержать конкуренции с крупным производством“, или вопрос загнут: „А какая разница между петербургским рабочим и архангельским мужиком?“ и после этого смотрят уж на учительницу особым взглядом и кланяются ей по-особенному: „Наша, мол, знаем“.

Что случится на тракту, сейчас же все рассказывали, знали—учительницы передадут в организацию.

Точно молчаливый уговор какой-то был.

Говорить в школе можно было, в сущности, обо всем, несмотря на то, что в редком классе не было шпика; надо было только не употреблять страшных слов „царь“, „стачка“ и т. п., тогда можно было касаться самых основных вопросов. А официально было запрещено говорить о чем бы то ни было: однажды закрыли так называемую повторительную группу за то, что там, как установил нагрянувший инспектор, преподавали

* На Гороховой помещалось Охранное отделение. *Ред.*

десятичные дроби, разрешалось же по программе учить только четырем правилам арифметики.

Я жила в то время на Старо-Невском, в доме с проходным двором, и Владимир Ильич по воскресеньям, возвращаясь с занятий в кружке, обычно заходил ко мне, и у нас начинались бесконечные разговоры. Я была в то время влюблена в школу, и меня можно было хлебом не кормить, лишь бы дать поговорить о школе, об учениках, о Семянниковском заводе, о Торнтоне, Максвеле и других фабриках и заводах Невского тракта. Владимир Ильич интересовался каждой мелочью, рисовавшей быт, жизнь рабочих, по отдельным черточкам старался охватить жизнь рабочего в целом, найти то, за что можно ухватиться, чтобы лучше подойти к рабочему с революционной пропагандой. Большинство интеллигентов того времени плохо знало рабочих. Приходил интеллигент в кружок и читал рабочим как бы лекцию. Долгое время в кружках „проходилась“ по рукописному переводу книжка Энгельса „Происхождение семьи, частной собственности и государства“. Владимир Ильич читал с рабочими „Капитал“ Маркса, объяснял им его, а вторую часть занятий посвящал расспросам рабочих об их работе, условиях труда и показывал им связь их жизни со всей структурой общества, говоря, как, каким путем можно переделать существующий порядок. Увязка теории и практики—вот что было особенностью работы Владимира Ильича в кружках. Постепенно такой подход стали применять и другие члены нашего кружка. Когда в следующем году появилась виленская гектографированная брошюра „Об агитации“,—почва для ведения листковой агитации была уже вполне подготовлена, надо было только приступить к делу. Метод агитации на почве повседневных нужд рабочих в нашей партийной работе пустил глубокие корни. Я поняла вполне всю плодотворность этого метода только гораздо позже, когда жила в эмиграции во Франции и наблюдала, как во время громадной забастовки почтарей в Париже французская социалистическая партия стояла совершенно в стороне и не вмешивалась в эту стачку. Это-де дело профсоюзов. Они считали, что дело партии—только политическая борьба. Необходимость увязки экономической и политической борьбы была им совершенно неясна.

Многие из товарищей, работавших тогда в Питере, видя эффект листковой агитации, в увлечении этой формой работы забыли, что это одна из форм, но не единственная форма работы в массе, и пошли по пути пресловутого „экономизма“.

Владимир Ильич никогда не забывал о других формах работы. В 1895 г. он пишет брошюру „Объяснение закона о штрафах,

взимаемых с рабочих на фабриках и заводах" *. В этой брошюре Владимир Ильич дал блестящий образец того, как надо было подходить к рабочему-середняку того времени и, исходя из его нужд, шаг за шагом подводить его к вопросу о необходимости политической борьбы. Многим интеллигентам эта брошюра показалась скучной, растянутой, но рабочие зачитывались ею: она была им понятна и близка (брошюра была напечатана в народовольческой типографии и распространена среди рабочих). В то время Владимир Ильич внимательно изучал фабричные законы, считая, что, объясняя эти законы, особенно легко выяснить рабочим связь их положения с государственным устройством. Следы этого изучения видны в целом ряде статей и брошюр, написанных в то время Ильичем для рабочих, и в брошюрах „Новый фабричный закон", в статьях „О стачках", „О промышленных судах" и др. **.

Хождение по рабочим кружкам не прошло, конечно, даром: началась усиленная слежка. Из всей нашей группы Владимир Ильич лучше всех был подкован по части конспираций: он знал проходные дворы, умел великолепно надувать шпионов, обучал нас, как писать химией в книгах, как писать точками, ставить условные знаки, придумывал всякие клички. Вообще у него чувствовалась хорошая народовольческая выучка. Недаром он с таким уважением говорил о старом народовольце Михайлове, получившем за свою конспиративную выдержку кличку „дворник". Слежка все росла, и Владимир Ильич настаивал, что должен быть намечен „наследник", за которым нет слежки и которому надо передать все связи. Так как я была наиболее „чистым" человеком, то решено было назначить „наследницей" меня. В первый день пасхи нас человек 5—6 поехало „праздновать пасху" в Царское Село к одному из членов нашей группы— Сильвину, который жил там на уроке. Ехали в поезде как незнакомые. Чуть не целый день просидели над обсуждением того, какие связи надо сохранить. Владимир Ильич учил шифровать. Почти полкниги исшифровали. Увы, потом я не смогла разобрать этой первой коллективной шифровки. Одно было утешением: к тому времени, когда пришлось расшифровать, громадное большинство „связей" уже провалилось.

Владимир Ильич тщательно собирал эти „связи", выискивая всюду людей, которые могли бы так или иначе пригодиться в революционной работе. Помню, раз, по инициативе Владимира

---

* Соч., т. I, стр. 363—397. *Ред.*

** Соч., т. II, стр. 133—173, 579—591, 593—603. *Ред.*

Ильича, было совещание представителей нашей группы (Владимира Ильича и, кажется, Кржижановского) с группой учительниц воскресной школы. Почти все они потом стали социал-демократками. В числе их была Лидия Михайловна Книпович, старая народоволка, перешедшая через некоторое время к социал-демократам. Старые партийные работники помнят ее. Человек с громадной революционной выдержкой, строгая к себе и другим, прекрасно знавшая людей, прекрасный товарищ, окружавшая любовью, заботой тех, с кем она работала, Лидия сразу оценила во Владимире Ильиче революционера. Она взяла на себя сношения с народовольческой типографией: договаривалась, передавала рукописи, получала оттуда уже напечатанные брошюры, развозила корзины с ними по своим знакомым, организовала разноску литературы рабочим. Когда она была арестована,—по указаниям предателя, наборщика типографии,—было арестовано у разных знакомых Лидии двенадцать корзин с нелегальными брошюрами. Народовольцы печатали тогда массами брошюры для рабочих: „Рабочий день“, „Кто чем живет“, брошюру Владимира Ильича „О штрафах“, „Царь-Голод“ и др. Двое из народовольцев, работавших в лахтинской типографии,—Шаповалов и Катанская,—теперь в рядах коммунистической партии. Лидии Михайловны нет уж в живых. Она умерла в 1920 г., когда Крым, где она жила последние годы, был под белыми. Умирая, в бреду она рвалась к своим, к коммунистам, умерла с именем дорогой ей партии коммунистов на устах. Из учительниц были, кажется, на этом совещании еще П. Ф. Куделли, А. И. Мещерякова (обе теперь члены партии) и др. За Невской же заставой учительствовала и Александра Михайловна Калмыкова—прекрасная лекторша (помню ее лекции для рабочих о государственном бюджете), имевшая в то время книжный склад на Литейном. С Александрой Михайловной познакомился тогда близко и Владимир Ильич. Струве был ее воспитанником, у нее всегда бывал и Потресов, товарищ Струве по гимназии. Позднее Александра Михайловна содержала на свои деньги старую „Искру“, вплоть до II съезда. Она не пошла следом за Струве, когда он перешел к либералам, и решительно связала себя с искровской организацией. Кличка ее была „тетка“. Она очень хорошо относилась к Владимиру Ильичу. Теперь она умерла, перед тем два года лежала в санатории в Детском Селе, не вставая. Но к ней приходили иногда дети из соседних детских домов. Она рассказывала им об Ильиче. Она писала мне весной 1924 г., что надо издать особой книжкой статьи Владимира Ильича 17-го года, полные горячей страсти, его

горячие призывы, так действовавшие тогда на массы. В 1922 г. Владимир Ильич написал Александре Михайловне несколько строк теплого привета, таких, какие только умел он писать. Александра Михайловна была тесно связана с Группой „Освобождение Труда". Одно время (кажется, в 1899 г.), когда Засулич приезжала в Россию, Александра Михайловна устраивала ее нелегально и постоянно с ней видалась. Под влиянием начавшего нарастать рабочего движения и под влиянием статей и книг Группы „Освобождение Труда", под влиянием питерских социал-демократов полевел Потресов, полевел на время и Струве. После ряда предварительных собраний стала нащупываться почва для совместной работы. Задумали сообща издать сборник „Материалы к характеристике нашего хозяйственного развития". От нашей группы в редакцию входили: Владимир Ильич, Старков и Степан Ив. Радченко, от них—Струве, Потресов и Классон. Судьба сборника известна. Он был сожжен царской цензурой. Весной 1895 г. перед отъездом за границу Владимир Ильич усиленно ходил в Озерной переулок, где жил тогда Потресов, торопясь закончить работу.

Лето 1895 г. Владимир Ильич провел за границей, частью прожил в Берлине, где ходил по рабочим собраниям, частью в Швейцарии, где впервые видел Плеханова, Аксельрода, Засулич. Приехал полон впечатлений, захватив из-за границы чемодан с двойным дном, между стенками которого была набита нелегальная литература.

Тотчас же за Владимиром Ильичем началась бешеная слежка: следили за ним, следили за чемоданом. У меня двоюродная сестра служила в то время в адресном столе. Через пару дней после приезда Владимира Ильича она рассказала мне, что ночью, во время ее дежурства, пришел сыщик, перебирал дуги (адреса в адресном столе надевались по алфавиту на дуги) и хвастал: „Выследили, вот, важного государственного преступника Ульянова,—брата его повесили,—приехал из-за границы, теперь от нас не уйдет". Зная, что я знаю Владимира Ильича, двоюродная сестра поторопилась сообщить мне об этом. Я, конечно, сейчас же предупредила Владимира Ильича. Нужна была сугубая осторожность. Дело, однако, не ждало. Работа развертывалась. Завели разделение труда, поделив работу по районам. Стали составлять и пускать листки. Помню, что Владимир Ильич составил первый листок к рабочим Семянниковского завода*.

* Листок к рабочим Семянниковского завода относится к началу 1895 г. (Соч., т. I, стр. 462). Сохранилась часть листка. *Ред.*

Тогда у нас не было никакой техники. Листок был переписан от руки печатными буквами, распространялся он Бабушкиным. Из четырех экземпляров два подобрали сторожа, два пошли по рукам. Распространялись листки и по другим районам. Так, на Васильевском Острове был составлен листок к работницам табачной фабрики Лаферм. А. А. Якубова и З. П. Невзорова (Кржижановская) прибегли к такому способу распространения: свернув листки в трубочки так, чтобы их можно было удобно брать поодиночке, и пристроив соответственным образом передники, они, как только раздался гудок, пошли быстрым шагом навстречу работницам, валившим гурьбой из ворот фабрики, и почти пробежали мимо, рассовывая недоумевающим работницам в руки листки. Листок имел успех. Листки, брошюры шевелили рабочих. Решено было еще издавать—благо была нелегальная типография—популярный журнал „Рабочее Дело". Тщательно готовил Владимир Ильич к нему материал. Каждая строчка проходила через его руки. Помню одно собрание у меня на квартире, когда Запорожец с необычайным увлечением рассказывал о материале, который ему удалось собрать на сапожной фабрике за Московской заставой. „За все штраф,—рассказывал он,—каблук на сторону посадишь—сейчас штраф". Владимир Ильич рассмеялся: „Ну, если каблук на сторону посадил, так штраф, пожалуй, и за дело". Материал собирал и проверял Владимир Ильич тщательно. Помню, как собирался, например, материал о фабрике Торнтона. Решено было, что я вызову к себе своего ученика, браковщика фабрики Торнтона, Кроликова, уже высылавшегося раньше из Петербурга, и соберу у него по плану, намеченному Владимиром Ильичем, все сведения. Кроликов пришел в какой-то занятой у кого-то шикарной шубе, принес целую тетрадь сведений, которые были им еще устно дополнены. Сведения были очень ценные. Владимир Ильич на них так и накинулся. Потом я с Аполлинарией Александровной Якубовой, повязавшись платочками и придав себе вид работниц, сами ходили еще в общежитие фабрики Торнтона, побывали и на холостой половине и на семейной. Обстановка была ужасающая. Только на основании так собранного материала писал Владимир Ильич корреспонденции и листки. Посмотрите его листок к рабочим и работницам фабрики Торнтона*. Какое детальное знание дела в нем видно. И какая это школа была для всех работавших тогда товарищей. Вот

* Соч., т. I, стр. 449—452. *Ред.*

Дом предварительного заключения в Петербурге.

уж когда учились „вниманию к мелочам“. И как глубоко врезывались в сознание эти мелочи.

Наше „Рабочее Дело“ не увидало света. 8 декабря было у меня на квартире заседание, где окончательно зачитывался уже готовый к печати номер. Он был в двух экземплярах. Один экземпляр взял Ванеев для окончательного просмотра, другой остался у меня. На утро я пошла к Ванееву за исправленным экземпляром, но прислуга мне сказала, что он накануне съехал с квартиры. Раньше мы условились с Владимиром Ильичем, что я в случае сомнений буду наводить справки у его знакомого—моего сослуживца по главному управлению железных дорог, где я тогда служила,—Чеботарева. Владимир Ильич там обедал и бывал каждый день. Чеботарева на службе не было. Я зашла к ним. Владимир Ильич на обед не приходил: ясно было, что он арестован. К вечеру выяснилось, что арестованы очень многие из нашей группы. Хранившийся у меня экземпляр „Рабочего Дела“ я отнесла на хранение к Нине Александровне Герд—моей подруге по гимназии, будущей жене Струве. Чтобы не всадить еще больше арестованных, было решено пока „Рабочее Дело“ не печатать.

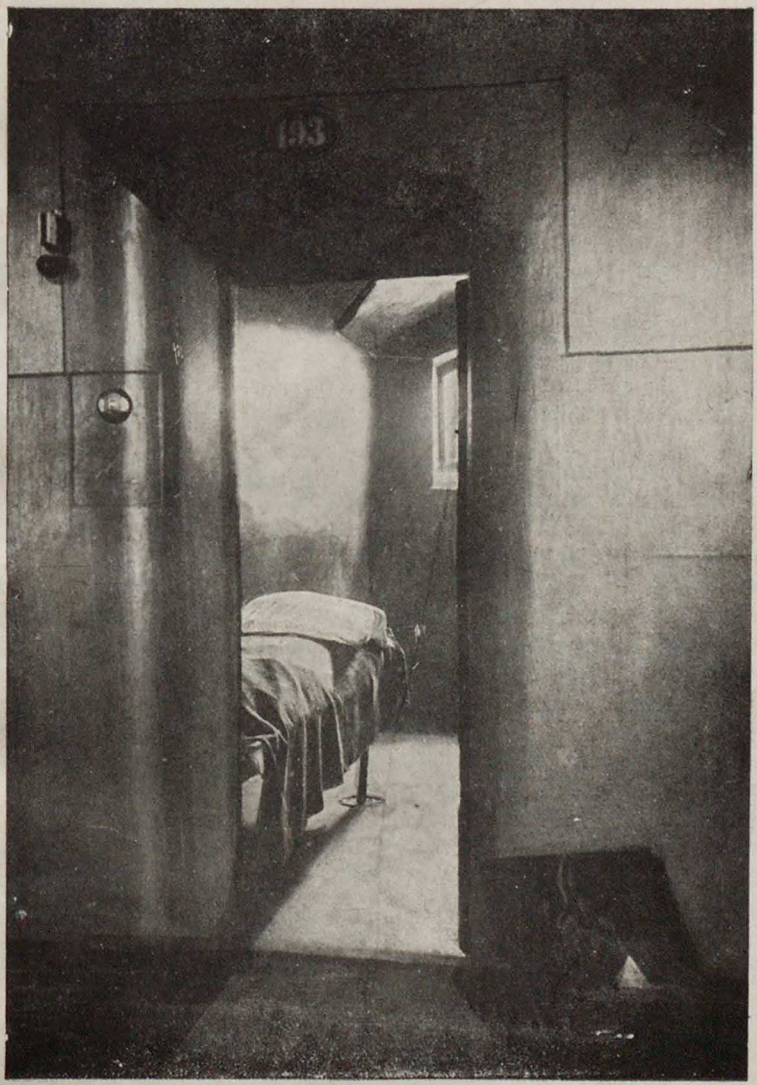
Этот петербургский период работы Владимира Ильича был периодом чрезвычайно важной, но невидной по существу, незаметной работы. Он сам так характеризовал ее. В ней не было внешнего эффекта. Вопрос шел не о геройских подвигах, а о том, как наладить тесную связь с массой, сблизиться с ней, научиться быть выразителем ее лучших стремлений, научиться быть ей близким и понятным и вести ее за собой. Но именно в этот период петербургской работы выковывался из Владимира Ильича вождь рабочей массы.

Когда я пришла в первый раз после ареста нашей публики в школу, Бабушкин отозвал меня в угол под лестницу и там передал мне написанный рабочими листок по поводу ареста. Листок носил чисто политический характер. Бабушкин просил передать листок в технику и доставить им для распространения. До тех пор у нас с ним никогда не было прямой речи о том, что я связана с организацией. Я передала листок нашим. Помню это собрание—было оно на квартире Ст. Ив. Радченко. Собрались все остатки группы. Прочитав листок, Ляховский воскликнул: „Разве можно печатать этот листок,—он ведь написан на чисто политическую тему“. Однако, так как листок был, несомненно, написан рабочими, по собственной инициативе, так как рабочие просили его непременно напечатать, решено было листок печатать. Так и сделали.

Сношения с Владимиром Ильичем завязались очень быстро. В те времена заключенным в предварилке можно было передавать книг сколько угодно, они подвергались довольно поверхностному осмотру, во время которого нельзя было, конечно, заметить мельчайших точек в середине букв или чуть заметного изменения цвета бумаги в книге, где писалось молоком. Техника конспиративной переписки у нас быстро совершенствовалась. Характерна была заботливость Владимира Ильича о сидящих товарищах. В каждом письме на волю был всегда ряд поручений, касающихся сидящих: к такому-то никто не ходит, надо подыскать ему „невесту", такому-то передать на свидании через родственников, чтобы искал письма в такой-то книге тюремной библиотеки, на такой-то странице, такому-то достать теплые сапоги и пр. Он переписывался с очень многими из сидящих товарищей, для которых эта переписка имела громадное значение. Письма Владимира Ильича дышали бодростью, говорили о работе. Получая их, человек забывал, что сидит в тюрьме, и сам принимался за работу. Я помню впечатление от этих писем (в августе 1896 г. я тоже села). Письма молоком приходили через волю в день передачи книг—в субботу. Посмотришь на условные знаки в книге и удостоверишься, что в книге письмо есть. В шесть часов давали кипяток, а затем надзирательница водила уголовных в церковь. К этому времени разрежешь письмо на длинные полоски, заваришь чай и, как уйдет надзирательница, начинаешь опускать полоски в горячий чай—письмо проявляется (в тюрьме неудобно было проявлять на свечке письма, вот Владимир Ильич додумался проявлять их в горячей воде), и такой бодростью оно дышит, с таким захватывающим интересом читается. Как на воле Владимир Ильич стоял в центре всей работы, так в тюрьме он был центром сношений с волей.

Кроме того, он много работал в тюрьме. Там было подготовлено „Развитие капитализма в России" *. Владимир Ильич заказывал в легальных письмах нужные материалы, статистические сборники. „Жаль, рано выпустили, надо бы еще немножко доработать книжку, в Сибири книги доставать трудно",—в шутку говорил Владимир Ильич, когда его выпустили из тюрьмы. Не только „Развитие капитализма" писал Владимир Ильич в тюрьме, писал листки, нелегальные брошюры, написал проект программы для первого съезда (он состоялся лишь в 1898 г., но намечался раньше), высказывался по вопросам, обсуждавшимся в организации. Чтобы его не накрыли во время писанья молоком, Вла-

* Соч., т. III. *Ред.*



Камера в тюрьме, в которой сидел В. И. Ленин в 1895-96 г. г.

димир Ильич делал из хлеба маленькие молочные чернильницы, которые—как только щелкнет фортка,—быстро отправлял в рот. „Сегодня съел шесть чернильниц“,—в шутку добавлял Владимир Ильич к письму.

Но как ни владел Владимир Ильич собой, как ни ставил себя в рамки определенного режима, а нападала, очевидно, и на него тюремная тоска. В одном из писем он развивал такой план. Когда их водили на прогулку, из одного окна коридора на минутку виден кусок тротуара Шпалерной. Вот он и придумал, чтобы мы—я и Аполлинария Александровна Якубова—в определенный час пришли и стали на этот кусочек тротуара, тогда он нас увидит. Аполлинария почему-то не могла пойти, а я несколько дней ходила и простаивала подолгу на этом кусочке. Только что-то из плана ничего не вышло, не помню уже отчего.

Пока Владимир Ильич сидел, работа на воле разрасталась, стихийно росло рабочее движение. После ареста Мартова, Ляховского и др. силы группы еще более ослабели. Правда, в группу входили новые товарищи, но это была публика уже менее идейно закаленная, а учиться уже было некогда, движение требовало обслуживания, требовало массы сил, все уходило на агитацию, о пропаганде некогда было и думать. Листковая агитация имела большой успех. Стачка 30 тысяч питерских текстилей, разразившаяся летом 1896 г., прошла под влиянием социал-демократов и многим вскружила голову.

Помню, как однажды (кажется, в начале августа) на собрании в лесу, в Павловске, Сильвин читал вслух проект листка.

В одном месте там попалась фраза, прямо ограничивающая рабочее движение одной экономической борьбой. Прочтя ее вслух, Сильвин остановился. „Ну и загнул же я, как это меня угораздило“,—сказал он, смеясь. Фраза была вычеркнута. Летом 1896 г. с треском провалилась лахтинская типография, пропала возможность печатать брошюры, пришлось надолго отложить попечение о журнале.

Во время стачки 1896 г. в нашу группу вошла группа Тахтарева, известная под кличкой „обезьян“, и группа Чернышева, известная под кличкой „петухов“ *. Но пока „декабристы“ сидели в тюрьме и держали связь с волей, работа шла еще по старому руслу. Когда Владимир Ильич вышел из тюрьмы **, я еще си-

---

* 12 августа 1896 г. произошел новый провал: провалились почти все „старики“ и многие из „петухов“. Я тоже была арестована тогда же.—*Н. К.*

** Владимир Ильич был выпущен из тюрьмы 26 (14) февраля 1897 года. *Ред.*

дела. Несмотря на чад, охватывающий человека по выходе из тюрьмы, на ряд заседаний, Владимир Ильич ухитрился все же написать письмишко о делах. Мама рассказывала, что он в тюрьме поправился даже и страшно весел.

Меня выпустили вскоре после „Ветровской истории“ (заключенная Ветрова сожгла себя в Петропавловской крепости). Жандармы выпустили целый ряд сидевших женщин, выпустили и меня и оставили до окончания дела в Питере, приставив пару шпионов, ходивших всюду по стопам. Я застала организацию в самом плачевном состоянии. Из прежних работников остался только Степан Ив. Радченко и его жена. Сам он работы по конспиративным условиям уже вести не мог, но продолжал быть центром и держал связь. Держал связь и со Струве. Струве вскоре женился на Н. А. Герд, социал-демократке, Струве и сам в то время был социал-демократствующим. Он совершенно не был способен к работе в организации, тем более подпольной, но ему льстило, несомненно, что к нему обращаются за советами. Он даже написал манифест для I съезда социал-демократической рабочей партии. Зиму 1897—1898 гг. я довольно часто бывала у Струве с поручениями от Владимира Ильича—тогда Струве издавал журнал „Новое Слово“—да и так с Ниной Александровной меня многое связывало. Я приглядывалась к Струве. Он в то время был социал-демократом, но меня удивляла его книжность и почти полное отсутствие интереса к „живому дереву жизни“, интереса, которого так много было у Владимира Ильича. Струве достал мне перевод и взялся его редактировать. Он, видимо, тяготился этой работой, быстро уставал (с Владимиром Ильичем мы часами сидели за аналогичной работой. Владимир Ильич совсем иначе работал, весь уходя в работу, даже такую, как перевод). Для отдыха брал Струве читать Фета. Кто-то в воспоминаниях своих писал, что Владимир Ильич любил Фета. Это неверно. Фет—махровый крепостник, у которого не за что зацепиться даже, но вот Струве действительно любил Фета.

Знала я и Туган-Барановского. Я училась вместе с его женой, Лидией Карловной Давыдовой (дочерью издательницы журнала „Мир Божий“), и одно время захаживала к ним. Лидия Карловна была очень умная и хорошая, хотя и безвольная женщина. Она была умнее своего мужа. В его разговорах всегда чувствовался чужой человек. Раз я обратилась к нему с подписным листом на стачку (костромскую, кажется). Я получила сколько-то, не помню сколько, рублей, но должна была выслушать рассуждение на тему: „Непонятно-де, почему надо поддерживать стачки,—стачка

В. И. Ленин в группе членов Петербургского Союза борьбы за освобождение рабочего класса. Стоят слева направо: А. А. Мальченко, П. К. Запорожец, А. А. Ванеев; сидят в том же порядке: В. В. Старков, Г. М. Кржижановский, В. И. Ленин и Ю. О. Мартов-Цедербаум— 15 февраля 1897 г.

недостаточно действительное средство борьбы с предпринимателями". Я взяла деньги и поторопилась уйти.

Я писала Владимиру Ильичу в ссылку обо всем, что приходилось видеть и слышать. Однако о работе организации мало чего можно было написать. Ко времени I съезда в ней было лишь четыре человека: Ст. Ив. Радченко, его жена Любовь Николаевна, Саммер и я. Делегатом от нас был Степан Иванович. Но, вернувшись со съезда, он ничего почти не рассказал нам о том, что там произошло, вынул из корешка книги хорошо знакомый нам „манифест", написанный Струве и принятый съездом, и разрыдался: все почти участники съезда—их было несколько человек—были арестованы.

Мне дали три года Уфимской губернии, я перепросилась в село Шушенское, Минусинского у., где жил Владимир Ильич, для чего объявилась его „невестой".

В ССЫЛКЕ

1898–1901 гг.

В Минусинск, куда я ехала на свой счет, поехала со мной моя мать. Приехали мы в Красноярск первого мая 1898 г., оттуда надо было ехать на пароходе вверх по Енисею, но пароходы еще не ходили. В Красноярске познакомилась с народоправцем Тютчевым и его женой, которые, как люди опытные в этих делах, устроили мне свидание с проезжавшей через Красноярск партией ссыльных социал-демократов; в их числе были товарищи по одному со мною делу—Ленгник и Сильвин. Солдаты, приведя ссыльных в фотографию, сели в сторонку и жевали хлеб с колбасой, которыми их угостили.

В Минусинске зашла к Аркадию Тыркову—первомартовцу, сосланному в Сибирь без срока, чтобы передать поклон от его сестры, моей гимназической подруги. Заходила к Ф. Я. Кону, польскому товарищу, осужденному в 1885 г. на каторгу по делу „Пролетариата", много перенесшему в тюрьме и ссылке, он был для меня окружен ореолом старого непримиримого революционера,—ужасно он мне понравился.

В село Шушенское, где жил Владимир Ильич, мы приехали в сумерки; Владимир Ильич был на охоте. Мы выгрузились, нас провели в избу. В Сибири—в Минусинском округе—крестьяне очень чисто живут, полы устланы пестрыми самотканными дорожками, стены чисто выбелены и украшены пихтой. Комната Владимира Ильича была хоть невелика, но также чиста. Нам с мамой хозяева уступили остальную часть избы. В избу набились все хозяева и соседи и усердно нас разглядывали и расспрашивали. Наконец, вернулся с охоты Владимир Ильич. Удивился, что в его комнате свет. Хозяин сказал, что это Оскар Александрович (ссыльный питерский рабочий) пришел пьяный и все книги у него разбросал. Ильич быстро взбежал на крыльцо. Тут я ему навстречу из избы вышла. Долго мы проговорили в ту ночь.

Н. К. Крупская после выхода из тюрьмы в 1898 г.

В Шушенском из ссыльных было только двое рабочих—лодзинский социал-демократ, шляпочник, поляк Проминский с женой и шестью ребятами и путиловский рабочий Оскар Энгберг, финн по национальности. Оба—очень хорошие товарищи. Проминский был спокойным, уравновешенным и очень твердым человеком. Он мало читал и не много знал, но обладал замечательно ярко выраженным классовым инстинктом. К своей верующей тогда еще жене он относился спокойно-насмешливо. Он очень хорошо пел польские революционные песни „Ludu roboczy, poznaj swoje sily", „Pierwszy maj" * и целый ряд других. Дети подпевали ему, присоединялся к хору и Владимир Ильич, очень охотно и много певший в Сибири. Пел Проминский и русские революционные песни, которым учил его Владимир Ильич. Проминский собирался назад в Польшу на работу и погубил несметное количество зайчишек, чтобы заготовить мех на шубки детям. Но добраться до Польши ему так и не удалось. Перебрался с семьей только поближе к Красноярску и служил на железной дороге. Дети выросли. Сам он стал коммунистом, коммунисткой стала пани Проминская, коммунистами стали дети. Один убит на войне. Другой чуть не погиб во время гражданской войны, теперь в Чите. Только в 1923 г. выбрался Проминский в Польшу, но по дороге умер от сыпного тифа.

Другой рабочий, Оскар, был совсем иного типа. Молодой, он был сослан за забастовку и за буйное поведение во время нее. Он много читал всякой всячины, но о социализме имел самое смутное представление. Раз приходит из волости и рассказывает: „Новый писарь приехал, сошлись мы с ним в убеждениях".—„То есть?"—спрашиваю. „Да и он, и я против революции". Мы с Владимиром Ильичем так и ахнули. На другой день я засела с ним за „Коммунистический манифест" (приходилось переводить с немецкого) и, одолев его, перешли к чтению „Капитала". Зашел как-то на занятия Проминский, сидит и посасывает трубочку. Я предлагаю какой-то вопрос по поводу прочитанного. Оскар не знает, что сказать, а Проминский спокойно так, улыбаючись, ответил на вопрос. На целую неделю бросил Оскар занятия. Но так парень хороший был. Больше ссыльных в Шушенском не было. Владимир Ильич рассказывал, что он пробовал завести знакомство с учителем, но ничего не вышло. Учитель тянул к местной аристократии: попу, паре лавочников. Дулись они в карты и выпивали. К общественным вопросам интереса у учителя никакого не было. С этим учителем постоянно препи-

* „Рабочий народ", „Первое", мая. *Ред.*

рался старший сын Проминского, Леопольд, тогда уже сочувствовавший социалистам.

Был у Владимира Ильича один знакомый крестьянин, которого он очень любил, Журавлев. Чахоточный, лет тридцати, Журавлев был раньше писарем. Владимир Ильич говорил про него, что он по природе революционер, протестант. Журавлев смело выступал против богатеев, не мирился ни с какой несправедливостью. Он все куда-то уезжал и скоро помер от чахотки.

Другой знакомый Ильича был бедняк, с ним Владимир Ильич часто ходил на охоту. Это был самый немудрый мужичонка— Сосипатычем его звали; он, впрочем, очень хорошо относился к Владимиру Ильичу и дарил ему всякую всячину: то журавля, то кедровых шишек.

Через Сосипатыча, через Журавлева Владимир Ильич изучал сибирскую деревню. Он мне рассказывал как-то об одном своем разговоре с зажиточным мужиком, у которого он жил. У того батрак украл кожу. Мужик накрыл его у ручья и прикончил. Говорил Ильич по этому поводу о беспощадной жестокости мелкого собственника, о беспощадной эксплоатации им батраков. И правда, как каторжные, работали сибирские батраки, отсыпаясь только по праздникам.

И еще был у Ильича способ изучать деревню. По воскресеньям он завел у себя юридическую консультацию. Он пользовался большой популярностью, как юрист, так как помог одному рабочему, выгнанному с приисков, выиграть дело против золотопромышленника. Весть об этом выигранном деле быстро разнеслась среди крестьян. Приходили мужики и бабы и излагали свои беды. Владимир Ильич внимательно слушал и вникал во все, потом советовал. Раз пришел крестьянин за двадцать верст посоветоваться, как бы ему засудить зятя за то, что тот не позвал его на свадьбу, где здорово гуляли. „А теперь зять поднесет, если приедете к нему?“—„Теперь-то поднесет“. И Владимир Ильич чуть не час убил, пока уговорил мужика с зятем помириться. Иногда совершенно нельзя было разобраться по рассказам, в чем дело, и потому Владимир Ильич всегда просил приносить ему копию с дела. Раз бык какого-то богатея забодал корову маломощной бабы. Волостной суд приговорил владельца быка заплатить бабе десять рублей. Баба опротестовала решение и потребовала „копию“ с дела. „Что тебе, копию с белой коровы, что ли?“—посмеялся над ней заседатель. Разгневанная баба прибежала жаловаться Владимиру Ильичу. Часто достаточно было угрозы обижаемого, что он пожалуется Ульянову, чтобы обидчик уступил.

Сибирскую деревню хорошо изучил Владимир Ильич,—он знал раньше деревню приволжскую. Рассказывал Ильич раз: „Мать хотела, чтобы я хозяйством в деревне занимался. Я начал, было, да вижу—нельзя, отношения к мужикам ненормальные становятся".

Собственно говоря, заниматься юридическими делами Владимир Ильич не имел права, как ссыльный, но тогда времена в Минусинском округе были либеральные. Никакого надзора фактически не было.

„Заседатель"—местный зажиточный крестьянин—больше заботился о том, чтобы сбыть нам телятину, чем о том, чтобы „его" ссыльные не сбежали. Дешевизна в этом Шушенском была поразительная. Например, Владимир Ильич за свое „жалованье"—восьмирублевое пособие—имел чистую комнату, кормежку, стирку и чинку белья—и то считалось, что дорого платит. Правда, обед и ужин был простоват—одну неделю для Владимира Ильича убивали барана, которым кормили его изо дня в день, пока всего не съест; как съест—покупали на неделю мяса, работница во дворе в корыте, где корм скоту заготовляли, рубила купленное мясо на котлеты для Владимира Ильича, тоже на целую неделю. Но молока и шанег было вдоволь и для Владимира Ильича и для его собаки, прекрасного гордона—Женьки, которую он выучил и поноску носить и стойку делать и всякой другой собачьей науке. Так как у Зыряновых мужики часто напивались пьяными, да и семейным образом жить там было во многих отношениях неудобно, мы перебрались вскоре на другую квартиру—полдома с огородом наняли за четыре рубля. Зажили семейно. Летом никого нельзя было найти в помощь по хозяйству. И мы с мамой вдвоем воевали с русской печкой. Вначале случалось, что я опрокидывала ухватом суп с клецками, которые рассыпались по исподу. Потом привыкла. В огороде выросла у нас всякая всячина—огурцы, морковь, свекла, тыква; очень я гордилась своим огородом. Устроили из двора сад—съездили мы с Ильичем в лес, хмелю привезли, сад соорудили. В октябре появилась помощница, тринадцатилетняя Паша, худущая, с острыми локтями, живо прибравшая к рукам все хозяйство. Я выучила ее грамоте, и она украшала стены маминым директивами—„никовды, никовды чай не выливай", вела дневник, где отмечала: „были Оскар Александрович и Проминский. Пели „пень", я тоже пела".

Помню, как мы встречали первое мая.

Утром пришел к нам Проминский. Он имел сугубо праздничный вид, надел чистый воротничек и сам весь сиял, как медный

грош. Мы очень быстро заразились его настроением и втроем пошли к Энгбергу, прихватив с собою собаку Женьку. Женька бежала впереди и радостно тявкала. Итти надо было вдоль речки Шуши. По реке шел лед. Женька забиралась по брюхо в ледяную воду и вызывающе лаяла по адресу мохнатых шушенских сторожевых собак, не решавшихся войти в такую холодную воду.

Оскар заволновался нашим приходом. Мы расселись в его комнате и принялись дружно петь:

День настал веселый мая,
Прочь с дороги, горя тень!
Песнь, раздайся удалая!
Забастуем в этот день!
Полицейские до пота
Правят подлую работу,
Нас хотят изловить,
За решетку посадить.
Мы плюем на это дело,
Май отпразднуем мы смело,
Вместе разом,
Гоп-га! Гоп-га!

Спели по-русски, спели ту же песню по-польски и решили пойти после обеда отпраздновать май в поле. Как наметили, так и сделали. В поле нас было больше, уже шесть человек, так как Проминский захватил своих двух сынишек. Проминский продолжал сиять. Когда вышли в поле на сухой пригорок, Проминский остановился, вытащил из кармана красный платок, расправил его на земле и встал на голову. Дети завизжали от восторга. Вечером собрались все у нас и опять пели. Пришла и жена Проминского. К хору присоединились и моя мать и Паша.

А вечером мы с Ильичем как-то никак не могли заснуть, мечтали о мощных рабочих демонстрациях, в которых мы когда-нибудь примем участие...

Появился детский элемент. Во дворе жил поселенец—латыш-катанщик. Было у него 14 детей, но выжил один, Минька. Отец был горький пьяница. Было Миньке шесть лет, было у него прозрачное бледное личико, ясные глазки и серьезный разговор. Стал он бывать у нас каждый день—не успеешь встать, а уж хлопает дверь, появляется маленькая фигурка в большой шапке, материной теплой кофте, закутанная шарфом, и радостно заявляет: „А вот и я“. Знает, что души в нем не чаяла моя мама, что всегда пошутит и повозится с ним Владимир Ильич. Забежит минькина мать:

„Миничка, не видал ты рубля?“

Село Шушенское.

„Видел, ну, посмотрел, валяется на столе, положил в коробку".

Когда мы уехали, захворал с горя Миняй. Теперь нет его уже в живых, а катанщик писал, просил отвести ему земли за Енисеем, „хочется на старости лет сытно пожить".

Наше хозяйственное обрастание все увеличивалось—завели котенка.

С утра мы брались с Владимиром Ильичем за перевод Вебба, который достал мне Струве. После обеда часа два переписывали в две руки „Развитие капитализма". Потом другая всякая работешка была. Как-то прислал Потресов на две недели книжку Каутского против Бернштейна, мы побросали все дела и перевели ее в срок—в две недели. Поработав, закатывались на прогулки. Владимир Ильич был страстным охотником, завел себе штаны из чортовой кожи и в какие только болота не залезал. Ну, дичи там было! Я приехала весной, удивлялась. Придет Проминский—он страстно любил охоту—и, радостно улыбаясь, говорит: „Видел—утки прилетели". Приходит Оскар и тоже об утках. Часами говорили, а на следующую весну я сама уже стала способна толковать о том, где, кто, когда видел утку. После зимних морозов буйно пробуждалась весной природа. Сильна становилась власть ее. Закат. На громадной весенней луже в поле плавают дикие лебеди. Или—стоишь на опушке леса, бурлит речонка, токуют тетерева. Владимир Ильич идет в лес, просит подержать Женьку. Держишь ее, Женька дрожит от волнения, и чувствуешь, как тебя захватывает это бурное пробуждение природы. Владимир Ильич был страстным охотником, только горячился очень. Осенью идем по далеким просекам. Владимир Ильич говорит: „Знаешь, если заяц встретится, не буду стрелять, ремня не взял, неудобно будет нести". Выбегает заяц, Владимир Ильич палит.

Позднею осенью, когда по Енисею шла шуга (мелкий лед), ездили на острова за зайцами. Зайцы уже побелеют. С острова деться некуда, бегают, как овцы, кругом. Целую лодку настреляют, бывало, наши охотники.

Живучи в Москве, Владимир Ильич тоже охотился иногда последние годы, но охотничий жар у него уж значительно поубыл. Устроили раз охоту на лис, с флажками. Все предприятие очень заинтересовало Владимира Ильича. „Хитро придумано",—говорил он. Устроили охотники так, что лиса выбежала прямо на Владимира Ильича, а он схватился за ружье, когда лиса, постояв с минуту и поглядев на него, быстро повернула в лес.—„Что же ты не стрелял?"—„Знаешь, уж очень красива она была".

Поздней осенью, пока не выпал еще снег, но уже замерзли реки, далеко ходили по протоке—каждый камешек, каждая рыбешка видны подо льдом, точно волшебное царство какое-то. А зимой, когда замерзает ртуть в градусниках и реки промерзают до дна, вода идет сверх льда и быстро покрывается ледком, можно было катить на коньках версты по две по гнущейся под ногами наледи. Все это страшно любил Владимир Ильич.

По вечерам Владимир Ильич обычно читал книжки по философии—Гегеля, Канта, французских материалистов, а когда очень устанет—Пушкина, Лермонтова, Некрасова.

Когда Владимир Ильич впервые появился в Питере и я его знала только по рассказам, слышала я от Степана Ивановича Радченко: Владимир Ильич только серьезные книжки читает, в жизнь не прочел ни одного романа. Я подивилась; потом, когда мы познакомились ближе с Владимиром Ильичем, как-то ни разу об этом не заходил у нас разговор, и только в Сибири я узнала, что все это чистая легенда. Владимир Ильич не только читал, но много раз перечитывал Тургенева, Л. Толстого, „Что делать" Чернышевского, вообще прекрасно знал и любил классиков. Потом, когда большевики стали у власти, он поставил Госиздату задачу—переиздание в дешевых выпусках классиков. В альбоме Владимира Ильича, кроме карточек родных и старых каторжан, были карточки Золя, Герцена и несколько карточек Чернышевского *.

Два раза в неделю приходила почта. Переписка была обширная.

Приходили письма и книги из России. Писала подробно обо всем Анна Ильинична, писали из Питера. Писала, между прочим, Нина Александровна Струве мне о своем сынишке: „уже держит головку, каждый день подносим его к портретам Дарвина и Маркса, говорим: поклонись дедушке Дарвину, поклонись Марксу, он забавно так кланяется". Получали письма из далекой ссылки—из Туруханска от Мартова, из Орлова, Вятской губернии, от Потресова. Но больше всего было писем от товарищей, разбросанных по соседним селам. Из Минусинска (Шушенское было в 50 верстах от него) писали Кржижановские, Старков; в 30 верстах в Ермаковском жили Лепешинский, Ванеев, Сильвин, Панин—товарищ Оскара; в 70 верстах в Теси жили Ленгник, Шаповал, Барамзин, на сахарном заводе жил Курнатовский.

---

* Чернышевского Владимир Ильич особенно любил. На одной из карточек Чернышевского имеется надпись рукой Владимира Ильича: родился тогда-то умер в 1889 году.—*Н. К.*

Переписывались обо всем—о русских вестях, о планах на будущее, о книжках, о новых течениях, о философии. Переписывались и по шахматным делам, особенно с Лепешинским. Играли по переписке. Расставит шахматы Владимир Ильич и соображает. Одно время так увлекался, что вскрикивал даже во сне: „Если он конем сюда, то я турой туда".

И Владимир Ильич и Александр Ильич с детства играли с большим азартом в шахматы. Играл и отец Владимира Ильича. „Сначала отец нас обыгрывал,—рассказывал Владимир Ильич,—потом мы с братом достали руководство к шахматной игре и стали отца обыгрывать. Раз—мы наверху жили—встретил отца, идет из нашей комнаты со свечей в руке и несет руководство по шахматной игре. Затем за него засел".

По возвращении в Россию Владимир Ильич бросил игру в шахматы. „Шахматы чересчур захватывают, это мешает работе". А так как Владимир Ильич ничего не умел делать наполовину, не отдаваясь делу со всей страстью, то и на отдыхе и в эмиграции неохотно уже садился играть в шахматы.

Владимир Ильич с ранней молодости умел отбрасывать то, что мешало. „Когда был гимназистом—стал увлекаться коньками, но уставал, после коньков спать очень хотелось, мешало заниматься, бросил".

„Одно время,—рассказывал другой раз Владимир Ильич,—я очень увлекался латынью". „Латынью?"—удивилась я.—„Да, только мешать стало другим занятиям, бросил". Недавно только, читая „Леф", где разбирался стиль, строение речи Владимира Ильича, указывалось на сходство конструкции фразы у Владимира Ильича с конструкцией фраз римских ораторов—на сходство ораторских приемов, я поняла, почему мог увлекаться Владимир Ильич, изучая латинских писателей.

С товарищами по ссылке не только переписывались, иногда, хотя не часто, виделись.

Раз мы ездили к Курнатовскому. Был он очень хорошим товарищем, очень образованным марксистом, но тяжко сложилась его жизнь. Суровое детство с извергом-отцом, потом ссылка за ссылкой, тюрьма за тюрьмой. На воле почти не работал, через месяц-другой влетал на долгие годы, жизни не знал. Осталась в памяти одна сценка. Идем мимо сахарного завода, где он служил. Идут две девочки—одна постарше, другая маленькая. Старшая несет пустое ведро, младшая—со свеклой. „Как не стыдно, большая заставляет нести маленькую",—сказал старшей девочке Курнатовский. Та только недоуменно посмотрела на него. Ездили мы еще в Тесь. Пришло как-то

раз письмо от Кржижановских—„Исправник злится на тесинцев за какой-то протест и никуда не пускает. В Теси есть гора, интересная в геологическом отношении, напишите, что хотите ее исследовать". Владимир Ильич в шутку написал исправнику заявление, прося не только его пустить в Тесь, но в помощь ему и жену. Исправник прислал разрешение нарочным. Наняли двуколку с лошадью за три рубля—баба уверяла, что конь сильный, не „жоркий", овса ему мало надо—и покатили в Тесь. И хоть не „жоркий", конь стал у нас посередь дороги, но все же до Теси мы добрались. Владимир Ильич с Ленгником толковали о Канте, с Барамзиным—о казанских кружках, Ленгник, обладавший прекрасным голосом, пел нам; вообще от этой поездки осталось какое-то особенно хорошее воспоминание.

Ездили пару раз в Ермаковское. Раз для принятия резолюции по поводу „Кредо"—Ванеев был тяжко болен туберкулезом, умирал. Его кровать вынесли в большую комнату, где собирались все товарищи. Резолюция была принята единогласно.

Другой раз ездили туда же, уже хоронить Ванеева.

Из „декабристов" (так в шутку называли товарищей, арестованных в декабре 1895 г.) двое скоро выбыли из строя; сошедший в тюрьме с ума Запорожец и тяжко захворавший там Ванеев погибли, когда только-только еще начинало разгораться пламя рабочего движения.

На новый год ездили в Минусу, куда съехались все ссыльные социал-демократы.

Были в Минусе и ссыльные народовольцы: Кон, Тырков и др., но они держались отдельно. Старики относились к социал-демократической молодежи недоверчиво: не верили в то, что это настоящие революционеры. На этой почве незадолго до моего приезда в село Шушенское в Минусинском уезде разыгралась ссыльная история. Был в Минусе ссыльный, социал-демократ Райчин, заграничник, связанный с Группой „Освобождение Труда". Он решил бежать. Достали ему денег на побег, дня побега не было назначено. Но Райчин, получив деньги, пришел в очень нервное состояние и, не предупредив никого, бежал. Старики-народовольцы обвиняли социал-демократов, что те знали о побеге Райчина, но стариков не предупредили, могли быть обыски, а они не почистились. „История" росла, как снежный ком. Когда я приехала, Владимир Ильич рассказал мне про нее. „Нет хуже этих ссыльных историй,—говорил он,—они страшно затягивают, у стариков нервы больные, ведь чего только они не пережили, каторгу

перенесли. Нельзя давать засасывать себя таким историям— вся работа впереди, нельзя себя растрачивать на эти истории". И Владимир Ильич настаивал на разрыве со стариками. Помню собрание, на котором произошел разрыв. Решение о разрыве было принято раньше, надо было провести его по возможности безболезненно. Рвали потому, что надо было порвать, но рвали без злобы, с сожалением. Так потом и жили врозь.

В общем, ссылка прошла неплохо. Это были годы серьезной учебы. По мере того как приближался срок окончания ссылки, все больше и больше думал Владимир Ильич о предстоящей работе. Из России вести приходили скупо: там рос и креп экономизм, партии на деле не было, типографии в России не было, попытка наладить издательство через Бунд не удалась. Между тем ограничиваться писанием популярных брошюр и не высказываться по основным вопросам ведения работы было более невозможно. В работе был величайший разброд, постоянные аресты делали невозможной всякую преемственность, люди договорились до „Кредо", до идей „Рабочей Мысли", помещавшей корреспонденции распропагандированного экономистами рабочего, писавшего: „Не надо нам, рабочим, никаких Марксов и Энгельсов..."

Л. Толстой где-то писал, что едущий первую половину дороги обычно думает о том, что он оставил, а вторую—о том, что ждет его впереди. Так и в ссылке. Первое время больше подводились итоги прошлого. Во второй половине больше думалось о том, что впереди. Владимир Ильич все пристальнее и пристальнее думал о том, что нужно делать, чтобы вывести партию из того состояния, в которое она пришла, что нужно делать, чтобы направить работу по надлежащему руслу, чтобы обеспечить правильное социал-демократическое руководство ею. С чего начать? В последний год ссылки зародился у Владимира Ильича тот организационный план, который он потом развил в „Искре", в брошюре „Что делать?" и в „Письме к товарищу". Начать надо с организации общерусской газеты, поставить ее надо за границей, как можно теснее связать ее с русской работой, с российскими организациями, как можно лучше наладить транспорт. Владимир Ильич перестал спать, страшно исхудал. Бессонными ночами обдумывал он свой план во всех деталях, обсуждал его с Кржижановским, со мной, списывался о нем с Мартовым и Потресовым, сговаривался с ними о поездке за границу. Чем дальше, тем больше овладевало Владимиром Ильичем нетерпение, тем больше рвался он на работу. А тут еще нагрянули с обыском. Перехватили

у кого-то квитанцию письма Ляховского к Владимиру Ильичу. В письме была речь о памятнике Федосееву, жандармы придрались к случаю, чтобы учинить обыск. Обыск произведен был в мае 1899 г. Письмо они нашли, оно оказалось очень невинным, пересмотрели переписку—и тоже ничего интересного не нашли. По старой питерской привычке нелегальщину и нелегальную переписку мы держали особо. Правда, она лежала на нижней полке шкафа. Владимир Ильич подсунул жандармам стул, чтобы они начали обыск с верхних полок, где стояли разные статистические сборники—и они так умаялись, что нижнюю полку и смотреть не стали, удовлетворившись моим заявлением, что там лишь моя педагогическая библиотека. Обыск сошел благополучно, но боязно было, чтобы не воспользовались предлогом и не накинули еще несколько лет ссылки. Побеги были еще тогда не так обычны, как позднее,— во всяком случае, это бы осложнило дело. Ведь прежде, чем ехать за границу, нужно было провести большую организационную работу в России. Дело, однако, обошлось благополучно—срока не набавили.

В феврале 1900 г., когда кончился срок ссылки Владимира Ильича, мы двинулись в Россию. Рекой по ночам разливалась Паша, ставшая за два года настоящей красавицей, Минька суетился, перетаскивая к себе домой остающуюся бумагу, карандаши, картинки и пр., приходил Оскар Александрович, садился на кончик стула, видимо, волновался, принес мне подарок—самодельную брошку в виде книги с надписью „Карл Маркс", в память моих занятий с ним по „Капиталу", заглядывали то-и-дело в комнату хозяйка или соседка, недоумевала наша собака, что весь этот переполох должен означать, и ежеминутно отворяла носом все двери, чтобы удостовериться, все ли на месте, кашляла мама, возясь с укладкой, деловито увязывал книги Владимир Ильич.

Доехали до Минусы, где мы должны были захватить с собой Старкова и Ольгу Александровну Сильвину. Там уж собралась вся наша ссыльная братия, было то настроение, которое бывает, когда кто-нибудь из ссыльных уезжает в Россию: каждый думал, когда и куда он сам поедет, как будет работать. Владимир Ильич договорился уже раньше о совместной работе со всеми, кто вскоре ехал в Россию, договорился о переписке с остающимися. Думали о России, а говорили так, о всякой пустяковине.

Барамзин подкармливал бутербродами Женьку, которая оставалась ему в наследство, но она не обращала на него внимания,

лежала у маминых ног и не сводила с нее глаз, следя за каждым ее движением.

Наконец, урядившись в валенки, дохи и пр., двинулись в путь. Ехали на лошадях 300 верст по Енисею, день и ночь, благо луна светила во-всю. Владимир Ильич заботливо засупонивал меня и маму на каждой станции, осматривал, не забыли ли чего, шутил с озябшей Ольгой Александровной. Мчались во-всю, и Владимир Ильич—он ехал без дохи, уверяя, что ему жарко в дохе,—засунув руки во взятую у мамы муфту, уносился мыслью в Россию, где можно будет поработать вволю.

В Уфе в день нашего приезда к нам пришла местная публика—А. Д. Цюрупа, Свидерский, Крохмаль. „Шесть гостиниц обошли...—заикаясь сказал Крохмаль,—наконец-то нашли вас".

Пару дней пробыл Владимир Ильич в Уфе и, поговоривши с публикой и препоручив меня с мамой товарищам, двинулся дальше, поближе к Питеру. От этой пары дней у меня осталось в памяти лишь посещение старой народоволки Четвериковой, которую Владимир Ильич знал по Казани. В Уфе у ней был книжный магазин. Владимир Ильич в первый же день пошел к ней, и какая-то особенная мягкость была у него в голосе и лице, когда он разговаривал с ней. Когда потом я читала то, что Владимир Ильич написал в заключении в „Что делать?"; я вспомнила это посещение. „Многие (речь идет о молодых руководителях рабочего движения, социал-демократах) из них,—писал Владимир Ильич в „Что делать?",—начинали революционно мыслить как народовольцы. Почти все в ранней юности восторженно преклонялись перед героями террора. Отказ от обаятельного впечатления этой геройской традиции стоил борьбы, сопровождался разрывом с людьми, которые во что бы то ни стало хотели остаться верными Народной Воле и которых молодые социал-демократы высоко уважали" (Соч., т. IV, стр. 499). Этот абзац—кусок биографии Владимира Ильича.

Очень жаль было расставаться, когда только что начиналась „настоящая" работа, но даже и в голову не приходило, что можно Владимиру Ильичу остаться в Уфе, когда была возможность перебраться поближе к Питеру.

Владимир Ильич поселился в Пскове*, где жили потом и Потресов и Л. Н. Радченко с детьми. Как-то Владимир Ильич, смеясь, рассказывал, как малышки-девочки Радченко, Женюрка и Люда, передразнивали его и Потресова. Заложив руки за

* Ленин приехал в Псков 10 марта (26 февраля) 1900 года. *Ред.*

спину, ходили по комнате рядом, одна говорила „Бернштейн“, другая отвечала „Каутский“...

Там, сидя в Пскове, усердно вил Владимир Ильич нити организации, которые должны были тесно связывать будущую заграничную общерусскую газету с Россией, с русской работой. Виделся с Бабушкиным, целым рядом других лиц.

Я понемногу акклиматизировалась в Уфе, устроилась с переводами, достала уроки.

Незадолго до моего приезда в Уфу там была ссыльная история, и социал-демократическая публика раскололась на два лагеря. В одном лагере были: Крохмаль, Цюрупа, Свидерский, в другом—братья Плаксины, Салтыков, Квятковский. Чачина и Аптекман стояли вне группировок, поддерживали отношения с обеими группами. Мне была ближе первая группа, с которой я скоро сблизилась. Эта группа вела кое-какую работу, вообще это была наиболее активная часть публики. Были связи с железнодорожными мастерскими. Там был кружок рабочих социал-демократов в 12 человек. Самым активным был рабочий Якутов. Он не раз захаживал ко мне брать книжки и поговорить. Долго добивался „пульверизации“ Маркса, но, раздобыв ее, никак не мог прочесть. „Некогда,—жаловался он,—все, знаете, крестьяне ко мне со своими делами приезжают. С каждым надо поговорить, чтобы он худо о себе не думал, ну вот и времени нет“. Он рассказывал, что его жена Наташа тоже ему сочувствует, и им никакая ссылка не страшна, он нигде не пропадет, руки везде его прокормят. Он был большой конспиратор, пуще всего ненавидел крик, хвастовство, большие слова. Надо все делать основательно, без шума, но прочно.

В 1905 г. Якутов был председателем республики, образовавшейся в Уфе, а потом, в годы реакции, его повесили в уфимской тюрьме. Он умирал на тюремном дворе, а вся тюрьма пела—во всех камерах пели—и клялась, что никогда не забудет его смерти, не простит ее.

Занималась я еще с другими рабочими—с молодым металлистом с небольшого заводика, рассказывавшим мне про жизнь местных рабочих, очень горячим и нервным. Потом мне говорили, что он ушел к эсерам и сошел с ума в тюрьме.

Бывал у меня чахоточный переплетчик Крылов, старательно устраивавший двойные переплеты, в которые можно было вкладывать нелегальные рукописи, склеивавший из рукописей картон для переплетов. Он рассказывал о работе местных печатников. На основании этих рассказов позднее составлялись корреспонденции для „Искры“.

Кроме самой Уфы, работа велась и по заводам. На Усть-Катавском заводе была фельдшерица социал-демократка, которая вела там работу среди рабочих, распространяла там нелегальную популярную литературу, которой нам чертовски нехватало.

Было несколько человек студентов социал-демократов по заводам. Наша уфимская организация содержала в Екатеринбурге одного нелегала—рабочего Мазанова, вернувшегося из Туруханска, где он был в ссылке вместе с Мартовым. Только работа у него что-то не ладилась.

Уфа была центром для губернии—ссыльные Стерлитамака, Бирска и других уездных городов добивались всегда разрешения съездить в Уфу.

Но, кроме того, Уфа лежала на пути из Сибири в Россию. Возвращавшиеся из ссылки товарищи заезжали уславливаться о работе. Заезжал Мартов (ему не сразу удалось выбраться из Туруханска), Гл. Ив. Окулова, Панин. Из Астрахани нелегально приезжала Л. М. Книпович—„дяденька“, из Самары приезжали—Румянцев, Португалов.

Мартов поселился в Полтаве. С ним была связь, через него надеялись получить литературу. Литература пришла, кажется, через неделю спустя после моего отъезда из Уфы, и отправившийся получить ее Квятковский угодил за этот развалившийся в дороге ящик на 5 лет в Сибирь. А работы он, в сущности, не вел, взялся за получение посылки только потому, что посылка была адресована на пивоваренный завод, дочери владельца которого он давал уроки.

Были в Уфе и народовольцы—Леонович, а позднее—Бороздич.

Перед отъездом за границу Владимир Ильич чуть не влетел. Приехал из Пскова в Питер одновременно с Мартовым. Их выследили и арестовали. В жилетке у него было две тысячи рублей, полученных от „тетки“ (А. М. Калмыковой), и записи связей с заграницей, писанные химией на листке почтовой бумаги, на которой для проформы было написано чернилами что-то безразличное—счет какой-то. Если бы жандармы догадались нагреть листок, не пришлось бы Владимиру Ильичу ставить за границей общерусскую газету. Но ему „пофартило“, и через дней десять его выпустили.

Потом он ездил ко мне в Уфу попрощаться. Он рассказывал о том, что ему удалось сделать за это время, рассказывал про людей, с которыми приходилось встречаться. Конечно, по случаю приезда Владимира Ильича был ряд собраний. Помню, как, когда выяснилось, что Леонович, считавший себя народовольцем, не знает даже по названию Группы „Освобождение

Труда",—Владимир Ильич вскипел: „Да разве революционер может не знать этого, разве он может сознательно выбрать партию, с которой будет работать, если не знает, не изучит того, что писала Группа „Освобождение Труда".

Кажется, около недели прожил тогда в Уфе Владимир Ильич.

Из-за границы он писал мне преимущественно в книжках, отправляемых на адреса различных земцев. В общем дело шло с газетой не так быстро, как этого хотелось Владимиру Ильичу; трудно было столковаться с Плехановым, и письма Владимира Ильича из-за границы были кратки, невеселы, кончались: „расскажу, когда приедешь", „о конфликте с Плехановым подробно записал для тебя".

Еле дождалась я конца ссылки, а тут и писем что-то от Владимира Ильича долго не было.

Хотела ехать в Астрахань, к „дяденьке" (Л. М. Книпович), да заторопилась.

Заезжали с мамой в Москву к Марии Александровне—матери Владимира Ильича. Она тогда одна в Москве была: Мария Ильинична сидела, Анна Ильинична была за границей.

Марию Александровну я очень любила,—она такая чуткая и внимательная была всегда. Владимир Ильич страшно любил мать. „У ней громадная сила воли,—сказал он мне как-то,—если бы с братом это случилось, когда отец был жив, не знаю, что бы и было".

Свою силу воли Владимир Ильич унаследовал от матери, унаследовал также и ее чуткость, внимание к людям.

Когда жили за границей, я старалась описать ей как можно живее нашу жизнь, чтобы почувствовала она хоть немного близость сына. Когда Владимир Ильич был в ссылке в 1897 г., еще до моего приезда, в газетах было помещено объявление о смерти Марии Александровны Ульяновой, умершей в Москве. Оскар рассказывал: „Пришел к Владимиру Ильичу, а он бледный, как полотно—говорит: мать у меня умерла". О смерти какой-то другой М. А. Ульяновой оказалось извещение.

Много горя выпало на долю Марии Александровны—казнь старшего сына, смерть дочери Ольги, бесконечные аресты других детей.

Заболел Владимир Ильич в 1895 г.—она тотчас же приезжает и отхаживает его, сама готовит ему пищу; арестуют его—она опять на посту, часами просиживает в полутемной приемной Дома предварительного заключения, ходит на свидание, носит передачи, и только чуть-чуть дрожит у ней голова.

Обещала я ей беречь Владимира Ильича, да не уберегла...

Мать В. И. Ленина—Мария Александровна Ульянова.

Из Москвы отвезла я свою мать в Питер, устроила ее там, а сама покатила за границу. По-пошехонски ехала. Направилась в Прагу, полагая, что Владимир Ильич живет в Праге под фамилией Модрачек.

Дала телеграмму. Приехала в Прагу—никто не встречает. Подождала-подождала. С большим смущением наняла извозчика в цилиндре, нагрузила на него свои корзины, поехали. Приезжаем в рабочий квартал, узкий переулок, громадный дом, из окон которого во множестве торчат проветривающиеся перины...

Лечу на четвертый этаж. Дверь отворяет беленькая чешка. Я твержу: „Модрачек, герр Модрачек". Выходит рабочий, говорит: „Я—Модрачек". Ошеломленная, я мямлю: „Нет, это мой муж". Модрачек, наконец, догадывается. „Ах, вы, вероятно, жена герра Ритмейера, он живет в Мюнхене, но пересылал вам в Уфу через меня книги и письма". Модрачек провозился со мной целый день, я ему рассказала про русское движение, он мне—про австрийское, жена его показывала мне связанные ею прошивки и кормила чешскими клецками.

Приехав в Мюнхен*,—ехала я в теплой шубе, а в это время в Мюнхене уж в одних платьях все ходили,—наученная опытом, сдала корзины на хранение на вокзале, поехала в трамвае разыскивать Ритмейера. Отыскала дом, квартира № 1 оказалась пивной. Подхожу к стойке, за которой стоял толстенный немец, и робко спрашиваю господина Ритмейера, предчувствуя, что опять что-то не то. Трактирщик отвечает: „Это—я". Совершенно убитая, я лепечу: „Нет, это мой муж".

И стоим дураками друг против друга. Наконец, приходит жена Ритмейера и, взглянув на меня, догадывается: „Ах, это верно жена герра Мейера, он ждет жену из Сибири. Я провожу".

Иду куда-то за фрау Ритмейер на задний двор большого дома, в какую-то необитаемую квартиру. Отворяется дверь, сидят за столом: Владимир Ильич, Мартов и Анна Ильинична. Забыв поблагодарить хозяйку, я стала ругаться: „Фу, чорт, что ж ты не написал, где тебя найти?"

„Как не написал? Я тебя по три раза на день ходил встречать. Откуда ты?" Оказалось потом, что земец, на имя которого была послана книжка с адресом, зачитал книжку.

Немало россиян путешествовали потом в том же стиле: Шляпников заехал в первый раз вместо Женевы в Геную; Бабушкин вместо Лондона чуть не угодил в Америку.

---

* Н. К. приехала в Мюнхен в 1901 г. около середины апреля. *Ред.*

Государственная библиотека

МЮНХЕН

1901—1902 гг.

Хотя и Владимир Ильич, и Мартов, и Потресов поехали за границу по легальным паспортам, но в Мюнхене было решено жить по чужим паспортам, вдали от русской колонии, чтобы не проваливать приезжающих из России работников и легче отправлять нелегальную литературу в Россию в чемоданах, письмах и пр.

Когда я приехала в Мюнхен, Владимир Ильич жил без прописки у этого самого Ритмейера, назывался Мейером. Хотя Ритмейер и был содержателем пивной, но был социал-демократом и укрывал Владимира Ильича в своей квартире. Комнатешка у Владимира Ильича была плохонькая, жил он на холостецкую ногу, обедал у какой-то немки, которая угощала его Mehlspeise*. Утром и вечером пил чай из жестяной кружки, которую сам тщательно мыл и вешал на гвоздь около крана.

Вид у него был озабоченный, все налаживалось не так быстро, как хотелось. В то время в Мюнхене, кроме Владимира Ильича, жили: Мартов, Потресов и Засулич. Плеханову и Аксельроду хотелось, чтобы газета выходила где-нибудь в Швейцарии, под их непосредственным руководством. Они, в первое время и Засулич, не придавали особого значения „Искре", совершенно недооценивали той организующей роли, которую она могла сыграть и сыграла; их гораздо больше интересовала „Заря".

„Глупая ваша „Искра",—говорила вначале шутя Вера Ивановна. Это, конечно, была шутка, но в ней сквозила известная недооценка всего предприятия. Владимир Ильич думал, что надо, чтобы „Искра" была в стороне от эмигрантского центра, чтобы она была законспирирована, что имело громадное значение для сношений с Россией, для переписки, для приездов. Старики готовы были видеть в этом нежелание перенести газету в Швейцарию, нежелание руководства, желание вести какую-то свою линию, и не торопились особенно помогать. Вла-

* Мучными блюдами. *Ред.*

димир Ильич это чувствовал и нервничал. К Группе „Освобождение Труда“ у него было совсем особенное чувство. Я не говорю уже про Плеханова, он относился влюбленно и к Аксельроду и к Засулич. „Вот ты увидишь Веру Ивановну,—сказал мне Владимир Ильич в первый вечер моего приезда в Мюнхен,— это кристально-чистый человек“. Да, это была правда.

Вера Ивановна одна из Группы „Освобождение Труда“ стала близко к „Искре“. Она жила вместе с нами в Мюнхене и в Лондоне, жила жизнью редакции „Искры“, ее радостями и горестями, жила вестями из России.

„А „Искра“-то важная становится“, шутила она по мере того, как росло и ширилось влияние „Искры“. Вера Ивановна рассказывала не раз про долгие холодные годы эмиграции.

Мы никогда такой эмиграции, как Группа „Освобождение Труда“, не знавали—у нас все время были самые тесные связи с Россией, постоянно к нам приезжали оттуда люди. Мы жили в эмиграции в гораздо лучших условиях по части осведомленности, чем в другом губернском городе, жили исключительно интересами русской работы, дело в России шло на подъем, рабочее движение росло. Группа „Освобождение Труда“ жила от России оторванно, жила за границей в годы глухой реакции— заезжий из России студент был уже целым событием, но заезжать опасались: когда к ним в начале 90-х годов заехали Классон и Коробко, их тотчас же по возвращении вызвали в жандармское, спрашивали, зачем ездили к Плеханову. Слежка была организована образцово.

Из всех членов Группы „Освобождение Труда“ Вера Ивановна чувствовала себя наиболее одиноко. У Плеханова и Аксельрода была все же семья. Вера Ивановна говорила не раз о своем одиночестве: „Близких никого нет у меня“, и тотчас старалась прикрывать горечь своих переживаний шуточкой: „Ну вот, вы меня любите, я знаю, а когда умру, разве что одной чашкой чаю меньше выпьете“.

Потребность же в семье у ней была громадная—может быть, потому, что выросла она в чужой семье, была на положении „воспитанницы“. Надо было только видеть, как любовно она возилась с беленьким малышом, сынишкой Димки (сестры П. Г. Смидовича). Даже хозяйственность Вера Ивановна проявляла, заботливо покупала провизию в те дни, когда была ее очередь варить обед в коммуне (в Лондоне Вера Ивановна, Мартов и Алексеев жили коммуной). Впрочем, мало кто догадывался о семейственных и хозяйственных склонностях Веры Ивановны. Жила она по-нигилистячему—одевалась небрежно, ку-

рила без конца, в комнате ее царил невероятный беспорядок, убирать своей комнаты она никому не разрешала. Кормилась довольно фантастически. Помню, как она раз жарила себе мясо на керосинке, отстригала от него кусочки ножницами и ела.

„Когда я жила в Англии,—рассказывала она,—выдумали меня английские дамы разговорами занимать: „Вы сколько времени мясо жарите?"—„Как придется, отвечаю; если есть хочется, минут десять жарю, а не хочется есть—часа три". Ну, они и отстали".

Когда Вера Ивановна писала, она запиралась в своей комнате и питалась одним крепким черным кофе.

По России Вера Ивановна тосковала страшно. Кажется, в 1899 г. она ездила нелегально в Россию—не на работу, а так, „хоть мужика посмотреть, какой у него нос стал". И вот, когда стала выходить „Искра", она почувствовала, что это кусок русской работы, она судорожно за нее держалась. Для нее уйти из „Искры"—значило опять оторваться от России, опять начать тонуть в мертвой, тянущей ко дну эмигрантщине.

Вот почему, когда на втором съезде встал вопрос о редакции „Искры", она возмутилась. Для нее это был не вопрос самолюбия, это был вопрос жизни и смерти.

В 1905 г. она поехала в Россию и там осталась.

На II съезде Вера Ивановна в первый раз в жизни пошла против Плеханова. С Плехановым ее соединяли долгие годы совместной борьбы, она видела, какую громадную роль он играл в деле направления революционного движения в правильное русло, ценила его как основоположника русской социал-демократии, ценила его ум, блестящий талант. Самое незначительное несогласие с Плехановым страшно волновало ее, но в данном случае она не пошла с Плехановым.

Судьба Плеханова трагична. В области теории его заслуги перед рабочим движением чрезвычайно велики. Но годы эмиграции не прошли для него даром,—они оторвали его от русской действительности. Широкое массовое рабочее движение возникло в то время, когда он уже был за границей. Он видел представителей различных партий, писателей, студентов, даже отдельных рабочих, но русской рабочей массы он не видел, с ней не работал, ее не чувствовал. Бывало, придет какая-нибудь корреспонденция из России, которая поднимает завесу над новыми формами движения, заставляет почувствовать перспективы движения, Владимир Ильич, Мартов и даже Вера Ивановна читают и перечитывают ее; Владимир Ильич потом долго шагает по комнате, вечером не может заснуть. Когда

Группа «Освобождение Труда».

мы переехали в Женеву, я пробовала показывать Плеханову корреспонденции и письма, и удивляло меня, как он на них реагировал: точно почву он под ногами терял, недоверие у него какое-то появлялось на лице, никогда не говорил он потом об этих письмах и корреспонденциях.

Особенно недоверчиво стал он относиться к письмам из России после II съезда.

Меня это вначале даже обижало как-то, а потом стала думать, что это вот отчего: давно он уже уехал из России, и не было у него того мерила, вырабатываемого опытом, которое дает возможность определить удельный вес каждой корреспонденции, читать многое между строк.

Приезжали часто в „Искру" рабочие, каждый, конечно, хотел повидать Плеханова. Попасть к Плеханову было гораздо труднее, чем к нам или Мартову, но даже если рабочий попадал к Плеханову, он уходил от него со смешанным чувством. Его поражали блестящий ум Плеханова, его знания, его остроумие, но как-то оказывалось, что, уходя от Плеханова, рабочий чувствовал лишь громадное расстояние между собой и этим блестящим теоретиком, но о своем заветном, о том, о чем он хотел рассказать, с ним посоветоваться, он так и не смог поговорить.

А если рабочий не соглашался с Плехановым, пробовал изложить свое мнение,—Плеханов начинал раздражаться: „Еще ваши папеньки и маменьки под столом ходили, когда я..."

Вероятно, в первые годы эмиграции это не так было, но к началу 900-х годов Плеханов потерял уже непосредственное ощущение России. В 1905 году он в Россию не ездил.

Павел Борисыч Аксельрод в гораздо большей степени, чем Плеханов и Засулич, был организатором. Он больше всех общался с приезжими, у него они больше всего проводили время, там их поили, кормили. Павел Борисыч подробно их обо всем расспрашивал.

Он вел переписку с Россией, знал конспиративные способы сношений. Ну, как мог себя чувствовать в долгие годы эмиграции в Швейцарии русский организатор-революционер, можно себе представить! Павел Борисыч на три четверти потерял работоспособность, он не спал ночей напролет, писал с чрезвычайным напряжением, месяцами будучи не в состоянии окончить начатой статьи, почерк его было почти невозможно разобрать: так нервно он писал.

Почерк Аксельрода производил на Владимира Ильича всегда сильное впечатление. „Вот дойдешь до такого состояния, как Аксельрод,—не раз говорил Владимир Ильич,—ведь это просто

ужас один". О почерке Аксельрода он не раз говорил с доктором Крамером, который лечил его во время его последней болезни. Когда Владимир Ильич первый раз ездил за границу, в 1895 году,—об организационных вопросах он больше всего толковал с Аксельродом. Об Аксельроде он много рассказывал мне, когда я приехала в Мюнхен. О том, что делает теперь Аксельрод, он спрашивал меня, указывая на фамилию Аксельрода в газете, тогда, когда сам уже не только не мог писать, но и сказать ни слова.

П. Б. Аксельрод особенно болезненно относился к тому, что „Искра" издается не в Швейцарии и что поток сношений с Россией идет не через него. Потому так бешено отнесся он к вопросу о тройке на II съезде. „Искра" будет организационным центром, а он отстраняется от редакции! И это тогда, когда на II съезде больше, чем когда-либо, почувствовалось дыхание России.

Когда я приехала в Мюнхен, из Группы „Освобождение Труда" там жила только Засулич под чужим именем—по какому-то болгарскому паспорту, звалась Великой Дмитриевной.

По болгарским паспортам должны были жить и все остальные. До моего приезда Владимир Ильич жил просто без паспорта. Когда я приехала, взяли паспорт какого-то болгарина, д-ра Иорданова, вписали туда ему жену Марицу и поселились в комнате, нанятой по объявлению в рабочей семье. До меня секретарем „Искры" была Инна Гермогеновна Смидович-Леман, также жившая по болгарскому паспорту и звавшаяся Димкой. Владимир Ильич, когда я приехала, рассказал, что он провел, что секретарем „Искры" буду я, когда приеду. Это, конечно, означало, что связи с Россией будут вестись все под самым тесным контролем Владимира Ильича. Мартов и Потресов тогда ничего не имели против этого, а Группа „Освобождение Труда" не имела своего кандидата, да и не придавала в то время „Искре" особого значения. Владимир Ильич рассказывал, что ему это было не очень ловко делать, но он считал, что для дела это необходимо. Работы сейчас же навалилась масса. Дело было организовано так: письма из России посылались на различные города Германии по адресам немецких товарищей, а те все пересылали на адрес доктора Лемана, который все уже пересылал нам.

Незадолго перед тем вышла целая история. В России для брошюр удалось, наконец, наладить в Кишиневе типографию, и заведующий типографией Аким (брат Либера—Леон Гольдман) выслал на адрес Лемана подушку с зашитыми в середину экземплярами вышедшей в России брошюры. Удивленный Леман в

недоумении отказался на почте от подушки, но, когда наши это узнали и забили тревогу, подушку он получил и сказал, что теперь будет принимать все, что на его имя придет, хоть целый поезд.

Транспорта для перевозки „Искры" в Россию еще не было. „Искра" перевозилась главным образом в чемоданах с двойным дном с разными попутчиками, которые отвозили в Россию эти чемоданы в условленное место, на явки.

Была такая явка в Пскове у Лепешинских, была в Киеве, еще где-то. Русские товарищи, вынув литературу из чемодана, передавали ее организации. Транспорт только что налаживался через латышей Ролау и Скубика.

На все это тратилось не мало времени. Его также уходило много на всякие переговоры, из которых потом ничего не выходило.

Помню, как с неделю, кажется, ушло на переговоры с каким-то типом, который хотел завязывать связи с контрабандистами, путешествуя по границе с фотографическим аппаратом, каковой мы должны были ему купить.

Была переписка с агентами „Искры" в Берлине, Париже, Швейцарии, Бельгии. Они помогали, чем могли, отыскивая соглашающихся брать чемоданы, добывая деньги, связи, адреса и т. д.

В октябре 1901 г. образовалась из сочувствующих групп так называемая „Заграничная Лига русской революционной социал-демократии".

Связи с Россией очень быстро росли. Одним из самых активных корреспондентов „Искры" был питерский рабочий Бабушкин, с которым Владимир Ильич виделся перед отъездом из России и сговорился о корреспондировании. Он присылал массу корреспонденций из Орехово-Зуева, Владимира, Гуся-Хрустального, Иваново-Вознесенска, Кохмы, Кинешмы.

Он постоянно объезжал эти места и укреплял связи с ними. Писали из Питера, Москвы, с Урала, с Юга. Вели переписку с Северным Союзом*. Скоро приехал из Иваново-Вознесенска представитель Союза, Носков. Более российский тип трудно было себе представить. Голубоглазое блондинистое лицо, немного сутулый, он говорил на „о". Приехал он за границу с узелком

* Северный рабочий союз или „Северный союз" — объединение работников социал-демократической организации Владимирской, Костромской и Ярославской (позже и Тверской) губерний. Возник в 1900 году. В Союз входили: Варенцова, Носков, Любимов, Карпов и др. Летом 1902 г. Союз был разгромлен царской полицией. *Ред.*

договориться обо всем. Его дядюшка, мелкий фабрикант в Иваново-Вознесенске, дал ему денег на поездку за границу, чтобы только избавиться от беспокойного племянника, которого то забирали в каталажку, то обыскивали. Борис Николаевич (от природы он назывался Владимиром Александровичем, а это была его кличка) был хорошим практиком. Я его встречала еще в Уфе, когда он заезжал туда проездом в Екатеринбург. За границу он приехал за „связями". Собирание связей было его профессией. Помню, как он, усевшись на плиту в нашей узенькой мюнхенской кухне, с блестящими глазами рассказывал нам о работе Северного союза. Рассказывая, страшно увлекался. Владимир Ильич своими вопросами только подливал масла в огонь. Борис—пока жил за границей—завел тетрадь, куда тщательно записывал все связи: где кто живет, что делает, чем может быть полезен. Потом оставил нам эти связи. Это был своеобразный поэт-организатор. Впрочем, он слишком идеализировал людей и работу, и не было у него уменья бесстрашно смотреть действительности в глаза. После II съезда он был примиренцем, а потом как-то сошел с политической сцены. В годы реакции он умер.

Приезжали в Мюнхен и другие, еще до моего приезда был в Мюнхене Струве. С ним дело в это время шло уже на разрыв. Он переходил в это время из стана социал-демократии в стан либералов. В последний приезд с ним было резкое столкновение. Вера Ивановна подшила ему прозвище „подкованный теленок". Владимир Ильич и Плеханов ставили над ним крест. Вера Ивановна считала, что он еще не безнадежен. Ее и Потресова звали в шутку „Struve-freundliche Partei" *.

Приезжал Струве второй раз, когда я уже была в Мюнхене. Владимир Ильич отказался его видеть. Я ходила видеться со Струве на квартиру Веры Ивановны. Свидание было очень тяжелое. Струве был страшно обижен. Пахнуло какой-то тяжелой достоевщиной. Он говорил о том, что его считают ренегатом и еще что-то в том же роде, издевался над собой. Сейчас я уже не помню того, что он говорил, помню только то тяжелое чувство, с каким я шла с этого свидания. Было ясно, это—чужой, враждебный партии человек. Владимир Ильич был прав. Потом с кем-то, не помню уже с кем, жена Струве Нина Александровна прислала привет и коробку мармелада. Она была бессильна, да и вряд ли понимала, куда повертывает Петр Бернгардович. Он-то понимал.

Поселились мы после моего приезда в рабочей немецкой семье.

---

* Дружественная Струве партия. *Ред.*

У них была большая семья—человек шесть. Все они жили в кухне и маленькой комнатушке. Но чистота была страшная, детишки ходили чистенькие, вежливые. Я решила, что надо перевести Владимира Ильича на домашнюю кормежку, завела стряпню. Готовила на хозяйской кухне, но приготовлять надо было все у себя в комнате. Старалась как можно меньше греметь, так как Владимир Ильич в это время начал уже писать „Что делать?“. Когда он писал, он ходил обычно быстро из угла в угол и шопотком говорил то, что собирался писать. Я уже приспособилась к этому времени к его манере работать. Когда он писал, ни о чем уж с ним не говорила, ни о чем не спрашивала. Потом, на прогулке, он рассказывал, что он пишет, о чем думает. Это стало для него такой же потребностью, как шопотком проговорить себе статью, прежде чем ее написать. Бродили мы по окрестностям Мюнхена весьма усердно, выбирая места подичее, где меньше народа.

Через месяц перебрались на собственную квартиру в предместье Мюнхена „Швабинг“, в один из многочисленных, только что отстроенных больших домов, завели „обстановочку“ (при отъезде продали ее всю за 12 марок) и зажили по-своему.

В начале первого—после обеда—приходил Мартов, подходили и другие, шло так называемое заседание „редакции“. Мартов говорил не переставая, причем постоянно перескакивал с одной темы на другую. Он массу читал, откуда-то узнавал всегда целую кучу новостей, знал всех и вся. „Мартов—типичный журналист,—говорил про него не раз Владимир Ильич,—он чрезвычайно талантлив, все как-то хватает налету, страшно впечатлителен, но ко всему легко относится“. Для „Искры“ Мартов был прямо незаменим. Владимир Ильич страшно уставал от этих ежедневных 5—6-часовых разговоров, делался от них совершенно болен, неработоспособен. Раз он попросил меня сходить к Мартову и попросить его не ходить к нам. Условились, что я буду ходить к Мартову, рассказывать ему о получаемых письмах, договариваться с ним. Из этого, однако, ничего не вышло, через два дня дело пошло по-старому. Мартов не мог жить без этих разговоров. После нас он шел с Верой Ивановной, Димкой, Блюменфельдом* в кафе, где они просиживали целыми часами.

---

* Блюменфельд набирал „Искру“ сначала в Лейпциге, потом в Мюнхене в немецких социал-демократических типографиях. Он был отличным наборщиком и хорошим товарищем. К делу относился горячо. Он очень любил Веру Ивановну, всегда очень заботился о ней. С Плехановым он не ладил.—*И. К.*

Потом приехал Дан с женой и детьми. Мартов стал проводить у них целые дни.

В октябре мы ездили из Мюнхена в Цюрих объединяться с „Рабочим Делом“. Объединения никакого не вышло. Акимов, Кричевский и другие договорились до белых слонов. Мартов страшно горячился, выступая против рабочедельцев, даже галстух с себя сорвал, я первый раз видела его таким. Плеханов блистал остроумием. Составили резолюцию о невозможности объединения. Деревянным голосом прочел ее на конференции Дан. „Папский нунций“,—бросили ему противники.

Этот раскол пережит был совсем безболезненно. Мартов, Ленин не работали вместе с „Рабочим Делом“, в сущности, разрыва не было, потому что не было совместной работы. Плеханов же был в отличном настроении, ибо противник, с которым ему приходилось так много бороться, был положен на обе лопатки. Плеханов был весел и разговорчив.

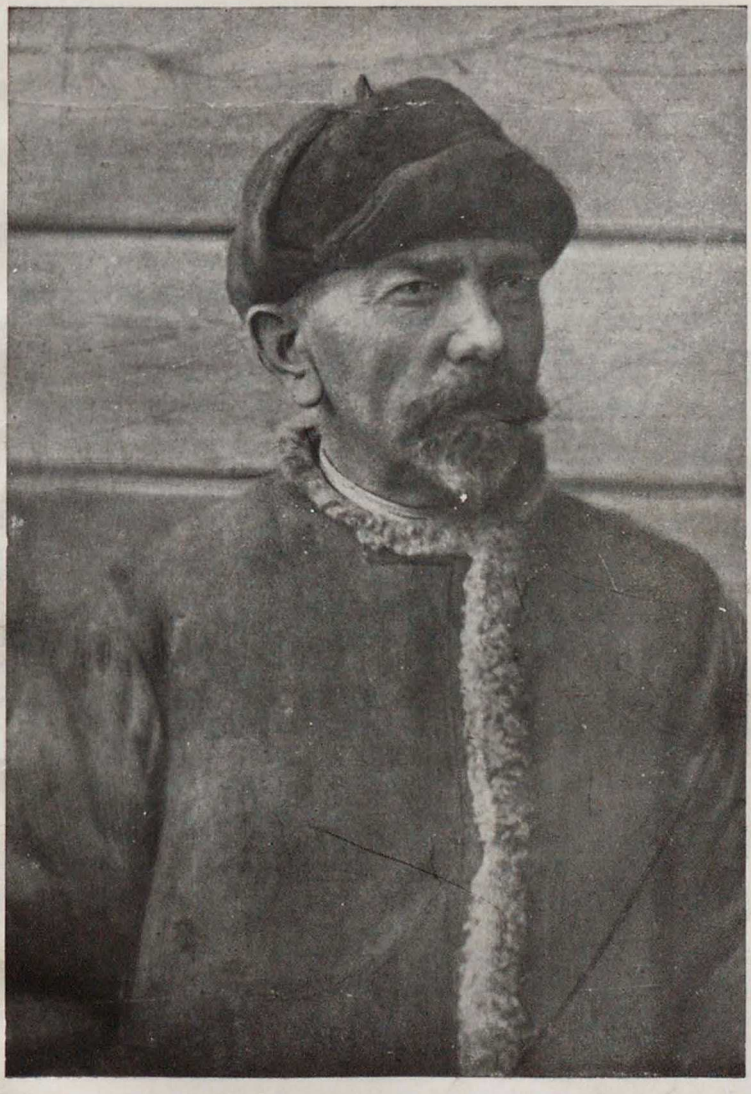
Жили мы в одном отеле, кормились вместе, и время прошло как-то особенно хорошо.

Только иногда чуть, капельку, проскальзывала разница в подходах к некоторым вопросам.

Запомнился один разговор. В кафе, в котором мы сидели, рядом с нашей комнатой был гимнастический зал, как раз там шло упражнение в фехтовании. Рабочие, вооруженные щитами, сражались, скрещивая картонные мечи. Плеханов посмеялся: „Вот и мы в будущем строе будем так сражаться“. Когда мы возвращались домой, я шла с Аксельродом,—он продолжал развивать тему, задетую Плехановым: „В будущем строе будет смертельная скука, никакой борьбы не будет“.

В то время я еще была до дикости застенчива и ничего не сказала, но, помню, подивилась таким рассуждениям.

Вернувшись из Цюриха, Владимир Ильич засел за окончание „Что делать?“. После меньшевики яростно нападали на „Что делать?“, но в то время оно всех захватило, особенно тех, кто ближе стоял к русской работе. Вся брошюра была страстным призывом к организации, она набрасывала широкий план организации, в которой каждый мог найти себе место, мог сделаться винтиком революционной машины, винтиком, без которого не может пойти работа, как бы мал он ни был. Брошюра звала к упорной, неустанной работе над созданием того фундамента, который надо было создать для того, чтобы при тогдашних русских условиях могла существовать партия не на словах, а на деле. Нельзя социал-демократу бояться долгой работы, надо работать, работать не покладая рук, быть всегда



И. И. Радченко.

готовым *„на все,* начиная от спасенья чести, престижа и преемственности партии в момент наибольшего революционного „угнетения“ и кончая подготовкой, назначением и проведением *всенародного вооруженного восстания*“,—писал Владимир Ильич в „Что делать?“ (Соч., т. IV, стр. 497).

Двадцать семь лет прошло с тех пор, как написана эта брошюра, и каких двадцать семь лет,—в корне изменились все условия работы партии, совсем новые задачи стоят перед рабочим движением, а и сейчас захватывает революционный пафос этой брошюры, и сейчас надо изучать эту брошюру тому, кто хочет не на словах, а на деле быть ленинцем.

Если „Друзья народа“ * имели громадное значение для определения пути, по которому должно итти революционное движение, то „Что делать?“ определяло план широкой революционной работы, указывало определенное дело.

Ясно было, что съезд партии еще преждевременен, что нет еще предпосылок для того, чтобы он не повис в воздухе, как повис I съезд, что нужна длительная подготовительная работа. Поэтому никто не отнесся серьезно к попытке созыва Бундом съезда в Белостоке. От „Искры“ поехал туда Дан, захватив чемодан, между стенками которого было набито „Что делать?“. Белостокский съезд превратился в конференцию.

Владимира Ильича особенно интересовало отношение к „Что делать?“ рабочих. Так, 16 июля 1902 г. он пишет Ивану Ивановичу Радченко: „Уж очень обрадовало Ваше сообщение о беседе с рабочими. Нам до последней степени редко приходится получать такие письма, которые действительно придают массу бодрости. Передайте это непременно Вашим рабочим и передайте им нашу просьбу, чтобы они и сами писали нам *не только для печати,* а и так, для обмена мыслей, чтобы не терять связи друг с другом и взаимного понимания. Меня лично особенно интересует при этом, как отнесутся рабочие к „Что делать?“, ибо отзыв рабочих я еще не получал“ (Соч., т. XXVIII, стр. 142).

„Искра“ работала во-всю. Ее влияние росло. Готовилась к съезду программа партии. Для обсуждения ее приехали в Мюнхен Плеханов и Аксельрод. Плеханов нападал на некоторые места наброска программы, сделанного Лениным. Вера Ивановна не во всем была согласна с Лениным, но не была согласна до конца и с Плехановым. Аксельрод соглашался тоже кое в чем с Лени-

---

* *Ленин.* Что такое „друзья народа“ и как они воюют против социал-демократов? Соч., т. I, стр. 51—222. *Ред.*

ным. Заседание было тяжелое. Вера Ивановна хотела возражать Плеханову, но тот принял неприступный вид и, скрестив руки, так глядел на нее, что Вера Ивановна совсем запуталась. Дело дошло до голосования. Перед голосованием Аксельрод, соглашавшийся в данном вопросе с Лениным, заявил, что у него разболелась голова, и он хочет прогуляться.

Владимир Ильич ужасно волновался. Так нельзя работать. Какое же это деловое обсуждение?

Необходимость построить работу на деловых основах, так, чтобы не привносился в нее личный элемент, чтобы капризы, исторически сложившиеся личные отношения не влияли на решение,—встала во весь рост.

Владимир Ильич крайне болезненно относился ко всякой размолвке с Плехановым, не спал ночи, первничал. А Плеханов сердился, дулся.

Прочитав статью Владимира Ильича к четвертому номеру „Зари", Плеханов вернул ее Вере Ивановне с примечаниями на полях, вылив в них всю свою досаду. Владимир Ильич, увидав их, совершенно выбился из колеи, заметался.

К этому времени выяснилось, что печатать „Искру" в Мюнхене далее невозможно, владелец типографии не хотел рисковать. Надо было выбираться. Куда? Плеханов и Аксельрод стояли за Швейцарию, остальные—понюхав атмосферы, развернувшейся на заседании при обсуждении программы,—голосовали за Лондон.

Этот мюнхенский период вспоминался нам после как какой-то светлый период. Последующие годы эмиграции переживались куда тяжелее. В мюнхенский период не было еще такой глубокой трещины в личных отношениях между Владимиром Ильичем, Мартовым, Потресовым и Засулич. Все силы сосредоточивались на одной цели—создании общерусской газеты, интенсивно шло собирание сил около „Искры". Ощущение роста организации, осознание того, что путь к созданию партии намечен правильно, было у всех.

Поэтому можно было не внешне, а от всей души веселиться на карнавале, возможно было то исключительное жизнерадостное настроение, которое было всеобщим при поездке в Цюрих, и т. д.

Местная жизнь не привлекала нашего особенного внимания. Мы наблюдали ее со стороны. Бывали иногда на собраниях, но в общем они были мало интересны. Помню празднование 1 мая. В том году в первый раз немецкий социал-демократии разрешено было устроить шествие, но с тем, чтобы не скопляться в городе, а устроить празднество за городом.

И вот довольно большие колонны немецких социал-демократов, с женами и детьми и редьками в карманах, молча, очень быстрым шагом прошли по городу—пить пиво в загородном ресторане. Никаких флагов, плакатов не было. Этот „Maifeier“ * не напоминал совершенно демонстрации во имя торжества рабочего класса во всем мире.

В загородный ресторан, куда направилась процессия, мы не пошли, отстали от демонстрации, а пошли по привычке бродить по улицам Мюнхена, чтобы заглушить чувство разочарования, которое невольно закралось в душу: хотелось принять участие в боевой демонстрации, а не в демонстрации с разрешения полиции.

Так как мы соблюдали сугубо конспирацию, то совершенно не виделись с немецкими товарищами. Встречались только с Парвусом, жившим неподалеку от нас, в Швабинге, с женой и сынишкой. Однажды приезжала к нему Роза Люксембург, и Владимир Ильич ходил тогда повидаться с ней. Тогда Парвус, занимая очень левую позицию, сотрудничал в „Искре“, интересовался русскими делами.

В Лондон мы ехали через Льеж. В то время там жил Николай Леонидович Мещеряков с женой,—мои старые приятели по воскресной школе. В те времена, когда я его знала, он был еще народовольцем, но он первый ввел меня в нелегальную работу, первый обучал правилам конспирации и помог мне сделаться социал-демократкой, усердно снабжая меня заграничными изданиями Группы „Освобождение Труда“.

Теперь он был социал-демократом, давно уже жил в Бельгии, прекрасно знал местное движение, и мы решили по дороге заехать к ним.

В это время в Льеже было как раз громадное возбуждение. За несколько дней перед тем войска стреляли в бастовавших рабочих. Заметно было, как волнуются рабочие кварталы, по лицам рабочих, по кучкам стоявших людей. Ходили мы смотреть Народный дом. Он стоит в очень неудобном месте, толпу легко запереть на площади перед домом, как в ловушке. Рабочие тянулись к Народному дому. И вот, чтобы предупредить скопление там народа, партийные верхи назначили собрания по всем рабочим кварталам. И мелькало недоверие к бельгийским вождям социал-демократии. Получилось какое-то разделение труда: одни стреляют в толпу, другие ищут предлога ее успокоить...

---

* Майский праздник. *Ред*

ЖИЗНЬ В ЛОНДОНЕ

1902—1903 гг.

В Лондон мы приехали в апреле 1902 года.

Лондон поразил нас своей грандиозностью. И хоть была в день нашего приезда невероятная мразь, но у Владимира Ильича лицо сразу оживилось, и он с любопытством стал вглядываться в эту твердыню капитализма, забыв на время и Плеханова и конфликты в редакции.

На вокзале нас встретил Николай Александрович Алексеев—товарищ, живший в Лондоне в эмиграции и прекрасно изучивший английский язык. Он был вначале нашим поводырем, так как мы оказались в довольно-таки беспомощном состоянии. Думали, что знаем английский язык, так как в Сибири перевели даже с английского на русский целую толстую книгу—Веббов. Я английский язык в тюрьме учила по самоучителю, никогда ни одного живого английского слова не слыхала. Стали мы в Шушенском Вебба переводить—Владимир Ильич пришел в ужас от моего произношения: „У сестры была учительница, так она не так произносила". Я спорить не стала, переучилась. Когда приехали в Лондон, оказалось—ни мы ни черта не понимаем, ни нас никто не понимает. Попадали мы вначале в прекомичные положения. Владимира Ильича это забавляло, но в то же время задевало за живое. Он принялся усердно изучать язык. Стали мы ходить по всяческим собраниям, забираясь в первые ряды и внимательно глядя в рот оратору. Ходили мы вначале довольно часто в Гайд-парк. Там выступают ораторы перед прохожим,—кто о чем. Стоит атеист и доказывает кучке любопытных, что бога нет,—мы особенно охотно слушали одного такого оратора, он говорил с ирландским произношением, нам более понятным. Рядом офицер из „Армии Спасения" выкрикивает истерично слова обращения к всемогущему богу, а немного поодаль приказчик рассказывает про каторжную жизнь приказчиков больших магазинов... Слушание английской речи давало многое. Потом Владимир Ильич раздобыл через объ-

явления двух англичан, желавших брать обменные уроки, и усердно занимался с ними. Изучил он язык довольно хорошо.

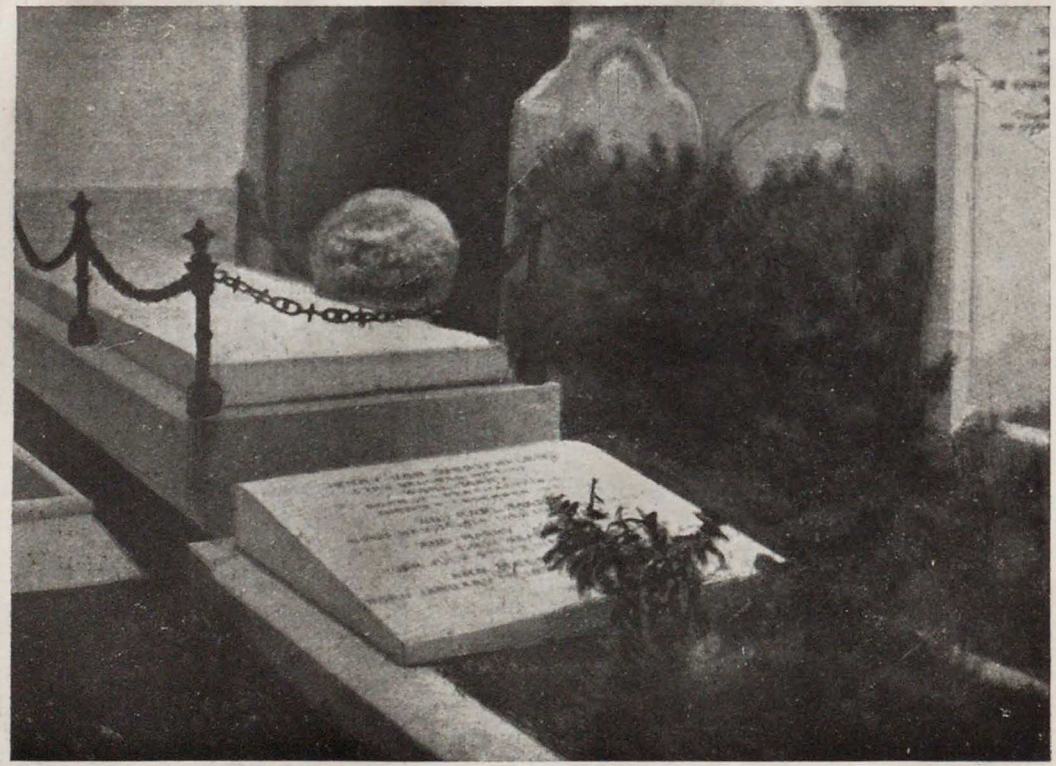
Изучал Владимир Ильич и Лондон. Он не ходил смотреть лондонские музеи—я не говорю про Британский музей, где он проводил половину времени, но там его привлекал не музей, а богатейшая в мире библиотека, те удобства, с которыми можно было там научно работать. Я говорю, про обычные музеи. В музее древностей через 10 минут Владимир Ильич начинал испытывать необычайную усталость, и мы обычно очень быстро выметались из зал, увешанных рыцарскими доспехами, бесконечных помещений, установленных египетскими и другими древними вазами. Я помню один только музейчик, из которого Ильич никак не мог уйти—это музей революции 1848 г. в Париже, помещавшийся в одной комнатушке,—кажется, на rue des Cordilières,—где он осмотрел каждую вещичку, каждый рисунок.

Ильич изучал живой Лондон. Он любил забираться на верх омнибуса и подолгу ездить по городу. Ему нравилось движение этого громадного торгового города. Тихие скверы с парадными особняками, с зеркальными окнами, все увитые зеленью, где ездят только выложенные кэбы, и ютящиеся рядом грязные переулки, населенные лондонским рабочим людом, где посередине развешано белье, а на крыльце играют бледные дети, оставались в стороне. Туда мы забирались пешком и, наблюдая эти кричащие контрасты богатства и нищеты, Ильич сквозь зубы повторял: „Two nations!“ (две нации). Но и с омнибуса можно было наблюдать тоже не мало характерных сцен. Около баров (распивочных) стояли опухшие, ободранные люмпены, среди них нередко можно было видеть какую-нибудь пьяную женщину с подбитым глазом, в бархатном платье со шлейфом, с вырванным рукавом и т. п. С омнибуса мы видели однажды, как могучий бобби (полицейский), в своей характерной каске с подвязанным подбородком, железной рукой толкал перед собой тщедушного мальчишку, очевидно, пойманного воришку, и целая толпа шла следом с гиком и свистом. Часть ехавшей на омнибусе публики повскакала с мест и также стала гикать на воришку. „И-д-а-а“,—мычал Владимир Ильич. Раза два мы ездили на верху омнибуса вечером в дни получки в рабочие кварталы. Вдоль тротуара широкой улицы (Road—дороги) стоит бесконечный ряд лотков, освещенных каждый горящим факелом,—тротуары залиты толпой рабочих и работниц, шумной толпой, покупающей всякую всячину и тут же утоляющей свой голод. Владимира Ильича всегда тянуло в рабочую толпу. Он шел всюду, где была эта толпа—на прогулку, где усталые ра-

бочие, выбравшись за город, часами валялись на траве, в бар, в читалку. В Лондоне много читалок—одна комната, куда входят прямо с улицы, где нет даже никакого сиденья, а лишь стойки для чтения и прикрепленные к папкам газеты; входящий берет газету и по прочтении вешает ее на место. Такие читалки хотел потом Ильич завести повсюду и у нас. Шел в народный ресторанчик, в церковь. В Англии в церквах после богослужения бывает обычно какой-нибудь коротенький доклад и потом дискуссия. Эти-то дискуссии, где выступали рядовые рабочие, особенно любил слушать Ильич. В газетах он отыскивал объявления о рабочих собраниях в глухих кварталах, где не было парада, не было лидеров, а были рабочие от станка, как теперь говорят. Собрание посвящалось обычно обсуждению какого-нибудь вопроса, проекта, например, городов-садов. Внимательно слушал Ильич и потом радостно говорил: „Из них социализм так и прет! Докладчик пошлости разводит, а выступит рабочий,—сразу быка за рога берет, самую суть капиталистического строя вскрывает". На рядового английского рабочего, сохранившего, несмотря ни на что, свой классовый инстинкт, и надеялся всегда Ильич. Приезжие обычно видят лишь развращенную буржуазией обуржуазившуюся рабочую аристократию. Ильич изучал, конечно, и эту верхушку, конкретные формы, в которые выливается это влияние буржуазии, ни на минуту не забывал значение этого факта, но старался нащупать и движущие силы будущей революции в Англии.

По каким только собраниям мы ни шатались! Раз забрели в социал-демократическую церковь. В Англии есть такие. Ответственный социал-демократический работник читал в нос библию, а потом говорил проповедь на тему, что исход евреев из Египта, это—прообраз исхода рабочих из царства капитализма в царство социализма. Все вставали и по социал-демократическим молитвенникам пели: „Выведи нас, господи, из царства капитализма в царство социализма". Потом мы еще раз ходили в эту церковь „Семи сестер" на собеседование с молодежью. Юноша читал доклад о муниципальном социализме, доказывая, что никакая революция не нужна, а социал-демократ, выступавший при нашем первом посещении церкви „Семи сестер" в роли попа, заявлял, что он уже 12 лет состоит в партии и 12 лет борется с оппортунизмом, а муниципальный социализм, это—чистой воды оппортунизм.

Английских социалистов в домашнем быту мы знаем мало. Англичане—народ замкнутый. На русскую эмигрантскую богему они смотрели с наивным удивлением. Помню, как меня



Могила К. Маркса в Лондоне.

допрашивал один английский социал-демократ, с которым мы встретились раз у Тахтаревых: „Неужели вы сидели в тюрьме? Если бы мою жену посадили в тюрьму, я не знаю, что бы сделал! Мою жену!“ Всепоглощающее засилье мещанства мы могли наблюдать в семье нашей квартирной хозяйки—рабочей семье, а также на англичанах, дававших нам обменные уроки. Тут мы всласть изучили всю бездонную пошлость английского мещанского быта. Один из ходивших к нам на урок англичан, заведывавший крупным книжным складом, утверждал, что он считает, что социализм—теория, наиболее правильно оценивающая вещи. „Я убежденный социалист,—говорил он,—я даже одно время стал выступать как социалист. Тогда мой хозяин вызвал меня и сказал, что ему социалисты не нужны, и если я хочу остаться у него на службе, то должен держать язык за зубами. Я подумал: социализм придет неизбежно, независимо от того, буду я выступать или нет, а у меня жена и дети. Теперь я уже никому не говорю, что я социалист, но вам-то я могу это сказать“.

Этот мистер Раймонд, объехавший чуть не всю Европу, живший в Австралии, еще где-то, проведший в Лондоне долгие годы, и половины того не видал, что успел наглядеть в Лондоне Владимир Ильич за год своего пребывания там. Ильич затащил его однажды в Уайтчепль на какой-то митинг. Мистер Раймонд, как и громадное большинство англичан, никогда не бывал в этой части города, населенной русскими евреями и живущей своей непохожей на жизнь остального города жизнью, и всему удивлялся.

По нашему обыкновению мы шатались и по окрестностям города. Чаще всего ездили на так называемый Prime Rose Hill. Это был самый дешевый конец—вся прогулка обходилась шесть пенсов. С холма виден был чуть не весь Лондон—задымленная громада. Отсюда пешком уходили уже подальше на лоно природы—в глубь парков и зеленых дорог. Любили мы ездить на Prime Rose Hill и потому, что там близко было кладбище, где похоронен Маркс. Туда ходили.

В Лондоне мы встретились с членом нашей питерской группы—с Аполлинарией Александровной Якубовой. В питерские времена она была очень активным работником, ее очень все ценили и любили, а я была еще связана с ней совместной работой в вечерне-воскресной школе за Невской заставой и общей дружбой с Лидией Михайловной Книпович. После ссылки, откуда она бежала, Аполлинария вышла замуж за Тахтарева, бывшего редактора „Рабочей Мысли“. Они жили теперь в эмиграции,

в Лондоне, в стороне от работы. Аполлинария очень обрадовалась нашему приезду. Тахтаревы взяли нас под свою опеку, помогли нам устроиться дешево и сравнительно удобно. С Тахтаревым мы все время виделись, но так как мы избегали разговоров о рабочемыслействе, то в отношениях была известная натянутость. Раза два взрывало. Объяснялись. В январе 1903 г., кажется, Тахтаревы (Тары) официально заявили о своем сочувствии направлению „Искры".

Скоро должна была приехать моя мать, и мы решили устроиться по-семейному—нанять две комнаты и кормиться дома, так как ко всем этим „бычачьим хвостам", жареным в жиру скатам, кэксам российские желудки весьма мало приспособлены, да и жили мы в это время на казенный счет, так приходилось беречь каждую копейку, а своим хозяйством жить было дешевле.

В смысле конспиративном устроились как нельзя лучше. Документов в Лондоне тогда никаких не спрашивали, можно было записаться под любой фамилией.

Мы записались Рихтерами. Большим удобством было и то, что для англичан все иностранцы на одно лицо, и хозяйка так все время и считала нас немцами.

Скоро приехали Мартов и Вера Ивановна* и поселились вместе с Алексеевым коммуной в одном из более напоминавших европейские домов поблизости от нас. Владимир Ильич сейчас же устроился работать в Британском музее.

Он обычно уходил туда с утра, а ко мне с утра приходил Мартов, мы с ним разбирали почту и обсуждали ее. Таким образом Владимир Ильич был избавлен от доброй доли так утомлявшей его сутолоки.

С Плехановым конфликт кое-как закончился. Владимир Ильич уехал на месяц в Бретань повидаться с матерью и Анной Ильиничной, пожить с ними у моря. Море с его постоянным движением и безграничным простором он очень любил, у моря отдыхал.

В Лондон сразу же стал приезжать к нам народ. Приехала Инна Смидович—Димка, вскоре уехавшая в Россию. Приехал и ее брат Петр Гермогенович, который по инициативе Владимира Ильича был окрещен Матреной. Перед тем он долго сидел. Выйдя из тюрьмы, он стал горячим искровцем. Он считал себя большим специалистом по смыванию паспортов,—якобы, надо было смывать пóтом, и в коммуне одно время все столы стояли

---

* Засулич. *Ред.*

С. И. Радченко.

вверх дном, служа прессом для смываемых паспортов. Вся эта техника была весьма первобытна, как и вся наша тогдашняя конспирация. Перечитывая сейчас переписку с Россией, диву даешься наивности тогдашней конспирации. Все эти письма о носовых платках (паспорта), варящемся пиве, теплом мехе (нелегальной литературе), все эти клички городов, начинающихся с той буквы, с которой начиналось название города (Одесса—Осип, Тверь—Терентий, Полтава—Петя, Псков—Паша и т. д.), вся эта замена мужских имен женскими и наоборот,—все сие было до крайности прозрачно, шито белыми нитками. Тогда это не казалось таким наивным, да и все же до некоторой степени путало следы. Первое время не было такого обилия провокаторов, как позднее. Люди были все надежные, хорошо знавшие друг друга. В России работали агенты „Искры", им доставлялась литература из-за границы—„Искра" и „Заря", брошюры,—они заботились о том, чтобы искровская литература перепечатывалась в нелегальных типографиях, распространяли искровскую литературу по комитетам, заботились о доставке „Искре" корреспонденций и о том, чтобы держать „Искру" в курсе всей ведущейся в России нелегальной работы, собирали на нее деньги. В Самаре (у Сони) жили Грызуны—Кржижановские, Глеб Максимилианович—Клэр и Зинаида Павловна—Улитка. Там же жила Марья Ильинична—Медвеженок. В Самаре сразу образовалось нечто вроде центра. У Кржижановских особая способность группировать около себя публику. Ленгник—Курц—поселился на юге, жил одно время в Полтаве (у Пети), потом в Киеве. В Астрахани жила Лидия Михайловна Книпович—„Дяденька". В Пскове жил Лепешинский—Лапоть и Любовь Николаевна Радченко—Паша. Степан Иванович Радченко к этому времени замучился окончательно и ушел от нелегальной работы, зато не покладая рук работал на „Искру" брат Степана Ивановича Иван Иванович (он же Аркадий, он же Касьян). Он был разъездным агентом. Таким же агентом, развозившим по России „Искру", был Сильвин (Бродяга). В Москве работал Бауман (он же Виктор, Дерево, Грач) и тесно связанный с ним Иван Васильевич Бабушкин (он же Богдан). К числу агентов относилась и тесно связанная с питерской организацией Елена Дмитриевна Стасова—Гуща, она же Абсолют, а также Глафира Ивановна Окулова, после провала Баумана поселившаяся под именем Зайчика в Москве (у Старухи). Со всеми ними „Искра" вела активную переписку. Владимир Ильич просматривал каждое письмо. Мы знали очень подробно, кто из агентов „Искры" что делает, и обсуждали с ними всю их работу; когда между

ними рвались связи,—связывали их между собою, сообщали о провалах и пр.

На „Искру“ работала типография в Баку. Работа велась при условиях строжайшей конспирации; там работали братья Енукидзе, руководил делом Красин (Лошадь). Типография называлась Нина. Потом на севере, в Новгороде, пробовали завести другую типографию—Акулину. Она очень быстро провалилась.

Прежняя нелегальная типография в Кишиневе, которой заведывал Аким (Леон Гольдман), к лондонскому периоду уже провалилась.

Транспорт шел через Вильно (через Груню).

Питерцы пробовали наладить транспорт через Стокгольм. Об этом транспорте, функционировавшем под названием „Пиво“, была бездна переписки, мы слали на Стокгольм литературу пудами, нас извещали, что пиво получено. Мы были уверены, что получено в Питере, и продолжали слать на Стокгольм литературу. Потом, в 1905 г., возвращаясь через Швецию в Россию, мы узнали, что пиво находится все еще в „пивоварне“, попросту говоря, в стокгольмском народном доме, где нашей литературой был завален целый подвал.

„Малые бочки“ посылались через Варде; раз, кажись, была получена посылка, потом что-то расстроилось. В Марселе поселили Матрену. Она должна была наладить транспорт через поваров, служивших на пароходах, ходивших в Батум. В Батуме прием литературы наладили „лошади“, бакинцы. Впрочем, большинство литературы выброшено было в море (литература заворачивалась в брезент и выбрасывалась на условленном месте в воду, наши ее выуживали). Михаил Иванович Калинин, работавший тогда на заводе в Питере и входивший в организацию, через Гущу передал адрес в Тулон, какому-то матросу. Возили литературу через Александрию (Египет), налаживали транспорт через Персию. Затем налажен был транспорт через Каменец-Подольск, через Львов. Ели все эти транспорты уймищу денег, энергии, работа в них сопряжена была с большим риском, доходило, вероятно, не больше одной десятой всего посылаемого. Посылали еще в чемоданах с двойным дном, в переплетах книг. Литература моментально расхватывалась.

Особенный успех имело „Что делать?“. Оно отвечало на ряд самых насущных назревших вопросов. Все очень остро чувствовали необходимость конспиративной, планомерно работающей организации.

В июне 1902 г. в Белостоке состоялась организованная Бун-

А. А. Якубова.

дом (Борисом) конференция, которая вся провалилась, кроме петербургского делегата. В связи с ней провалились Бауман и Сильвин. На этой конференции решено было образовать организационный комитет по созыву съезда. Дело, однако, затянулось. Нужно было представительство от местных организаций, но они носили еще крайне неоформленный, неоднородный характер. В Питере, например, организация делилась на рабочий комитет (Маня) и интеллигентский (Ваня). Рабочий комитет должен был по преимуществу вести экономическую борьбу, интеллигентский—вести высокую политику. Впрочем, эта высокая политика была довольно-таки мелкотравчатая и больше напоминала либеральную политику, чем революционную. Такая структура выросла на почве экономизма: принципиально разбитый на-голову экономизм прочно держался еще на местах. „Искра" по достоинству оценила значение такой структуры. Особая роль в борьбе за правильную структуру организаций принадлежит Владимиру Ильичу. Его „Письмо к Ереме", или, как оно называется в литературе, „Письмо к товарищу" (о нем скажу дальше), сыграло исключительную роль в деле организации партии. Оно помогло орабочению партии, втягиванию в разрешение всех жгучих вопросов политики рабочих, разбило ту стену, которая была воздвигнута рабочедельцами между рабочим и интеллигентом. Зиму 1902—1903 гг. в организациях была отчаянная борьба направлений, искровцы завоевывали постепенно положение, но бывало и так, что их „вышибали".

Владимир Ильич направлял борьбу искровцев, предостерегая их от упрощенного понимания централизма, борясь со склонностью видеть в каждой живой самостоятельной работе „кустарничество". Вся эта работа Владимира Ильича, так глубоко повлиявшая на качественный состав комитетов, мало известна молодежи, а между тем именно она определила лицо нашей партии, заложила основы ее теперешней организации.

Рабочедельцы-экономисты были особенно озлоблены на эту борьбу, лишавшую их влияния, и негодовали на „командование" со стороны заграницы. Для переговоров по организационным вопросам 6 августа приехал из Питера тов. Краснуха—с паролем: „Читали ли вы „Гражданин" № 47?". С тех пор он пошел у нас под кличкой Гражданин. Владимир Ильич много говорил с ним о питерской организации, ее структуре. В совещании принимал участие и П. А. Красиков (он же Музыкант, Шпилька, Игнат, Панкрат) и Борис Николаевич (Носков). Из Лондона Гражданина отправили в Женеву потолковать с Плехановым и окончательно „объискриться". Через пару недель пришло письмо

из Питера от Еремы, высказывавшего свои соображения о том, как должна быть организована работа на местах. Не видно было по письму, был ли Ерема отдельный пропагандист или группа пропагандистов. Но это было неважно. Владимир Ильич стал обдумывать ответ. Ответ разросся в брошюру „Письмо к товарищу“ *. Оно было сначала отпечатано на гектографе и распространено, а затем в июне 1903 г. издано нелегально сибирским комитетом.

В начале сентября 1902 г. приехал Бабушкин, бежавший из екатеринославской тюрьмы. Ему и Горовицу помогли бежать из тюрьмы и перейти границу какие-то гимназисты, выкрасили ему волосы, которые скоро обратились в малиновые, обращавшие на себя всеобщее внимание. И к нам он приехал малиновый. В Германии попал в лапы к комиссионерам, и еле-еле удалось ему избавиться от отправки в Америку. Поселили мы его в коммуну, где он и прожил все время своего пребывания в Лондоне. Бабушкин за это время страшно вырос в политическом отношении. Это уже был закаленный революционер, с самостоятельным мнением, перевидавший массу рабочих организаций, которому нечего было учиться как подходить к рабочему—сам рабочий. Когда он пришел несколько лет перед тем в воскресную школу—это был совсем неопытный парень. Помню такой эпизод. Был он в группе сначала у Лидии Михайловны Книпович. Был урок родного языка, подбирали какие-то грамматические примеры. Бабушкин написал на доске: „У нас на заводе скоро будет стачка“. После урока Лидия отозвала его в сторону и наворчала на него: „Если хотите быть революционером, нельзя рисоваться тем, что ты революционер, надо иметь выдержку“ и т. п. Бабушкин покраснел, но потом смотрел на Лидию, как на лучшего друга, часто советовался с ней о делах и как-то по-особенному говорил с ней.

В то время в Лондон приехал Плеханов. Было устроено заседание совместно с Бабушкиным. Речь шла о русских делах. У Бабушкина было свое мнение, которое он защищал, очень твердо и так держался, что стал импонировать Плеханову. Георгий Валентинович стал внимательнее в него вглядываться. О своей будущей работе в России Бабушкин говорил, впрочем, только с Владимиром Ильичем, с которым был особенно близок. Еще помню один маленький, но характерный эпизод. Дня через два после приезда Бабушкина, придя в коммуну, мы были пора-

---

* *Ленин.* Письмо к товарищу о наших организационных задачах. Соч., т. V., стр. 179. *Ред.*

И. В. Бабушкин.

жены царившей там чистотой,—весь мусор был прибран, на столах постланы газеты, пол подметен. Оказалось, порядок водворил Бабушкин. „У русского интеллигента всегда грязь—ему прислуга нужна, а сам он за собой прибирать не умеет", сказал Бабушкин.

Он скоро уехал в Россию. Потом мы его уже не видали. В 1906 г. он был захвачен в Сибири с транспортом оружия и вместе с товарищами расстрелян у открытой могилы.

Еще до отъезда Бабушкина приехали в Лондон бежавшие из киевской тюрьмы искровцы: Бауман, Крохмаль, Блюменфельд—повезший в Россию чемодан с литературой, провалившийся на границе с чемоданом и адресами и потом отвезенный в киевскую тюрьму, Валлах (Литвинов, Папаша), Тарсис (он же Пятница).

Мы знали, что готовится в Киеве побег из тюрьмы. Дейч, только что появившийся на горизонте, спец по побегам, знавший условия киевской тюрьмы, утверждал, что это невозможно. Однако побег удался. С воли переданы были веревки, якорь, паспорта. Во время прогулки связали часового и надзирателя и перелезли через стену. Не успел бежать только последний по очереди—Сильвин, державший надзирателя.

Несколько дней прошли как в чаду.

В половине августа пришло письмо из редакции „Южного Рабочего", популярного нелегального рабочего органа, сообщившее о провалах на юге и о том, что редакция желает вступить с организацией „Искры" и „Зари" в самые тесные сношения и заявляет о своей солидарности во взглядах. Это, конечно, было большим шагом вперед в деле объединения сил. Однако в следующем письме „Южный Рабочий" выражал недовольство резкостью полемики „Искры" с либералами. Затем началась речь о том, что литературная группа „Южного Рабочего" должна и впредь сохранить свою самостоятельность и т. д. Чувствовалось, что не все договаривается до конца.

Самарцы выяснили путем переговоров, что у „Южного Рабочего" была: 1) недооценка крестьянского движения, 2) недовольство резкостью полемики с либералами и 3) желание остаться обособленной группой и издавать свой орган, популярный.

В начале октября в Лондон приехал бежавший из Сибири Троцкий. Он считал себя тогда искровцем. Владимир Ильич приглядывался к нему, много расспрашивал его про впечатления от русской работы. Троцкого звали на работу в Россию, но Владимир Ильич считал, что ему надо остаться за границей,

подучиться и помогать работе „Искры“. Троцкий поселился в Париже.

Приехала из ссылки в Олекме Екатерина Михайловна Александрова (Жак). Раньше она была видной народоволкой, и это наложило на нее определенную печать. Она не походила на наших пылких, растрепанных девиц, вроде Димки, была очень выдержана. Теперь она была искровкой; то, что она говорила, было умно.

К старым революционерам, к народовольцам, Владимир Ильич относился с уважением.

Когда приехала Екатерина Михайловна, на отношение к ней Владимира Ильича не осталось без влияния то, что она бывшая народоволка, а вот перешла к искровцам. Я и совсем смотрела на Екатерину Михайловну снизу вверх. Перед тем, как стать окончательно социал-демократкой, я пошла к Александровым (Ольминским) просить кружок рабочих. На меня произвела тогда колоссальное впечатление скромная обстановка, всюду наваленные статистические сборники, молча сидевший в глубине комнаты Михаил Степанович и горячие речи Екатерины Михайловны, убеждавшей меня стать народоволкой. Я рассказывала об этом Владимиру Ильичу перед приездом Екатерины Михайловны. У нас началась полоса увлечения ею. У Владимира Ильича постоянно бывали такие полосы увлечения людьми. Подметит в человеке какую-нибудь ценную черту и вцепится в него. Екатерина Михайловна поехала из Лондона в Париж. Искровкой она оказалась не очень стойкой,—на II партийном съезде не без ее участия плелась сеть оппозиции против „захватнических“ намерений Ленина, потом она была в примиренческом ЦК, потом сошла с политической сцены.

Из приезжавших в Лондон из России товарищей помню еще Бориса Гольдмана—„Адель“ и Доливо-Добровольского—„Дно“.

Бориса Гольдмана я еще знала по Питеру, где он работал по технике, печатая листки „Союза Борьбы“. Человек чрезвычайно колеблющийся, в то время он был искровцем. „Дно“ поражал своей тихостью. Сидит, бывало, тихо, как мышь. Он вернулся в Питер, но скоро сошел с ума, а потом, выздоровев наполовину, застрелился. Трудна тогда была жизнь нелегала, не всякий мог ее вынести.

Всю зиму шла усиленная работа по подготовке съезда. В декабре 1902 г. конституировался организационный комитет по подготовке съезда (в ОК вошли представители „Южного Рабочего“, Северного Союза, Краснуха, И. И. Радченко, Красиков,

Ленгник, Кржижановский; Бунд вначале воздержался от вхождения).

Название „организационный" соответствовало сути дела. Без ОК никогда не удалось бы созвать съезда. Нужно было при труднейших полицейских условиях произвести сложную работу по увязке организационной и идейной только еще оформившихся и продолжавших оформляться коллективов, по увязке мест с заграницей. Вся работа по сношениям с ОК в подготовке съезда фактически легла на Владимира Ильича. Потресов был болен, его легкие не были приспособлены к лондонским туманам, и он где-то лечился. Мартов тяготился Лондоном, его замкнутой жизнью и, поехав в Париж, застрял там. Должен был жить в Лондоне Дейч, бежавший с каторги старый член Группы „Освобождение Труда". Группа „Освобождение Труда" надеялась на него, как на крупного организатора. „Вот приедет Женька (кличка Дейча),—говорила Вера Ивановна,—он наладит все сношения с Россией как нельзя лучше". На него надеялись и Плеханов и Аксельрод, считая, что это будет их представитель в редакции „Искры", который за всем будет следить. Однако, когда приехал Дейч, оказалось, что долгие годы оторванности от русских условий наложили на него свой отпечаток. Для сношений с Россией он оказался совершенно неприспособленным, не знал новых условий, его тянуло на людей, он вошел в заграничную лигу русских социал-демократов*, повел широкие сношения с заграничными колониями и тоже вскоре уехал в Париж.

Постоянно жила в Лондоне Вера Ивановна, она охотно слушала рассказы о русской работе, но сама вести сношения с Россией не могла, не умела. Все легло на Владимира Ильича. Переписка с Россией ужасно трепала ему нервы. Ждать неделями, месяцами ответов на письма, ждать постоянно провала всего дела, постоянно пребывать в неизвестности, как развертывается дело,—все это как нельзя менее соответствовало характеру Владимира Ильича. Его письма в Россию переполнены просьбами писать аккуратно: „Еще раз усердно и настоятельно просим и молим писать нам чаще и подробнее,—в частности, немедленно, непременно в тот же день, как получится письмо, изве-

---

* Заграничная лига русской революционной социал-демократии — организация, созданная в 1901 г. в результате неудавшейся попытки объединиться с „Рабочим Делом" (см. выше), объединявшая все революционные элементы российской социал-демократии за границей. В состав Лиги входили: Группа „Освобождение Труда" и редакции журнала „Зари" и „Искры". *Ред.*

стить нас хоть парой строк о его получении"... Переполнены письма просьбами действовать скорее. Ночи не спал Ильич после каждого письма из России, сообщавшего о том, что „Соня молчит, как убитая", или, что „Зарин во-время не вошел в комитет", или что „нет связи со Старухой". Остались у меня в памяти эти бессонные ночи. Владимир Ильич страстно мечтал о создании единой сплоченной партии, в которой растворились бы все обособленные кружки со своими основывавшимися на личных симпатиях и антипатиях отношениями к партии, в которой не было бы никаких искусственных перегородок, в том числе и национальных. Отсюда борьба с Бундом. Бунд в то время в своем большинстве стоял на рабочедельской точке зрения. И Владимир Ильич не сомневался, что если Бунд войдет в партию и сохранит только автономию в своих чисто национальных делах, ему неминуемо придется итти в ногу с партией. А Бунд хотел сохранить за собой полную самостоятельность во всех вопросах, он говорил о своей, особой от РСДРП, политической партии, он соглашался примкнуть лишь на федеративных началах. Такая тактика была убийственна для еврейского пролетариата. В одиночку еврейский пролетариат не мог никогда победить. Только слившись с пролетариатом всей России, мог он стать силой. Бундовцы этого не понимали. И потому редакция „Искры" вела с Бундом ярую борьбу. Это была борьба за единство, за сплоченность рабочего движения. Борьбу вела вся редакция, но бундовцы знали, что самым страстным сторонником борьбы за единство является Владимир Ильич.

Вскоре Группа „Освобождение Труда" вновь поставила вопрос о переезде в Женеву, и на этот раз уже один только Владимир Ильич голосовал против переезда туда. Начали собираться. Нервы у Владимира Ильича так разгулялись, что он заболел тяжелой нервной болезнью—„священный огонь", когорая заключается в том, что воспаляются кончики грудных и спинных нервов.

Когда у Владимира Ильича появилась сыпь, взялась я за медицинский справочник. Выходило, что по характеру сыпи это—стригущий лишай. Тахтарев—медик не то четвертого, не то пятого курса—подтвердил мои предположения, и я вымазала Владимира Ильича иодом, чем причинила ему мучительную боль. Нам и в голову не приходило обратиться к английскому врачу, ибо платить надо было гинею. В Англии рабочие обычно лечатся своими средствами, так как доктора очень дороги. Дорогой в Женеву Владимир Ильич метался, а по приезде туда свалился и пролежал две недели.

Из работ, которые не нервировали Владмира Ильича в Лондоне, а дали ему известное удовлетворение, было писание брошюры „К деревенской бедноте“ *. Крестьянские восстания 1902 г. привели Владимира Ильича к мысли о необходимости написать брошюру для крестьян. В ней он растолковывал, чего хочет рабочая партия, объяснял, почему крестьянской бедноте надо итти с рабочими. Это была первая брошюра, в которой Владимир Ильич обращался к крестьянству.

* Соч., т. V, стр. 261 – 317. *Ред.*

ЖЕНЕВА

1903 г.

В апреле 1903 г. мы переехали в Женеву.

В Женеве мы поселились в пригороде, в рабочем поселке Séchéron,—целый домишко заняли: внизу большая кухня с каменным полом, наверху три маленьких комнатушки. Кухня была у нас и приемной. Недостаток мебели пополнялся ящиками из-под книг и посуды. Игнат (Красиков) в шутку назвал как-то нашу кухню „притоном контрабандистов". Толчея у нас сразу образовалась непротолченая. Когда надо было с кем потолковать в особицу, уходили в рядом расположенный парк или на берег озера.

Понемногу стали съезжаться делегаты. Приехали Дементьевы. Костя (жена Дементьева) прямо поразила Владимира Ильича своими познаниями транспортного дела. „Вот это настоящий транспортер!—повторял он,—вот это дело, а не болтовня". Приехала Любовь Николаевна Радченко, с которой мы лично были очень близко связаны, разговорам не было конца. Потом приехали ростовские делегаты—Гусев и Локерман, затем Землячка, Шотман (Берг), Дяденька, Юноша (Дмитрий Ильич). Каждый день кто-нибудь приезжал. С делегатами толковали по вопросам программы, Бунда, слушали их рассказы. У нас постоянно сидел Мартов, не устававший говорить с делегатами.

Надо было осветить делегатам позицию „Южного Рабочего", который, прикрываясь фирмой популярной газеты, хотел сохранить для себя право на обособленное существование. Надо было выяснить, что при условии нелегального существования популярная газета не может стать массовой, не может рассчитывать на массовое распространение.

В редакции „Искры" пошли всякие недоразумения. Положение стало невыносимым. Делилась редакция обычно на две тройки: Плеханов, Аксельрод, Засулич—с одной стороны, Ленин, Мартов, Потресов—с другой. Владимир Ильич внес опять предложение, которое он вносил уже в марте, о кооптации в редак-

Вид г. Женевы.

цию седьмого члена. Временно, до съезда, кооптировали Красикова: надо было иметь в редакции седьмого. В связи с этим Владимир Ильич стал обдумывать вопрос о тройке. Это был очень больной вопрос, и с делегатами об этом не говорилось. О том, что редакция „Искры“ в ее прежнем составе стала неработоспособной, об этом слишком тяжело было говорить.

Приехавшие жаловались на членов ОК: одного обвиняли в резкости, халатности, другого—в пассивности, мелькало недовольство тем, что „Искра“-де стремится слишком командовать, но казалось, что разногласий нет и что после съезда дела пойдут прекрасно.

Делегаты съезжались, не приехали только Клэр и Курц.

ВТОРОЙ СЪЕЗД

Июль—август 1903 г.

Первоначально съезд предполагалось устроить в Брюсселе, там и происходили первые заседания. В Брюсселе жил в то время Кольцов—старый плехановец. Он взял на себя устройство всего дела. Однако устроить съезд в Брюсселе оказалось не так-то легко. Явка была назначена у Кольцова. Но после того, как к нему пришло штуки четыре россиян, квартирная хозяйка заявила Кольцовым, что больше она этих хождений не потерпит, и если придет еще хоть один человек, пусть они немедленно же съезжают с квартиры. И жена Кольцова стояла целый день на углу, перехватывала делегатов и направляла их в социалистическую гостиницу „Золотой Петух“ (так она, кажись, называлась).

Делегаты шумным лагерем расположились в этом „Золотом Петухе“, а Гусев, хватив рюмочку коньяку, таким могучим голосом пел по вечерам оперные арии, что под окнами отеля собиралась толпа (Владимир Ильич очень любил пение Гусева, особенно „Нас венчали не в церкви“).

Со съездом переконспирировали. Бельгийская партия придумала для ради конспирации устроить съезд в громадном мучном складе. Своим вторжением мы поразили не только крыс, но и полисменов. Заговорили о русских революционерах, собирающихся на какие-то тайные совещания.

На съезде было 43 делегата с решающим голосом и 14 с совещательным. Если сравнить этот съезд с теперешними, где представлены в лице многочисленных делегатов сотни тысяч членов партии, он кажется маленьким, но тогда он казался большим: на первом съезде в 1898 г. было всего ведь 9 человек... Чувствовалось, что за пять лет порядочно ушли вперед. Главное, организации, от которых приехали делегаты, не были уже полумифическими, они были уже оформлены, они были связаны с начинавшим широко развертываться рабочим движением.

Как мечтал об этом съезде Владимир Ильич! Всю жизнь—до самого конца—он придавал партийным съездам исключительно большое значение; он считал, что партийный съезд—это высшая инстанция, на съезде должно быть отброшено все личное, ничто не должно быть затушевано, все сказано открыто. К партийным съездам Ильич всегда особенно тщательно готовился, особенно заботливо обдумывал к ним свои речи. Теперешняя молодежь, которая не знает, что значит годами ждать возможности обсудить сообща, со всей партией в целом, самые основные вопросы партийной программы и тактики, которая не представляет себе, с какими трудностями связан был созыв нелегального съезда в те времена,—вряд ли поймет до конца это отношение Ильича к партийным съездам.

Так же страстно, как Ильич, ждал съезда и Плеханов. Он открывал съезд. Большое окно мучного склада около импровизированной трибуны было завешено красной материей. Все были взволнованы. Торжественно звучала речь Плеханова, в ней слышался неподдельный пафос. И как могло быть иначе! Казалось, долгие годы эмиграции уходили в прошлое, он присутствовал, он открывал съезд Российской социал-демократической рабочей партии.

По существу дела II съезд был учредительным. На нем ставились коренные вопросы теории, закладывался фундамент партийной идеологии. На I съезде было принято только название партии и манифест об ее образовании. Вплоть до II съезда программы у партии не было. Редакция „Искры“ эту программу подготовила. Долго обсуждалась она в редакции. Обосновывалось, взвешивалось каждое слово, каждая фраза, шли горячие споры. Между мюнхенской и швейцарской частью редакции месяцами велась переписка о программе. Многим практикам казалось, что эти споры носят чисто кабинетный характер, и что совсем не важно, будет стоять в программе какое-нибудь „более или менее“, или его стоять не будет.

Мы вспоминали однажды с Владимиром Ильичем одно сравнение, приведенное где-то Л. Толстым: идет он и видит издали—сидит человек на корточках и машет как-то нелепо руками; он подумал—сумасшедший, подошел ближе, видит—человек нож о тротуар точит. Так бывает и с теоретическими спорами. Слушать со стороны: зря люди препираются, вникнуть в суть—дело касается самого существенного. Так и с программой было.

Когда в Женеву стали съезжаться депутаты, больше всего, детальнее всего с ними обсуждался вопрос о программе. На съезде этот вопрос прошел наиболее гладко.

Другой вопрос громадной важности, обсуждавшийся на II съезде, был вопрос о Бунде. На I съезде было постановлено, что Бунд составляет часть партии, хотя и автономную. В течение пяти лет, которые прошли со времени I съезда, партии, как единого целого, в сущности не было, и Бунд вел обособленное существование. Теперь Бунд хотел закрепить эту обособленность, установив с РСДРП лишь федеративные отношения. Подкладка этого заключалась в том, что Бунд, отражая настроение ремесленников еврейских местечек, гораздо больше интересовался борьбой экономической, чем политической, и потому гораздо больше симпатизировал экономистам, чем „Искре". Вопрос шел о том, быть ли в стране единой сильной рабочей партии, тесно сплачивающей вокруг себя рабочих всех национальностей, проживающих на территории России, или же быть в стране нескольким обособленным по национальности рабочим партиям. Вопрос шел об интернациональном сплочении внутри страны. Редакция „Искры" стояла за интернациональное сплочение рабочего класса, Бунд—за национальную обособленность и лишь дружественные договорные отношения между национальными рабочими партиями России.

Вопрос о Бунде так же детально обсуждался с приехавшими делегатами и так же решен был в духе „Искры" громадным большинством.

Позднее факт раскола заслонил перед многими те громадной важности принципиальные вопросы, которые были поставлены и разрешены на II съезде. Владимир Ильич во время обсуждения этих вопросов чувствовал особую близость к Плеханову. Речь Плеханова о том, что основным демократическим принципом должно являться положение: „высший закон—благо революции" и что даже на принцип всеобщего избирательного права надо смотреть с точки зрения этого основного принципа, произвела на Владимира Ильича глубокое впечатление. Он вспоминал о ней, когда 14 лет спустя перед большевиками встал во весь рост вопрос о роспуске Учредительного собрания.

И другая речь Плеханова—о значении народного образования, о том, что оно есть „гарантия прав пролетариата", была созвучна с мыслями Владимира Ильича.

Плеханов на съезде тоже чувствовал близость к Ленину.

Отвечая Акимову, ярому рабочедельцу, жаждавшему посеять рознь между Плехановым и Лениным, Плеханов шутя говорил: „У Наполеона была страстишка разводить своих маршалов с их женами; иные маршалы уступали ему, хотя и любили своих жен. Тов. Акимов в этом отношении похож на Наполеона,—он во

что бы то ни стало хочет развести меня с Лениным. Но я проявлю больше характера, чем наполеоновские маршалы; я не стану разводиться с Лениным, и надеюсь, и он не намерен разводиться со мной". Владимир Ильич смеялся и отрицательно качал головой.

При обсуждении первого пункта порядка дня (о конституировании съезда), по вопросу о приглашении представителя группы „Борьба" (Рязанов, Невзоров, Гуревич), неожиданно разыгрался инцидент. ОК пожелал выступить на съезде с особым мнением. Дело было вовсе не в группе „Борьба", а в том, что ОК попытался связать своих членов особой дисциплиной—перед лицом съезда. ОК захотел выступить как группа, предварительно решающая в своей среде, как надо голосовать, и выступающая на съезде как группа. Таким образом высшей инстанцией для члена съезда являлась бы группа, а не сам съезд. Владимир Ильич вскипел прямо от возмущения. Но не только он поддержал Павловича (Красикова), восставшего против такой попытки, поддержали его и Мартов и другие. Хотя ОК был съездом распущен, однако инцидент был знаменателен и предвещал всяческие осложнения. Впрочем, временно инцидент отодвинулся на задний план, поскольку на первый план выдвинулись вопросы колоссальной принципиальной важности—вопрос о месте Бунда в партии и вопрос о программе. По вопросу о Бунде и редакция „Искры", и ОК, и делегаты с мест выступили очень дружно. Представитель „Южного Рабочего", член ОК Егоров (Левин), также со всей решительностью выступал против Бунда. Плеханов во время перерыва говорил ему всяческие комплименты, говорил, что его речь надо-де „распубликовать по всем коммунам". Бунд клали на обе лопатки. Прочно устанавливалось положение, что национальные особенности не должны мешать единству партийной работы, монолитности социал-демократического движения.

Тем временем пришлось перебираться в Лондон. Брюссельская полиция стала придираться к делегатам и выслала даже Землячку и еще кого-то. Тогда снялись все. В Лондоне устройству съезду всячески помогли Тахтаревы. Полиция лондонская не чинила препятствий.

Продолжал обсуждаться вопрос о Бунде. Затем, пока подрабатывался в комиссии вопрос о программе, перешли к четвертому пункту порядка дня, к вопросу об утверждении центрального органа. Таковым—при возражениях со стороны рабочедельцев—единодушно признана была „Искра". „Искру" горячо приветствовали. Даже представитель ОК Попов (Розанов) гово-

рил о том, что „вот здесь, на съезде, мы видим единую партию, созданную в значительной степени деятельностью „Искры". Это было десятое заседание, а их было 37. Над съездом начинали понемногу скопляться тучи. Предстоял выбор тройки в ЦК. Основного ядра ЦК не было еще налицо. Несомненной была кандидатура Глебова (Носкова), зарекомендовавшего себя как неутомимого организатора. Другой несомненной кандидатурой была бы кандидатура Кларa (Кржижановского), если бы он был на съезде. Но на съезде его не было. За него и за Курца (Ленгника) приходилось голосовать заглазно, „по доверию", что было весьма даже неудобно. Между тем на съезде было слишком много „генералов", кандидатов в ЦК. Таковыми были Жак, („Штейн"—Александрова), Фомин (Крохмаль), Штерн („Костя"—Роза Гальберштадт), Попов (Розанов), Егоров (Левин). Все это—кандидаты на два места в некистскую тройку. Кроме того, все знали друг друга не только как партийных работников, но знали и личную жизнь друг друга. Тут была целая сеть личных симпатий и антипатий. Чем ближе подходили выборы, тем напряженнее становилась атмосфера. Обвинения, бросавшиеся Бундом и „Рабочим Делом", в желании командовать, диктовать свою волю из заграничного центра и пр., хотя и встречали дружный отпор вначале, делали свое дело, влияя на центр, на колеблющихся,—может быть, даже помимо их сознания. Боялись командования, чьего? Конечно, не Мартова, Засулич, Старовера и Аксельрода. Боялись командования Ленина и Плеханова. Но знали, что в вопросе о составе, о русской работе будет определять Ленин, а не Плеханов, стоявший в стороне от практической работы.

Съезд утвердил направление „Искры", но предстояло еще утверждать редакцию „Искры".

Владимир Ильич выдвинул проект о том, чтобы редакцию „Искры" составить из трех лиц. Об этом проекте Владимир Ильич ранее сообщил Мартову и Потресову. Мартов отстаивал перед съезжавшимися делегатами редакционную тройку как наиболее деловую. Тогда он понимал, что тройка направлена была главным образом против Плеханова. Когда Владимир Ильич передал Плеханову записку с проектом редакционной тройки, Плеханов не сказал ни слова и, прочитав записку, молча положил ее в карман. Он понял, в чем дело, но шел на это. Раз партия—нужна деловая работа.

Мартов больше всех членов редакции вращался среди членов ОК. Очень скоро его уверили, что тройка направлена против него и что если он войдет в тройку, он предаст Засулич, По-

Участники II съезда РСДРП.

Слева на право сидят: Ф. В. Ленгник, П. А. Красиков, Н. К. Крупская, Р. С. Землячка, В. Ф. Горин-Галкин, Г. М. Кржижановский. Стоят: М. Н. Лядов, А. В. Шотман, С. И. Гусев, С. И. Степанов, А. М. Стопани.

тресова, Аксельрода. Аксельрод и Засулич волновались до крайности.

В такой атмосфере споры о § 1 устава приняли особо острый характер. Ленин и Мартов политически и организационно разошлись по вопросу о § 1 партийного устава. Они нередко расходились и раньше, но раньше эти расхождения происходили в рамках тесного кружка и быстро изживались, теперь разногласия выступили на съезде, и все те, кто имел зуб против „Искры", против Плеханова и Ленина, постарались раздуть расхождение в крупный принципиальный вопрос. На Ленина стали нападать за статью „С чего начать?", за книжку „Что делать?", изображать честолюбцем и пр. Владимир Ильич выступал на съезде. В своей брошюре „Шаг вперед, два шага назад" он писал: „Не могу не вспомнить по этому поводу одного разговора моего на съезде с кем-то из делегатов „центра". „Какая тяжелая атмосфера царит у нас на съезде!"—жаловался он мне.—„Эта ожесточенная борьба, эта агитация друг против друга, эта резкая полемика, это нетоварищеское отношение!" „Какая прекрасная вещь—наш съезд!"—отвечал я ему.—„Открытая, свободная борьба. Мнения высказаны. Оттенки обрисовались. Группы наметились. Руки подняты. Решение принято. Этап пройден. Вперед!—вот это я понимаю. Это жизнь. Это не то, что бесконечные, нудные интеллигентские словопрения, которые кончаются не потому, что люди решили вопрос, а просто потому, что устали говорить"... Товарищ из „центра" смотрел на меня недоумевающими глазами и пожимал плечами. Мы говорили на разных языках" (Соч., т. VI, стр. 274—275, прим.).

В этой цитате весь Ильич.

С самого начала съезда нервы его были напряжены до крайности. Бельгийская работница, у которой мы поселились в Брюсселе, очень огорчалась, что Владимир Ильич не ест той чудесной редиски и голландского сыру, которые она подавала ему по утрам, а ему было и тогда уже не до еды. В Лондоне же он дошел до точки, совершенно перестал спать, волновался ужасно.

Как ни бешено выступал Владимир Ильич в прениях,—как председатель он был в высшей степени беспристрастен, не позволял себе ни малейшей несправедливости по отношению к противнику. Другое дело Плеханов. Он, председательствуя, особенно любил блеснуть остроумием и дразнить противника.

Хотя громадное большинство делегатов не разошлось по вопросу о месте Бунда в партии, по вопросу о программе, о признании направления „Искры" своим знаменем, но уже к середине съезда почувствовалась определенная трещина, углубивша-

яся к концу его. Собственно говоря, серьезных разногласий, мешавших совместной работе, делавших ее невозможной, на II съезде еще не выявилось, они были еще в скрытом состоянии, в потенции, так сказать. А между тем съезд распадался явным образом на две части. Многим казалось, что во всем виноваты нетактичность Плеханова, „бешенство" и честолюбие Ленина, шпильки Павловича, несправедливое отношение к Засулич и Аксельроду,—и они примыкали к обиженным, из-за лиц не замечали сути. В их числе был и Троцкий, превратившийся в ярого противника Ленина. А суть была в том, что товарищи, группировавшиеся около Ленина, гораздо серьезнее относились к принципам, хотели во что бы то ни стало осуществить их, пропитать ими всю практическую работу; другая же группа была более обывательски настроена, склонна была к компромиссам, к принципиальным уступкам, более взирала на лица.

Борьба во время выборов носила крайне острый характер. Осталась в памяти пара предвыборных сценок. Аксельрод корит Баумана (Сорокина) за недостаток, якобы, нравственного чутья, поминает какую-то ссыльную историю, сплетню. Бауман молчит, и слезы стоят у него на глазах.

И другая сценка. Дейч что-то сердито выговаривает Глебову (Носкову), тот поднимает голову и, блеснув загоревшимися глазами, с досадой говорит: „Помолчали бы вы уж в тряпочку, папаша!"

Съезд кончился. В ЦК выбрали Глебова, Клэра и Курца, причем из 44 решающих голосов—20 воздержалось от голосования, в ЦО выбрали Плеханова, Ленина и Мартова. Мартов от участия в редакции отказался. Раскол был налицо.

ПОСЛЕ ВТОРОГО СЪЕЗДА

1903—1904 гг.

В Женеве, куда мы вернулись со съезда, началась тяжелая канитель. Прежде всего хлынула в Женеву эмигрантская публика из других заграничных колоний. Приезжали члены Лиги и спрашивали: „Что случилось на съезде? Из-за чего был спор? Из-за чего раскололись?“

Плеханов, которому страшно надоели эти расспросы, рассказывал однажды: „Приехал NN. Расспрашивает и все повторяет: „Я—как буриданов осел“. А я его спрашиваю „Почему же, собственно, буриданов...“

Стали приезжать и из России. Приехал, между прочим, из Питера Ерема, на имя которого Владимир Ильич адресовал год тому назад письмо к питерской организации. Он сразу встал на сторону меньшевиков, зашел к нам. Приняв архитрагический вид, при встрече он воскликнул, обращаясь к Владимиру Ильичу: „Я — Ерема“, и стал говорить о том, что меньшевики правы... Помню также члена киевского комитета, который все добивался: какие изменения в технике обусловили раскол на съезде? Я таращила глаза — столь примитивного понимания соотношения между „базой“ и „надстройкой“ я никогда не видывала, не предполагала никогда даже, что оно может существовать.

Те, кто помогал деньгами, явками и пр., под влиянием агитации меньшевиков отказывали в помощи. Помню, приехала в Женеву к сестре со своей старушкой-матерью одна моя старая знакомая. В детстве мы с ней так чудесно играли в путешественников, в диких, живущих на деревьях, что я ужасно обрадовалась, когда узнала об ее приезде. Теперь это была уже немолодая девушка, совсем чужая. Зашел разговор о помощи, которую их семья всегда оказывала социал-демократам. „Мы не можем вам дать теперь свою квартиру под явки,— заявила она,— мы очень отрицательно относимся к расколу между большевиками и меньшевиками. Эти личные дрязги очень вредно отзываются на деле“. Ну, уж и посылали же мы с Ильичем ко

всем чертям этих „сочувствующих“, не входящих ни в какие организации и воображающих, что они своими явками и грошами могут повлиять на ход дела в нашей пролетарской партии!

Владимир Ильич тотчас же написал в Россию о случившемся Клару и Курцу. В России ахали, но присоветовать ничего путного не могли, всерьез предлагали, например, вызвать Мартова в Россию, спрятать его где-нибудь в глуши и засадить за писание популярных брошюр. Курца решено было выписать за границу.

После съезда Владимир Ильич не возражал, когда Глебов предложил кооптировать старую редакцию,— лучше уж маяться по-старому, чем раскол. Меньшевики отказались. В Женеве Владимир Ильич пробовал сговориться с Мартовым, писал Потресову, убеждал его, что расходиться не из-за чего. Писал по поводу раскола Владимир Ильич и Калмыковой („тетке“)— рассказывал ей, как было дело. Ему все не верилось, что нельзя было найти выхода. Срывать решения съезда, ставить на карту русскую работу, дееспособность только что сложившейся партии казалось Владимиру Ильичу просто безумием, чем-то совершенно невероятным. Бывали минуты, когда он ясно видел, что разрыв неизбежен. Раз он начал писать Клару о том, что тот не представляет себе совершенно настоящего положения, надо отдать себе отчет в том, что отношения старые в корне изменились, что старой дружбе с Мартовым теперь конец, о старой дружбе надо забыть, начинается борьба. Этого письма не докончил и не послал Владимир Ильич. Ему чрезвычайно трудно было рвать с Мартовым. Период питерской работы, период работы в старой „Искре“ тесно связывал их. Впечатлительный до крайности, Мартов в те времена умел чутко подхватывать мысли Ильича и талантливо развивать их. Потом Владимир Ильич яростно боролся с меньшевиками, но каждый раз, когда линия Мартова хоть чуточку выпрямлялась, у него просыпалось старое отношение к Мартову. Так было, например, в 1910 г. в Париже, когда Мартов и Владимир Ильич работали вместе в редакции „Социал-Демократа“. Приходя из редакции, Владимир Ильич не раз рассказывал довольным тоном, что Мартов берет правильную линию, выступает даже против Дана. И потом, уже в России, как доволен был Владимир Ильич позицией Мартова в июльские дни не потому, что от этого была польза большевикам, а потому, что Мартов держится с достоинством — так, как подобает революционеру.

Когда Владимир Ильич был уже тяжело болен, он мне как-то грустно сказал: „Вот и Мартов тоже, говорят, умирает“.

Большинство делегатов съезда (большевиков) уехало в Россию на работу. Меньшевики уехали не все, напротив, приехал к ним еще Дан. За границей число их сторонников росло.

Большевики, оставшиеся в Женеве, периодически собирались. Самую непримиримую позицию на этих собраниях занимал Плеханов. Он весело шутил и подбадривал публику.

Приехал, наконец, член ЦК Курц—он же Васильев (Ленгник), и почувствовал себя совершенно придавленным той склокой, которая царила в Женеве. На него навалилась целая куча дел по разбору конфликтов, посылке в Россию людей и т. д.

Меньшевики имели успех у заграничной публики и решили дать бой большевикам, созвав съезд „Лиги русских социал-демократов за границей" для заслушания доклада делегата Лиги на II съезде, Ленина. В то время в правление Лиги входили Дейч, Литвинов и я. Дейч настаивал на созыве съезда Лиги. Литвинов и я—были против, не сомневаясь, что при наличных условиях съезд превратится в сплошной скандал. Тогда Дейч вспомнил, что в правление входят еще Вечеслов, живший в Берлине, и Лейтейзен, живший в Париже. Они фактически последнее время непосредственно в работе правления Лиги не принимали участия, но официально из него не вышли. Привлекли их к голосованию, они голоснули за съезд.

Владимир Ильич перед съездом Лиги, задумавшись наехал на велосипеде на трамвай и чуть не выбил себе глаз. Повязанный, бледный, ходил он на съезд Лиги. С бешеной ненавистью нападали на него меньшевики. Помню одну дикую сцену—запомнились яростные лица Дана, Крохмаля и др., которые, вскочив, бешено стучали пюпитрами.

На съезде Лиги меньшевики были численно сильнее большевиков, кроме того, среди меньшевиков было больше „генералов". Меньшевики приняли такой устав Лиги, который делал из Лиги оплот меньшевизма, обеспечивал меньшевикам свое издательство, делал Лигу независимой от ЦК. Тогда Курц (Васильев) от имени ЦК потребовал изменения устава, а так как Лига этому не подчинилась, то объявил Лигу распущенной.

Плехановские нервы не выдержали скандала, устроенного меньшевиками, он заявил: „Не могу стрелять по своим".

На собрании большевиков Плеханов заявил, что надо итти на уступки. „Бывают моменты,—заявил он,—когда и самодержавие вынуждено делать уступки". „Тогда и говорят, что оно колеблется",—подала реплику Лиза Кнунианц. Плеханов метнул на нее сердитый взгляд.

Плеханов решил для спасения мира в партии, как он говорил,

кооптировать старую редакцию „Искры“. Владимир Ильич ушел из редакции, заявив, что он отказывается от сотрудничества и даже не настаивает на опубликовании об его уходе из редакции. Пусть делает Плеханов попытку помириться, он не станет становиться поперек дороги миру в партии. Незадолго перед тем Владимир Ильич писал в письме к Калмыковой: „Нет хуже тупика, как отход от работы“. Уходя из редакции, он становился на этот путь, он понимал это. Оппозиция потребовала еще кооптации представителей в ЦК, двух мест в Совете и признания законными постановлений съезда Лиги. ЦК соглашался двух представителей оппозиции кооптировать в ЦК, передать им одно место в Совете, постепенно реорганизовать Лигу. Мира никакого не получалось. Уступка Плеханова окрылила оппозицию. Плеханов настаивал на уходе из Совета второго представителя ЦК—Ру (Коняга, настоящая фамилия Гальперин), чтобы очистить место меньшевикам. Владимир Ильич долго колебался перед этой новой уступкой. Помню, как мы втроем—Владимир Ильич, Коняга и я—стояли вечером на берегу разбушевавшегося Женевского озера. Коняга уговаривал Владимира Ильича согласиться на его отставку. Наконец, Владимир Ильич решился—пошел к Плеханову говорить о том, что Ру выйдет из Совета.

Мартов выпустил брошюру „Осадное положение“, наполненную самыми дикими обвинениями. Троцкий также выпустил брошюру „Отчет сибирской делегации“, где события освещались совершенно в мартовском духе, Плеханов изображался пешкой в руках Ленина и т. д.

Владимир Ильич засел за ответ Мартову, за писание брошюры „Шаг вперед, два шага назад“, где подробно анализировал события на съезде.

Тем временем в России также шла борьба. Большевистские делегаты делали доклады о съезде. Принятая на съезде программа и большинство резолюций съезда были встречены местными организациями с большим удовлетворением. Тем непонятнее казалась им позиция меньшевиков. Принимались резолюции с требованием подчинения постановлениям съезда. Из наших делегатов в этот период особенно энергично работала „Дяденька“, которая, как старая революционерка, не могла прямо понять, как допустимо такое неподчинение съезду. Она и другие товарищи из России писали ободряющие письма. Комитеты один за другим становились на сторону большинства.

Приехал Клэр. Он не представлял себе той стены, которая уже выросла между большевиками и меньшевиками, и думал,

что можно помирить большевиков и меньшевиков, пошел говорить с Плехановым, увидел полную невозможность примирения и уехал в подавленном настроении. Владимир Ильич еще больше помрачнел.

В начале 1904 г. приехали в Женеву Циля Зеликсон, представитель питерской организации „Барон“ (Эссен),, рабочий Макар. Все они были сторонниками большевиков. С ними часто виделся Владимир Ильич. Разговоры шли не только о склоке с меньшевиками, но и о российской работе. „Барон“, тогда совсем молодой парень, был увлечен питерской работой. „У нас,— говорил он,—теперь организация строится на коллективных началах, работают отдельные коллективы: коллектив пропагандистов, коллектив агитаторов, коллектив организаторов“. Владимир Ильич слушал. „Сколько человек у вас в коллективе пропагандистов?“—спросил он. „Барон“ несколько смущенно отвечал: „Пока я один“. „Маловато,—заметил Ильич.—А в коллективе агитаторов?“ Покраснев до ушей, „Барон“ отвечал: „Пока я один“. Ильич неистово хохотал, смеялся и „Барон“. Ильич всегда какой-нибудь парой вопросов, попадавших в самое больное место, умел из гущи красивых схем, эффективных отчетов вышелушить реальную действительность.

Потом приехал Ольминский (Мих. Ст. Александров), ставший на сторону большевиков, приехала бежавшая из далекой ссылки „Зверь“ *.

„Зверь“, вырвавшаяся из ссылки, на волю, была полна веселой энергией, которой она заражала всех окружающих. Никаких сомнений, никакой нерешительности в ней не было и следа. Она дразнила всякого, кто вешал нос на квинту, кто вздыхал по поводу раскола. Заграничные дрязги как-то не задевали ее. В это время мы придумали устраивать у себя в Сешероне раз в неделю „журфиксы“, для сближения большевиков. На этих „журфиксах“ однако, „настоящих“ разговоров не выходило, зато очень разгоняли они навеянную всей этой склокой с меньшевиками тоску, и весело было слушать, как залихватски затягивала „Зверка“ какого-нибудь „Ваньку“ и подхватывал песню высокий лысый рабочий Егор. Он ходил было поговорить по душам с Плехановым—даже воротнички по этому случаю одел,—но ушел он от Плеханова разочарованный, с тяжелым чувством. „Не унывай, Егор, валяй „Ваньку“,— наша возьмет“—утешала его „Зверка“. Ильич веселел: эта залихватость, эта бодрость рассеивала его тяжелые настроения.

* М. М. Эссен. *Ред.*

Появился на горизонте Богданов. Тогда Владимир Ильич еще мало был знаком с его философскими работами, не знал его совершенно как человека. Было видно, однако, что это работник цекистского масштаба. Он приехал за границу временно, в России у него были большие связи. Кончался период безысходной склоки.

Больше всего было Ильичу тяжело рвать окончательно с Плехановым.

Весной Ильич познакомился со старым революционером народоправцем Натансоном и его женой. Натансон был великолепным организатором старого типа. Он знал массу людей, знал прекрасно цену каждому человеку, понимал, кто на что способен, к какому делу кого можно приставить. Что особенно поразило Владимира Ильича,—он знал прекрасно состав не только своих, но и наших с.-д. организаций, лучше, чем многие наши тогдашние цекисты. Натансон жил в Баку, знал Красина, Постоловского и др. Владимиру Ильичу показалось, что Натансона можно бы убедить стать социал-демократом. Натансон очень был близок к социал-демократической точке зрения. Потом кто-то рассказывал, как этот старый революционер рыдал, когда в Баку впервые в жизни увидал грандиозную демонстрацию. Об одном не мог Владимир Ильич сговориться с Натансоном. Не согласен Натансон был с подходом социал-демократии к крестьянству. Недели две продолжался роман с Натансоном. Натансон хорошо знал Плеханова, был с ним на ты. Владимир Ильич разговорился с ним как-то о наших партийных делах, о расколе с меньшевиками. Натансон предложил поговорить с Плехановым. От Плеханова вернулся каким-то растерянным: надо итти на уступки...

Порвался роман с Натансоном. Владимиру Ильичу досадно стало на себя, что он с человеком чужой партии стал говорить о делах социал-демократии, что тот посредником каким-то явился. Досадовал на себя, досадовал на Натансона.

Тем временем ЦК в России вел двойственную примиренческую политику, комитеты стояли за большевиков. Надо было, опираясь на Россию, созвать новый съезд.

В ответ на июльскую декларацию ЦК*, которая лишала

---

* Так называли резолюцию, принятую примиренческой частью ЦК, проводившей к этому времени меньшевистскую политику, и меньшевиками в отсутствие Ленина. Резолюция содержала 26 пунктов, но из них опубликованы были лишь 10 в № 72 „Искры“ от 25 августа 1904 г. В ответе редакции „Искры“ Ленину, возмущенному сокрытием от партии решений ее руководящего органа, Плеханов отстаивал мысль, что мест-

Владимира Ильича возможности защищать свою точку зрения и сноситься с Россией, Владимир Ильич вышел из ЦК, группа большевиков—22 человека—приняла резолюцию о необходимости созыва III съезда.

Мы с Владимиром Ильичем взяли мешки и ушли на месяц в горы. Сначала пошла было с нами и „Зверка", но скоро отстала, сказала: „Вы любите ходить там, где ни одной кошки нет, а я без людей не могу". Мы, действительно, выбирали всегда самые дикие тропинки, забирались в самую глушь, подальше от людей. Пробродяжничали мы месяц: сегодня не знали, где будем завтра, вечером, страшно усталые, бросались в постель и моментально засыпали.

Деньжат у нас было в обрез, и мы питались больше всухомятку—сыром и яйцами, запивая вином да водой из ключей, а обедали лишь изредка. В одном социал-демократическом трактирчике один рабочий посоветовал: „Вы обедайте не с туристами, а с кучерами, шоферами, чернорабочими: там вдвое дешевле и сытнее". Мы так и стали делать. Тянущийся за буржуазией мелкий чиновник, лавочник и т. п. скорее готов отказаться от прогулки, чем сесть за один стол с прислугой. Это мещанство процветает в Европе во-всю. Там много говорят о демократии, но сесть за один стол с прислугой не у себя дома, а в шикарном отеле—это выше сил всякого выбивающегося в люди мещанина. И Владимир Ильич с особенным удовольствием шел обедать в застольную, ел там с особым аппетитом и усердно похваливал дешевый и сытный обед. А потом мы одевали наши мешки и шли дальше. Мешки были тяжеловаты: в мешке Владимира Ильича уложен был тяжелый французский словарь, в моем—столь же тяжелая французская книга, которую я только что получила для перевода. Однако, ни словарь, ни книга ни разу даже не открывались за время нашего путешествия; не в словарь смотрели мы, а на покрытые вечным снегом горы, синие озера, дикие водопады.

После месяца такого времяпрепровождения нервы у Владимира Ильича пришли в норму. Точно он умылся водой из горного ручья и смыл с себя всю паутину мелкой склоки. Август мы

ные комитеты не должны знать всех подробностей о разногласиях вождей: „Стараться сделать пролетариат судьей в бесчисленных распрях, возникающих между кружками, значит склоняться к самому худшему изо всех видов псевдо-демократизма" („Искра" № 53 от 25 ноября 1903 года).

Один из пунктов этой декларации гласил: „ЦК решительно высказывается против созыва *в настоящее время* экстренного съезда, против агитации за этот съезд".

провели вместе с Богдановым, Ольминским, Первухиными в глухой деревушке около озера Lac de Bré. С Богдановым сговорились о плане работы; к литературной работе Богданов намечал привлечь Луначарского, Степанова, Базарова. Наметили издавать свой орган за границей и развивать в России агитацию за съезд.

Ильич совсем повеселел, и по вечерам, когда он возвращался домой от Богдановых, раздавался неистовый лай—то Ильич, проходя мимо цепной собаки, дразнил ее.

Осенью, вернувшись в Женеву, мы из предместья Женевы перебрались поближе к центру. Владимир Ильич записался в Société de lecture, где была громадная библиотека и прекрасные условия для работы, получалась масса газет и журналов на французском, немецком, английском языках. В этом Société de lecture было очень удобно заниматься, члены общества—по большей части старички-профессора—редко посещали эту библиотеку; в распоряжении Ильича был целый кабинет, где он мог писать, ходить из угла в угол, обдумывать статьи, брать с полок любую книгу. Он мог быть спокоен, что сюда не придет ни один русский товарищ и не станет рассказывать, как меньшевики сказали то-то и то-то и там-то и там-то подложили свинью. Можно было, не отвлекаясь, думать. Подумать было над чем.

Россия начала японскую войну, которая выявляла с особой яркостью всю гнилость царской монархии. В японскую войну пораженцами были не только большевики, но и меньшевики, и даже либералы. Снизу поднималась волна народного возмущения. Рабочее движение вступило в новую фазу. Все чаще и чаще приходили известия о массовых народных собраниях, устраиваемых вопреки полиции, о прямых схватках рабочих с полицией.

Перед лицом нарастающего массового революционного движения мелкие фракционные дрязги уже не волновали так, как волновали еще недавно. Правда, эти дрязги принимали иногда совершенно дикий характер. Например, приехал с Кавказа большевик Васильев и захотел сделать доклад о положении дел в России. Но в начале собрания меньшевики потребовали выборов президиума, хотя это был простой доклад, на который мог притти любой член партии, а не организационное собрание. Попытка со стороны меньшевиков превратить каждый доклад в какую-то избирательную схватку была попыткой „демократическим способом" заткнуть рот большевикам. Дело дошло чуть не до рукопашной, до борьбы из-за кассы. В сумятице кто-то

изодрал даже тальму на Наталье Богдановне (жене Богданова), кто-то кого-то зашиб. Но теперь все это гораздо меньше волновало, чем раньше.

Теперь мысли были в России. Чувствовалась громадная ответственность перед развивающимся там, в Питере, в Москве, в Одессе и пр., рабочим движением.

Все партии—либералы, эсеры—особенно ярко стали выявлять свою настоящую сущность. Выявили свое лицо и меньшевики. Теперь уже ясно стало, что разделяет большевиков и меньшевиков.

У Владимира Ильича была глубочайшая вера в классовый инстинкт пролетариата, в его творческие силы, в его историческую миссию. Эта вера родилась у Владимира Ильича не вдруг, она выковалась в нем в те годы, когда он изучал и продумывал теорию Маркса о классовой борьбе, когда он изучал русскую действительность, когда он в борьбе с мировоззрением старых революционеров научился героизму борцов-одиночек противопоставлять силу и героизм классовой борьбы. Это была не слепая вера в неведомую силу, это была глубокая уверенность в силе пролетариата, в его громадной роли в деле освобождения трудящихся, уверенность, покоившаяся на глубоком знании дела, на добросовестнейшем изучении действительности. Работа среди питерского пролетариата облекла в живые образы эту веру в мощь рабочего класса.

В конце декабря стала выходить большевистская газета „Вперед". В редакцию, кроме Ильича, вошли Ольминский, Орловский *. Вскоре на подмогу приехал Луначарский. Его пафосные статьи и речи были созвучны с тогдашним настроением большевиков.

Нарастало в России революционное движение, а вместе с тем росла и переписка с Россией. Она скоро дошла до 300 писем в месяц, по тогдашним временам это была громадная цифра. И сколько материалу она давала Ильичу! Он умел читать письма рабочих. Помню одно письмо, писанное рабочими одесских каменоломен. Это было коллективное письмо, написанное несколькими первобытными почерками, без подлежащих и сказуемых, без запятых и точек, но дышало оно неисчерпаемой энергией, готовностью к борьбе до конца, до победы, письмо красочное в каждом своем слове, наивном и убежденном, непоколебимом. Я не помню теперь, о чем писалось в этом письме, но помню его вид, бумагу, рыжие чернила. Много раз пере-

* В. В. Воровский. *Ред.*

читывал это письмо Ильич, глубоко задумавшись, шагал по комнате. Не напрасно старались рабочие одесских каменоломен, когда писали Ильичу письмо: тому написали, кому нужно было, тому, кто лучше всех их понял.

Через несколько дней после письма рабочих одесских каменоломен пришло письмо от одесской начинающей пропагандистки—Танюши, которая добросовестно и подробно описывала собрание одесских ремесленников. И это письмо читал Ильич и тотчас сел отвечать Танюше: „Спасибо за письмо. Пишите чаще. Нам чрезвычайно важны письма, описывающие *будничную,* повседневную работу. Нам чертовски мало пишут таких писем".

Чуть не в каждом письме Ильич просит русских товарищей давать побольше связей. „Сила революционной организации в числе ее связей",—пишет он Гусеву. Просит Гусева связывать большевистский заграничный центр с молодежью. „Среди нас есть,—пишет он,—какая-то идиотская, филистерская, обломовская боязнь молодежи" (Соч., т. XXVIII, стр. 454—455). Ильич пишет своему старому знакомому по Самаре—Алексею Андреевичу Преображенскому, который жил в то время в деревне, и просит у него связей с крестьянами. Он просит питерцев посылать письма рабочих в заграничный центр не в выдержках, не в изложении, а в подлинниках. Эти письма рабочих яснее всего говорили Ильичу о том, что революция близится, нарастает. У порога стоял уже „пятый" год.

„ПЯТЫЙ" ГОД

В эмиграции

Уже в ноябре 1904 г., в брошюре „Земская кампания и план „Искры"*, и затем в декабре, в статьях в №№ 1—3 „Вперед", Ильич писал о том, что близится время настоящей, открытой борьбы масс за свободу. Он ясно чувствовал приближение революционного взрыва. Но одно дело чувствовать это приближение, а другое—узнать, что революция уже началась. И потому, когда пришла весть в Женеву о 9-м января, когда дошла весть о той конкретной форме, в которой началась революция,—точно изменилось все кругом, точно далеко куда-то в прошлое ушло все, что было до этого времени. Весть о событиях 9-го января долетела до Женевы на следующее утро. Мы с Владимиром Ильичем шли в библиотеку и по дороге встретили шедших к нам Луначарских. Запомнилась фигура жены Луначарского, Анны Александровны, которая не могла говорить от волнения и лишь беспомощно махала муфтой. Мы пошли туда, куда инстинктивно потянулись все большевики, до которых долетела весть о питерских событиях,—в эмигрантскую столовку Лепешинских. Хотелось быть вместе. Собравшиеся почти не говорили между собой, слишком все были взволнованы. Запели „Вы жертвою пали...", лица были сосредоточенны. Всех охватило сознание, что революция уже началась, что порваны путы веры в царя, что теперь совсем уже близко то время, когда „падет произвол, и восстанет народ, великий, могучий, свободный..."

Мы зажили той своеобразной жизнью, какой жила в то время вся женевская эмиграция: от одного выпуска местной газеты „Трибунки"** до другого.

Все мысли Ильича были прикованы к России.

---

* Соч., т. VII, стр. 1. *Ред.*

** Газета „Трибюн де Женев", выходившая в Женеве на французском языке. *Ред.*

Вскоре приехал в Женеву Гапон. Попал он сначала к эсерам, и те старались изобразить дело так, что Гапон „их" человек, да и все рабочее движение Питера также дело их рук. Они страшно рекламировали Гапона, восхваляли его. В то время Гапон стоял в центре всеобщего внимания, и английский „Times" (газета „Время") платил ему бешеные деньги за каждую строчку.

Через некоторое время после приезда Гапона в Женеву к нам пришла под вечер какая-то эсеровская дама и передала Владимиру Ильичу, что его хочет видеть Гапон. Условились о месте свидания на нейтральной почве, в кафе. Наступил вечер. Ильич не зажигал у себя в комнате огня и шагал из угла в угол.

Гапон был живым куском нараставшей в России революции, человеком, тесно связанным с рабочими массами, беззаветно верившими ему, и Ильич волновался этой встречей.

Один товарищ недавно возмутился: как это Владимир Ильич имел дело с Гапоном!

Конечно, можно было просто пройти мимо Гапона, решив наперед, что от попа не будет никогда ничего доброго. Так это и сделал, например, Плеханов, принявший Гапона крайне холодно. Но в том-то и была сила Ильича, что для него революция была живой, что он умел всматриваться в ее лицо, охватывать ее во всем ее многообразии, что он знал, понимал, чего хотят массы. А знание массы дается лишь соприкосновением с ней. Ильича интересовало, чем мог Гапон влиять на массу.

Владимир Ильич, придя со свидания с Гапоном, рассказывал о своих впечатлениях. Тогда Гапон был еще обвеян дыханием революции. Говоря о питерских рабочих, он весь загорался, он кипел негодованием, возмущением против царя и его приспешников. В этом возмущении было не мало наивности, но тем непосредственнее оно было. Это возмущение было созвучно с возмущением рабочих масс. „Только учиться ему надо,—говорил Владимир Ильич.—Я ему сказал: „Вы, батенька, лести не слушайте, учитесь, а то вон где очутитесь,—показал ему под стол".

8 февраля Владимир Ильич писал в № 7 „Вперед": „Пожелаем, чтобы Г. Гапону, так глубоко пережившему и перечувствовавшему переход от воззрений политически бессознательного народа к воззрениям революционным, удалось доработаться до необходимой для политического деятеля ясности революционного миросозерцания" (Соч., т. VII, стр. 121).

Гапон никогда не доработался до этой ясности. Он был сы-

ном богатого украинского крестьянина, до конца сохранил связь со своей семьей, со своим селом. Он хорошо знал нужды крестьян, язык его был прост и близок серой рабочей массе; в этом его происхождении, в этой его связи с деревней, может быть, одна из тайн его успеха; но трудно было встретить человека, так насквозь проникнутого поповской психологией, как Гапон. Раньше он никогда не знал революционной среды, а по натуре своей был не революционером, а хитрым попом, шедшим на какие угодно компромиссы. Он рассказывал как-то: „Одно время нашли на меня сомнения, поколебалась во мне вера. Совсем расхворался, поехал в Крым. В то время был там старец, говорили, святой жизни. Поехал я к нему, чтобы в вере укрепиться. Пришел я к старцу; у ручья народ собравшись, и старец молебен служит. В ручье ямка, будто конь Георгия Победоносца тут ступил. Ну, глупость, конечно. Но, думаю, не в этом дело,—вера у старца глубока. Подхожу после молебна к старцу благословиться. А он скидает ризу да говорит: „А мы тут лавку свечную поставили, наторговали сколько!“ Вот те и вера! Еле живой я домой дошел. Был у меня приятель тогда, художник Верещагин, говорит: „Брось священство!“ Ну, подумал я: сейчас на селе родителей уважают, отец—старшина, ото всех почет, а тогда станут все в глаза бросать: сын—расстрига! Не сложил я сана“.

В этом рассказе весь Гапон.

Учиться он не умел. Он уделял не мало времени, чтобы учиться стрелять в цель и ездить верхом, но с книжками дело у него плохо ладилось. Правда, он, по совету Ильича, засел за чтение плехановских сочинений, но читал их как бы по обязанности. Из книг Гапон учиться не умел. Но не умел он учиться и из жизни. Поповская психология застилала ему глаза. Попав вновь в Россию, он скатился в бездну провокаторства.

С первых же дней революции Ильичу стала сразу ясна вся перспектива. Он понял, что теперь движение будет расти как лавина, что революционный народ не остановится на полпути, что рабочие ринутся в бой с самодержавием. Победят ли рабочие, или будут побеждены,—это видно будет в результате схватки. А чтобы победить, надо быть как можно лучше вооруженным.

У Ильича было всегда какое-то особое чутье, глубокое понимание того, что переживает в данную минуту рабочий класс.

Меньшевики, ориентируясь на либеральную буржуазию, которую надо было еще раскачивать, толковали о том, что надо „развязать“ революцию,—Ильич знал, что рабочие уже реши-

лись бороться до конца. И он был с ними. Он знал, что остановиться на полдороге нельзя, что это внесло бы в рабочий класс такую деморализацию, такое понижение энергии в борьбе, принесло бы такой громадный ущерб делу, что на это нельзя было итти ни под каким видом. И история показала, что в революции пятого года рабочий класс потерпел поражение, но побежден не был, его готовность к борьбе не была сломлена. Этого не понимали те, кто нападал на Ленина за его „прямолинейность", кто после поражения не умел ничего сказать, кроме того, что „не нужно было браться за оружие". Оставаясь верным своему классу, нельзя было не браться за оружие, нельзя было авангарду оставлять свой борющийся класс.

И Ильич неустанно звал авангард рабочего класса—партию—к борьбе, к организации, к работе над вооружением масс Он писал об этом во „Вперед", в письмах в Россию.

„Девятое января 1905 г. обнаружило весь гигантский запас революционной энергии пролетариата и всю недостаточность организации социал-демократов", писал Владимир Ильич в начале февраля в своей статье „Должны ли мы организовать революцию" (там же, стр. 122), каждая строка которой дышит призывом перейти от слов к делу.

Ильич не только перечитал и самым тщательным образом проштудировал, продумал все, что писали Маркс и Энгельс о революции и восстании,—он прочел не мало книг и по военному искусству, обдумывая со всех сторон технику вооруженного восстания, организацию его. Он занимался этим делом гораздо больше, чем это знают, и его разговоры об ударных группах во время партизанской войны, „о пятках и десятках" были не болтовней профана, а обдуманным всесторонне планом.

Служащий „Société de lecture" был свидетелем того, как раненько каждое утро приходил русский революционер в подвернутых от грязи на швейцарский манер дешевеньких брюках, которые он забывал отвернуть, брал оставленную со вчерашнего дня книгу о баррикадной борьбе, о технике наступления, садился на привычное место к столику у окна, приглаживал привычным жестом жидкие волосы на лысой голове и погружался в чтение. Иногда только вставал, чтобы взять с полки большой словарь и отыскать там объяснение незнакомого термина, а потом ходил все взад и вперед и, сев к столу, что-то быстро, сосредоточенно писал мелким почерком на четвертушках бумаги.

Большевики изыскивали все средства, чтобы переправлять в Россию оружие, но то, что делалось, была капля в море. В Рос-

сии образовался Боевой комитет (в Питере), но работал он медленно. Ильич писал в Питер: „В таком деле менее всего пригодны схемы да споры и разговоры о функциях Боевого комитета и правах его. Тут нужна бешеная энергия и еще энергия. Я с ужасом, ей-богу, с ужасом, вижу, что о бомбах говорят *больше полгода* и ни одной не сделали! А говорят ученейшие люди... Идите к молодежи, господа! Вот одно единственное, всеспасающее средство. Иначе, ей-богу, вы опоздаете (я это по всему вижу) и окажетесь с „учеными" записками, планами, чертежами, схемами, великолепными рецептами, но без организации, без живого дела... Не требуйте никаких формальностей, наплюйте, христа ради, на все схемы, пошлите вы, бога для, все „функции, права и привилегии" ко всем чертям" (Соч., т. VIII, стр. 325).

И большевики делали в смысле подготовки вооруженного восстания не мало, проявляя нередко колоссальный героизм, рискуя каждую минуту жизнью. Подготовка вооруженного восстания—таков был лозунг большевиков. О вооруженном восстании толковал и Гапон.

Вскоре по приезде он выступает с проектом боевого соглашения революционных партий. В № 7 „Вперед" (от 8 февраля 1905 г.) Владимир Ильич дает оценку предложения Гапона и подробно освещает весь вопрос о боевых соглашениях*.

Гапон взял на себя задачу снабдить питерских рабочих оружием. В распоряжение Гапона поступали всякого рода пожертвования. Он закупал в Англии оружие. Наконец, дело было слажено. Найден был пароход—„Джон Графтон", капитан которого согласился везти оружие и сгрузить его на одном из островов невдалеке от русской границы. Не имея представления, как ведутся нелегальные транспортные дела, Гапон представлял себе дело гораздо проще, чем оно было в действительности. Чтобы организовать дело, он взял у нас нелегальный паспорт и связи и отправился в Питер. Владимир Ильич видел во всем предприятии переход от слов к делу. Оружие нужно рабочим во что бы то ни стало. Из всего предприятия, однако, ничего не вышло. „Графтон" сел на мель, и вообще подъехать к намеченному острову оказалось невозможным. Но и в Питере Гапон ничего не смог сделать. Ему пришлось скрываться в убогих квартирах рабочих. Пришлось жить под чужим именем, все сношения были страшно затруднены, адреса эсеров, где надо было условиться о приеме транспорта, оказались

* „О боевом соглашении для восстания". Соч., т. VII, стр. 115. *Ред.*

мифическими. Только большевики послали на остров своих людей. На Гапона все это произвело ошеломляющее впечатление. Жить нелегально, впроголодь, никому не показываясь, совсем не то, что выступать, ничем не рискуя, на тысячных собраниях. Налаживать конспиративную доставку оружия могли лишь люди совершенно иного революционного закала, чем Гапон, готовые итти на всякую безвестную жертву...

Другой лозунг, выдвинутый Ильичем, это—поддержка борьбы крестьян за землю. Эта поддержка дала бы рабочему классу возможность опереться в своей борьбе на крестьянство. Крестьянскому вопросу Владимир Ильич всегда уделял много внимания. В свое время, при обсуждении программы партии ко II съезду, Владимир Ильич выдвинул—и горячо его отстаивал—лозунг возвращения крестьянам „отрезков" земли, отрезанной у них при реформе 1861 года.

Ему казалось, что для того, чтобы увлечь за собой крестьянство, надо выставить возможно более близкое крестьянам конкретное требование. Подобно тому, как агитацию среди рабочих начинали социал-демократы с борьбы за кипяток, за сокращение рабочего дня, за своевременную выплату заработной платы, так и крестьянство надо сорганизовать вокруг конкретного лозунга.

Пятый год заставил Ильича пересмотреть этот вопрос. Беседы с Гапоном—крестьянином по происхождению, сохранившим связь с деревней; беседы с Матюшенко—матросом с „Потемкина", с рядом рабочих, приезжавших из России и близко знавших, что делается в деревне, показали Ильичу, что лозунг об отрезках уже недостаточен, что нужно выдвинуть более широкий лозунг—конфискации помещичьих, удельных* и церковных земель. Недаром Ильич в свое время так усердно рылся в статистических сборниках и детально вскрывал экономическую связь между городом и деревней, между крупной и мелкой промышленностью, между рабочим классом и крестьянством. Он видел, что настал момент, когда эта экономическая связь должна послужить базой могущественного политического влияния пролетариата на крестьянство. Революционным до конца классом он считал лишь пролетариат.

Запомнилась мне такая сценка. Однажды Гапон попросил Владимира Ильича прослушать написанное им воззвание, которое он начал с большим пафосом читать. Воззвание было перепол-

---

* Удельные земли — земли, принадлежавшие царю и членам царской семьи. *Ред.*

нено проклятиями царю. „Не нужно нам царя,—говорилось в воззвании,—пусть будет один хозяин у земли—бог, а вы все у него будете арендатели!“ (в то время крестьянское движение еще шло как раз по линии борьбы за понижение арендной платы). Владимир Ильич расхохотался,—больно уж наивен был образ, а с другой стороны, очень уж выпукло выступило то, чем Гапон был близок массе: сам крестьянин, он разжигал у рабочих, наполовину еще сохранивших связь с деревней, исконную затаенную жажду земли.

Смех Владимира Ильича смутил Гапона. „Может, не так что,—сказал он,—скажите, я поправлю“. Владимир Ильич сразу стал серьезен. „Нет,—сказал он,—это не выйдет, у меня весь ход мысли другой, пишите уже своим языком, по-своему“.

Вспоминается другая сцена. Дело было уже после третьего съезда, после восстания „Потемкина“. Потемкинцы были интернированы в Румынии, страшно бедствовали. Гапон в то время получал много денег,—и за свои воспоминания, и пожертвования ему всякие передавали на дело революции,—он целыми днями возился с закупкой одежды для потемкинцев. Приехал в Женеву один из самых видных участников восстания на Потемкине—матрос Матюшенко. Он сразу сошелся с Гапоном, ходили они неразлучно.

В то время приехал к нам парень из Москвы (я не помню уж его клички), молодой краснощекий приказчик из книжного склада, недавно ставший социал-демократом. Привез поручение из Москвы. Парень рассказал, как и почему он стал социал-демократом, а потом стал распространяться, почему правильна программа социал-демократической партии, и излагать ее—с горячностью вновь обращенного—пункт за пунктом. Владимиру Ильичу стало скучно, и он ушел в библиотеку, оставив меня поить парня чаем и выуживать из него что можно. Парень продолжал излагать программу. В это время пришли Гапон и Матюшенко. Я было и их собралась поить чаем, да парень в это время дошел как раз до изложения „отрезков“. Услыша изложение этого пункта, причем парень стал доказывать, что дальше борьбы за отрезки итти крестьяне не должны,—Матюшенко вскипел: „Вся земля народу!“

Не знаю, до чего бы это дело дошло, если бы не пришел Ильич. Быстро разобравшись, о чем идет спор, он не стал говорить по существу, а увел Гапона и Матюшенко к себе. Я постаралась поскорее сплавить парня.

В крестьянстве поднималось широкое революционное движение. На декабрьской таммерфорсской конференции Ильич

внес предложение: пункт об отрезках вовсе выбросить из программы.

Вместо него введен был пункт о поддержке революционных мероприятий крестьянства, вплоть до конфискации помещичьих, казенных, церковных, монастырских и удельных земель.

Иначе посмотрел на дело пользовавшийся тогда громадным влиянием немецкий социал-демократ Каутский. Он написал тогда в „Neue Zeit“ *, что в России революционное городское движение должно оставаться нейтральным в вопросе об отношениях между крестьянством и помещиком.

Теперь Каутский—один из самых видных предателей рабочего дела, но тогда он считался революционным социал-демократом. Когда другой немецкий социал-демократ, Бернштейн, поднял в конце девяностых годов знамя борьбы с марксизмом, стал доказывать, что надо пересмотреть учение Маркса, что многое в учении Маркса устарело, отжило свой век, что цель (социализм)—ничто, а движение—все,—Каутский тогда выступил против Бернштейна в защиту учения Маркса. Благодаря этому имя Каутского было в то время окружено ореолом наиболее революционного и последовательного ученика Маркса. Утверждение Каутского, однако, не поколебало убеждения Ильича, что русская революция может победить, только опираясь на крестьянство.

Утверждение Каутского побудило Ильича проверить, правильно ли излагает Каутский точку зрения Маркса и Энгельса. Владимир Ильич стал на опыте изучать отношение Маркса к аграрному движению в Америке в 1848 г., отношение Энгельса в 1885 г. к Генри Джорджу **. В апреле Владимир Ильич дает уже статью „Маркс об американском „черном переделе“.

Он кончает эту статью словами: „Вряд ли найдется другая страна в мире, где бы крестьянство переживало такие страдания, такое угнетение и надругательство, как в России. Чем беспросветнее было это угнетение, тем более могучим будет теперь его пробуждение, тем непреоборимее будет его революционный натиск. Дело сознательного революционного пролетариата—всеми

---

* „Нейе Цейт“ („Новое Время“) — теоретический орган германской социал-демократии, издававшийся с 1883 до 1923 года. С самого основания его и до 1917 г. главным редактором его был Каутский. В 1923 г. журнал прекратил свое существование. *Ред.*

** Генри Джордж (1839 – 1897) — американский экономист, автор книги „Прогресс и бедность“, видевший в национализации земли и раздаче ее в аренду лично трудящимся средство для исцеления всех социальных бед. *Ред.*

силами поддержать этот натиск, чтобы он не оставил камня на камне в старой, проклятой, крепостнически-самодержавной рабочей России, чтобы он создал новое поколение свободных и смелых людей, создал новую республиканскую страну, в которой развернется на просторе наша пролетарская борьба за социализм" (Соч., т. VII , стр. 224).

В Женеве большевистский центр гнездился на углу знаменитой, населенной русскими эмигрантами, „Каружки" (Rue de Carouge) и набережной реки Арвы. Тут помещалась редакция „Вперед", экспедиция, большевистская столовка Лепешинских, тут жили Бонч-Бруевич, Лядовы (Мандельштамы), Ильины. У Бонч-Бруевичей бывали постоянно Орловский, Ольминский и др. Богданов, вернувшись в Россию, сговорился с Луначарским, который и приехал в Женеву и вступил в редакцию „Вперед". Луначарский оказался блестящим оратором, очень много содействовал укреплению большевистских позиций. С той поры Владимир Ильич стал очень хорошо относиться к Луначарскому, веселел в его присутствии и был к нему порядочно-таки пристрастен даже во времена расхождения с впередовцами. Да и Анатолий Васильевич в его присутствии всегда был особенно оживлен и остроумен. Помню, как однажды—кажется в 1919 или 1920 г.—Анатолий Васильевич, вернувшись с фронта, описывал Владимиру Ильичу свои впечатления и как блестели глаза у Владимира Ильича, когда он его слушал.

Луначарский, Воровский, Ольминский,—хорошая это была подкрепа „Впереду". Владимир Дмитриевич Бонч-Бруевич, заведывавший всей хозяйственной частью, непрерывно сиял, строил разные грандиозные планы, возился с типографией.

Чуть не каждый вечер собирались большевики в кафе Ландольд и подолгу засиживались там за кружкой пива, обсуждая события в России, строя планы.

Уезжали многие, многие готовились к отъезду.

В России шла агитация за III съезд. Так многое изменилось со времени II съезда, так много новых вопросов выдвинула жизнь, что новый съезд стал прямо необходим. Большинство комитетов высказывались за съезд. Образовалось „Бюро комитетов большинства" *. ЦК накооптировал массу новых членов,

---

* Так как примиренчески-меньшевистский ЦК упорно отказывался созвать съезд и вообще не отражал воли партии, в большинстве стоявшей на позиции „большинства", то на „совещании 22-х" в Женеве (август 1904 г.) было решено создать большевистский орган для борьбы за созыв III съезда партии. Намеченные этим совещанием кандидаты (Гусев, Богданов, Землячка, Литвинов, Лядов) были затем утверждены на трех нелегаль-

в том числе и меньшевиков,—в массе своей он был примиренческим и всячески тормозил созыв III съезда. После провала ЦК, имевшего место в Москве на квартире у писателя Леонида Андреева, оставшиеся на воле члены ЦК согласились на созыв съезда.

Съезд устроен был в Лондоне. На нем явное большинство было за большевиками. И потому меньшевики на съезд не пошли, а своих делегатов собрали на конференцию в Женеву.

На съезд от ЦК приехал Зоммер (он же Марк—Любимов) и Винтер (Красин). Марк имел архимрачный вид. Красин—такой, точно ничего не случилось. Делегаты бешено нападали на ЦК за его примиренческую позицию. Марк сидел темнее тучи и молчал. Молчал и Красин, подперев рукой щеку, но с таким невозмутимым видом, точно все эти ядовитые речи не имели к нему ровно никакого отношения. Когда дошла до него очередь, он спокойным голосом сделал доклад, не возражая даже на обвинения,—и всем ясно стало, что больше говорить не о чем, что было у него примиренческое настроение и прошло, что отныне он становится в ряды большевиков, с которыми пойдет до конца.

Партийцы знают теперь ту большую и ответственную работу, которую нес Красин во время революции пятого года по вооружению боевиков, по руководству подготовкой боевых снарядов и пр. Делалось все это конспиративно, без шума, но вкладывалась в это дело масса энергии. Владимир Ильич больше чем кто-либо знал эту работу Красина и с тех пор всегда очень ценил его.

С Кавказа приехало четверо: Миха Цхакая, Алеша Джапаридзе, Леман и Каменев. Мандата было три. Владимир Ильич допрашивал: кому же принадлежат мандаты,—мандатов три, а человека четыре? Кто получил большинство голосов? Миха возмущенно отвечал: „Да разве у нас на Кавказе голосуют?! Мы дела все решаем по-товарищески. Нас послали четырех, а сколько мандатов—не важно“. Миха оказался старейшим членом съезда. Ему и поручили открыть съезд. От полесского комитета был Лева Владимиров. Много раз писали мы ему в Россию о расколе, и никаких реплик не получили. В ответ на письма, где описывались выходки мартовцев, мы получали письма, где рассказывалось, сколько и каких листовок распространено, где были в

ных конференциях в России — „Северной“, „Южной“ и „Кавказской“. Так было создано Бюро комитетов большинства (БКБ). Наряду с агитацией за созыв съезда БКБ руководило фактически практической работой большевистских организаций в России. — *И. К.*

Полесьи стачки, демонстрации. На съезде Лева держался твердым большевиком.

Были на съезде из России еще Богданов, Постоловский (Вадим), Румянцев (П. П.), Рыков, Саммер, Землячка, Литвинов, Скрыпник, Бур (А. Э. Эссен), Шкловский, Крамольников и другие.

На съезде чувствовалось во всем, что в России переживается разгар рабочего движения. Были приняты резолюции о вооруженном восстании, о временном революционном правительстве, об отношении к тактике правительства накануне переворота, по вопросу об открытом выступлении РСДРП, об отношении к крестьянскому движению, об отношении к либералам, об отношении к национальным социал-демократическим организациям, о пропаганде и агитации, об отколовшейся части партии и т. д.

По предложению Владимира Ильича, делавшего доклад по аграрному вопросу, пункт об „отрезках" был перенесен в комментарии, на первый же план выдвинут был вопрос о конфискации помещичьих, удельных и церковных земель.

Еще два вопроса были характерны для III съезда—вопрос о двух центрах и вопрос об отношении между рабочими и интеллигентами.

На II съезде преобладали литераторы и практические работники, много поработавшие для партии в той или иной форме, но связанные с русскими организациями, только еще складывавшимися, весьма слабыми узами.

III съезд носил уже иную физиономию. В России организации к этому времени уже вполне оформились,—это были нелегальные комитеты, работавшие при страшно тяжелых конспиративных условиях. Комитеты почти нигде, в силу этих условий, не включали в себя рабочих, но влияние на рабочее движение они имели большое. Листки, „распоряжения" комитета, были созвучны настроению рабочих масс,—они чувствовали руководство; комитеты пользовались поэтому у них большой популярностью, причем действия их облекались для большинства рабочих дымкой таинственности. Рабочие нередко собирались отдельно от интеллигентов для обсуждения коренных вопросов движения. На III съезд было прислано заявление 50 одесских рабочих по основным вопросам расхождений между меньшевиками и большевиками, причем сообщалось, что на собрании, где обсуждался этот вопрос, не было ни одного интеллигента.

„Комитетчик" был обычно человек довольно самоуверенным,—он видел, какое громадное влияние на массы имеет

работа комитета; „комитетчик", как правило, никакого внутрипартийного демократизма не признавал: провалы одни от этого демократизма только получаются, с движением мы и так-де связаны,—говорили „комитетчики"; „комитетчик" всегда внутренно презирал немного „заграницу", которая-де с жиру бесится и склоки устраивает: „посадить бы их в русские условия". „Комитетчик" не желал засилья заграницы. Вместе с тем он не хотел новшеств. Приспособляться к быстро менявшимся условиям „комитетчик" не хотел и не умел.

В период 1904—1905 гг. „комитетчики" вынесли на своих плечах колоссальную работу, но многие из них с громадным трудом приспособлялись к условиям растущих легальных возможностей и открытой борьбы.

На III съезде не было рабочих—по крайней мере, не было ни одного сколько-нибудь заметного рабочего. Кличка „Бабушкин" относилась вовсе не к рабочему Бабушкину, который в это время был в Сибири, а, насколько помню, к тов. Шкловскому. Зато „комитетчиков" на съезде было много. Тот, кто упустит из виду эту физиономию III съезда, многого в протоколах съезда не поймет.

Вопрос об „обуздании заграницы" ставился не только „комитетчиками", но и другими видными работниками. Во главе оппозиции заграница шел Богданов.

Многое тут говорилось зря, но Владимир Ильич не особенно близко принимал это к сердцу. Он считал, что благодаря развивающейся революции значение заграницы ежечасно падает, знал, что и сам он „не жилец" уже за границей, и о чем только он заботился, так это о том, чтобы ЦК быстро осведомлял ЦО (ЦО должен был отныне называться „Пролетарием" и пока что издаваться за границей). Он настаивал также, чтобы были организованы периодические свидания между заграничной и русской частью ЦК.

Острее стоял вопрос о введении рабочих в комитеты.

За введение рабочих в комитеты особенно горячо стоял Владимир Ильич. За—были также Богданов, „заграничники" и литераторы, против—„комитетчики". Горячился Владимир Ильич, горячились „комитетчики". „Комитетчики" настояли, чтобы резолюция по этому поводу не выносилась: нельзя же, в самом деле, было выносить резолюцию, что рабочих не надо вводить в комитет!

Выступая в прениях, Владимир Ильич говорил: „Я думаю, что надо взглянуть на дело шире. Вводить рабочих в комитеты есть не только педагогическая, но и политическая задача. У ра-

бочих есть классовый инстинкт, и при небольшом политическом навыке рабочие довольно скоро делаются выдержанными социал-демократами. Я очень сочувствовал бы тому, чтобы в составе наших комитетов на каждых двух интеллигентов было восемь рабочих. Если совет, высказанный в литературе,— по возможности вводить рабочих в комитеты,—оказался недостаточным, то было бы целесообразно, чтобы такой совет был высказан от имени съезда. Если вы будете иметь ясную и определенную директиву съезда, то вы будете иметь радикальный способ для борьбы с демагогией: вот ясная воля съезда" (Соч., т. VII, стр. 282).

Владимир Ильич и раньше многократно отстаивал необходимость вводить рабочих в возможно большем числе в комитеты. Он писал об этом и в своем „Письме товарищу" еще в 1903 году. Теперь, защищая на съезде ту же точку зрения, он ужасно горячился, вставлял „цвишенруфы"*. Когда Михайлов (Постоловский) сказал: „Таким образом, на практике к интеллигентам предъявляются очень низкие требования, а к рабочим непомерно высокие",—Владимир Ильич вскрикнул: „Совершенно верно!" Его восклицание было покрыто хором „комитетчиков": „Неверно!"

Когда Румянцев сказал: „В Петербургском комитете—только один рабочий, несмотря на то, что работа в Петербурге ведется лет 15", Владимир Ильич крикнул: „Экое безобразие!"

И потом, при заключении дебатов, Ильич говорил: „Я не мог сидеть спокойно, когда говорили, что рабочих, годных в члены комитета, нет. Вопрос оттягивается: очевидно, в партии есть болезнь. Рабочих надо вводить в комитеты". Если Ильич не очень огорчался по поводу того, что его точка зрения провалилась с таким треском на съезде, так только потому, что он знал: надвигающаяся революция радикально вылечит партию от неумения орабочивать комитеты.

И еще один большой вопрос стоял на съезде: о пропаганде и агитации.

Как-то, помню, к нам в Женеву приехала девица из Одессы и жаловалась: „Рабочие предъявляют к комитету невозможные требования: хотят, чтобы мы давали им пропаганду. Разве это возможно? Мы можем давать им только агитацию!"

На Ильича сообщение одесской девицы произвело довольно сильное впечатление. Оно оказалось как бы введением в прения о пропаганде. Оказалось,—об этом говорили и Землячка,

---

* „Цвишенруф" — возглас с места. *Ред.*

и Миха Цхакая, и Десницкий,—старые формы пропаганды умерли, пропаганда превратилась в агитацию. С колоссальным ростом рабочего движения устная пропаганда и даже агитация вообще не могли удовлетворить потребностей движения: нужна была популярная литература, популярная газета, литература для крестьян, для народностей, говорящих на других языках...

Сотни новых вопросов выдвигала жизнь, которые нельзя было разрешить в рамках прежней нелегальной организации. Их можно было разрешить лишь путем постановки в России ежедневной газеты, путем широкого легального издательства. Однако пока что свобода печати не была еще завоевана. Решено было издавать в России нелегальную газету, образовать там группу литераторов, обязанных заботиться о популярной газете. Но ясно, что все это были паллиативы.

На съезде не мало говорили о разгоравшейся революционной борьбе. Были приняты резолюции о событиях в Польше и на Кавказе. „Движение становится все шире и шире,—рассказывал уральский делегат,—давно пора перестать смотреть на Урал как на отсталый, сонный край, неспособный двинуться. Политическая стачка в Лысьве, многочисленные стачки по разным заводам, разнообразные признаки революционного настроения, вплоть до аграрно-заводского террора в самых разнообразных формах мелких стихийных демонстраций,—все это признаки, что Урал накануне крупного революционного движения. Что это движение на Урале примет форму вооруженного восстания,—это весьма вероятно. Урал был первый, где рабочие пустили бомбы, выставили даже пушки (на Воткинском заводе). Товарищи, не забывайте об Урале!“

Само собой, Владимир Ильич долго толковал с уральским делегатом.

В общем и целом III съезд правильно наметил линии борьбы. Меньшевики те же вопросы разрешали по-другому. Принципиальную разницу между резолюциями III съезда и резолюциями меньшевистской конференции Владимир Ильич осветил в брошюре „Две тактики социал-демократии в демократической революции“ *.

Вернулись мы в Женеву. Я попала в комиссию по редактированию протоколов съезда вместе с Камским и Орловским. Камский уехал. Орловский оказался страшно занят. В Женеве, куда приехало после съезда порядочное число делегатов, организовали проверку протоколов. В те времена никаких стено-

* Соч., т. VIII, стр. 27. *Ред.*

графисток не было, специальных секретарей также, протокол писали по очереди по два члена съезда, сдавая потом мне. Не все члены съезда были хорошими секретарями. На съезде протоколы зачитывать, само собой, не удавалось. В Женеве, в столовке Лепешинских, устроена была проверка протоколов совместно с делегатами. Само собою, каждый делегат находил, что его мысль записана неверно, и хотел делать вставки. Вставки делать не разрешалось, вносить поправки можно было лишь тогда, когда остальные делегаты признавали правомерность поправки. Работа была очень трудна. Не обходилось и без столкновений. Скрыпник (Щенский) требовал выдачи ему протоколов на дом, и когда я ему сказала, что тогда протоколы надо выдавать всем на руки—и от протоколов останутся рожки да ножки, Скрыпник возмутился и печатными буквами написал протест в ЦК по поводу невыдачи ему протоколов.

Когда черновая работа была закончена, не мало ушло времени на редактирование протоколов и у Орловского.

В июле пришли первые протоколы заседания нового ЦК. В них писалось о том, что российские меньшевики не согласны с „Искрой" и также будут проводить бойкот*, что ЦК хотя обсуждал вопрос о поддержке крестьянского движения, но пока еще ничего не предпринял, хочет советоваться с агрономами. Письмо показалось страшно скупым.

Следующее письмо о работе ЦК было еще скупее. Ильич страшно нервничал. Подышав на съезде русской атмосферой, труднее было переносить оторванность от русской работы.

В половине августа в письме к ЦК Ильич убеждал ЦК „перестать быть немым", не ограничиваться обсуждением вопросов промеж себя. „У ЦК есть какой-то внутренний дефект", писал он русским цекистам.

---

* Речь идет об отношении социал-демократов к комиссии под председательством сенатора Шидловского, созданной царским правительством после 9 января „для безотлагательного выяснения причин недовольства рабочих в городе С.-Петербурге и в пригородах и изыскания мер к устранению таковых". Меньшевики были за участие в работах этой комиссии. Большевики же считали необходимым принять участие в выборах выборщиков и, проведя в выборщики сознательных рабочих, предъявить такие требования комиссии, которые ею исполнены не будут, и таким образом разоблачить в глазах широких масс рабочих лживость и лицемерие политики царского правительства. В числе этих требований были: публичность заседаний комиссии, свобода собраний и печати, освобождение арестованных и т. д. Кампания была проведена Петербургским комитетом нашей партии с большим успехом. Комиссия Шидловского с треском провалилась. *Ред.*

В последующих письмах он жестоко ругается за то, что не выполняется постановление о регулярном осведомлении ЦО.

В сентябрьском письме, обращенном к „Августу“, Ильич пишет: „Дожидаться полной солидарности с ЦК или в среде его агентов—утопия. Не кружок, а партия, милый друг!“

В письме к Гусеву от 13 октября 1905 г. он указывает на необходимость вести, наряду с подготовкой к вооруженному восстанию, и профессиональную борьбу, но вести эту борьбу в большевистском духе, давая и тут бой меньшевикам.

На женевском горизонте появились предвестники свободы печати. Появились издатели, наперебой предлагавшие издать легально вышедшие за границей нелегально брошюры. Одесский „Буревестник“, издательство Малых и другие—все предлагали свои услуги.

ЦК предлагал воздерживаться от заключения каких бы то ни было договоров, так как предполагал наладить свое издательство.

В начале октября возник вопрос о поездке Ильича в Финляндию, где предполагалось свидание с ЦК, но развивавшиеся события поставили вопрос иначе—Владимир Ильич собрался ехать в Россию. Я должна была еще остаться на пару недель в Женеве, чтобы ликвидировать дела. Вместе с Ильичем разобрали мы его бумаги и письма, разложили по конвертам, Ильич написал собственноручно каждый конверт. Все было уложено в чемодан и сдано на хранение, кажется, т. Карпинскому. Этот чемодан сохранился и был доставлен уже после смерти Ильича в институт Ленина. В нем была масса документов и писем, бросающих яркий свет на историю партии.

В сентябре Ильич писал в ЦК.

„Относительно Плеханова сообщаю Вам для осведомления здешние слухи. Он явно озлобился на нас за разоблачение перед Международным бюро. Ругается, как извозчик, в № 2 „Дневника Социал-Демократа“. Говорят то о его особой газете, то о возвращении его в „Искру“. Вывод: недоверие к нему должно усилиться“ („Ленинский сборник“ V, стр. 507).

И 8 октября Владимир Ильич продолжает: „Усердно прошу: бросьте теперь совсем мысль о Плеханове и назначьте своего делегата из большинства*... Хорошо бы назначить Орловского“ (Соч., т. VIII, стр. 254).

Но когда пришли вести, что есть возможность в России на-

---

* Речь идет о посылке своего представителя в Международное социалистическое бюро II Интернационала. *Ред.*

ладить ежедневную газету, когда Ильич собрался уже ехать, он написал Плеханову горячее письмо, где звал Плеханова сотрудничать в газете. „Тактические разногласия наши революция сама сметает с поразительной быстротой“... „...Все это создаст *новую почву*, на которой всего легче будет забыть старое, спеться на живом деле“ (Соч., т. VIII, стр. 350, 349). В конце Ильич просил Плеханова о свиданьи. Не помню, имело ли оно место. Вероятно нет, потому что тогда этот факт вряд ли забылся бы.

Плеханов в Россию в 1905 г. не ездил.

26 октября Ильич уже сговорился детально в письме о своем возвращении в Россию. „Хорошая у нас в России революция, ей-богу!“, пишет он там. И, отвечая на вопрос о сроке восстания, он говорит: *«Я бы оттянул восстание до весны. Но ведь нас все равно не спрашивают»*.

СНОВА В ПИТЕРЕ

Было условлено, что в Стокгольм приедет человек и привезет для Владимира Ильича документы на чужое имя, с которыми он мог бы переехать через границу и поселиться в Питере. Человек, однако, не ехал и не ехал, и Ильичу приходилось сидеть и ждать у моря погоды, в то время как в России революционные события принимали все более и более широкий размах. Две недели просидел он в Стокгольме и приехал в Россию в начале ноября. Я приехала вслед за ним дней через десять, устроив предварительно все дела в Женеве. За мной увязался шпик, который сел со мной на пароход в Стокгольме и потом в поезд, шедший из Ханго на Гельсингфорс. В Финляндии революция была уже во всем разгаре. Я хотела было дать телеграмму в Питер, но улыбающаяся веселая финка ответила, что телеграммы она принять не может: шла почтово-телеграфная забастовка. В вагонах все громко разговаривали, я ввязалась в разговор с каким-то финским активистом *, почему-то говорившим по-немецки. Он описывал успехи революции. „Шпиков,—говорил он,—мы арестовали всех и посадили в тюрьму". Мой взгляд упал на сопровождавшего меня шпика. „Но могут приехать новые", засмеялась я, выразительно взглянув на своего соглядатая. Финн догадался. „О,—воскликнул он,—только скажите, если кого заметите, мы его сейчас арестуем!" Мы подъезжали к какой-то маленькой станции. Мой шпик встал и сошел на станции, где поезд стоит лишь одну минуту. Больше я его не видала...

Четыре года почти прожила я за границей и смертельно стосковалась по Питеру. Он теперь весь кипел, я это знала,

* *Активисты* — „финская партия активного сопротивления" — радикально-буржуазная партия Финляндии, ставившая целью добиваться восстановления автономии Финляндии и даже полного отделения ее от России путем „активного сопротивления". По методам борьбы активисты приближались к с.-р., с которыми у них состоялось даже формальное соглашение. После революции 1905 г. „активисты" сошли со сцены, а в 1917 г. они оказались на стороне белых. *Ред.*

и тишина Финляндского вокзала, где я сошла с поезда, находилась в таком противоречии с моими мыслями о Питере и революции, что мне вдруг показалось, что я вылезла из поезда не в Питере, а в Парголове. Смущенно я обратилась к одному из стоявших тут извозчиков и спросила: „Какая это станция?“ Тот даже отступил, а потом насмешливо оглядел меня и, подбоченясь, ответил: „Не станция, а город Санкт-Петербург“.

На крыльце вокзала меня встретил Петр Петрович Румянцев. Он сказал, что Владимир Ильич живет у них, и мы поехали с ним куда-то на Пески. Петра Петровича Румянцева я видела первый раз на похоронах Шелгунова, тогда он был молодягой, с кудрявой шевелюрой,—шел впереди демонстрации и пел. В 1896 г. я встретила его в Полтаве, он стоял в центре полтавских социал-демократов, только что вышел из тюрьмы, был бледен и нервен. Он выделялся своим умом, пользовался большим влиянием и казался хорошим товарищем.

В 1900 г. я видела его в Уфе, куда он приезжал из Самары и имел какой-то разочарованный и томный вид.

В 1905 г. он вновь появился на горизонте, был он уже литератором, человеком с положением и брюшком, бонвивановских* повадок, но выступал умно и дельно. Он отлично провел кампанию по бойкоту комиссии Шидловского, держал себя твердым большевиком. Вскоре после III съезда был кооптирован в ЦК.

У него была хорошая, хорошо обставленная семейная квартира, и первое время Ильич жил там без прописки.

Владимира Ильича всегда крайне стесняло пребывание в чужих квартирах, мешало его работоспособности. По моем приезде Ильич стал торопить поселиться вместе, и мы поселились в каких-то меблированных комнатах на Невском, без прописки. Я, помню, разговорилась с прислуживавшими девушками, они мне нарассказали о том, что делается в Питере, с массой живых, говорящих подробностей. Я, конечно, сейчас же все пересказала Ильичу. Ильич лестно отозвался о моих обследовательских способностях,—и с тех пор я стала его усердным репортером. Обычно, когда мы жили в России, я могла много свободнее передвигаться, чем Владимир Ильич, говорить с гораздо большим количеством людей. По двум-трем поставленным им вопросам я уже знала, что ему хочется знать, и глядела

---

* Бонвиван — человек, любящий весело пожить. *Ред.*

во-всю. И теперь еще не изжилась привычка—каждое свое впечатление формулировать мысленно для Ильича.

На другой же день у меня оказалась в этом отношении довольно богатая пожива. Я отправилась искать нам пристанище и на Троицкой улице, осматривая пустую квартиру, разговорилась с дворником. Долго он мне рассказывал про деревню, про помещика, про то, что земля должна отойти от бар крестьянам.

Тем временем мы решили поселиться легально. Мария Ильинична устроила нас где-то на Греческом проспекте у знакомых. Как только мы прописались, целая туча шпиков окружила дом. Напуганный хозяин не спал всю ночь напролет и ходил с револьвером в кармане, решив встретить полицию с оружием в руках. „Ну его совсем. Нарвешься зря на историю",—сказал Ильич. Поселились нелегально, врозь. Мне дали паспорт какой-то Прасковьи Евгеньевны Онегиной, по которому я и жила все время. Владимир Ильич несколько раз менял паспорта.

Когда Владимир Ильич приехал в Россию, там уже выходила легальная ежедневная газета „Новая Жизнь". Издателем была Марья Федоровна Андреева (жена Горького), редактором был поэт Минский, принимали участие: Горький, Леонид Андреев, Чириков, Бальмонт, Теффи и др. В качестве сотрудников вошли туда большевики: Богданов, Румянцев, Рожков, Гольденберг, Орловский, Луначарский, Базаров, Каменев и др. Секретарем „Волны" и всех последующих большевистских газет того времени был Дмитрий Ильич Лещенко, он же заведывал хроникой, был корреспондентом, дававшим сведения с заседаний Думы, выпускающим и пр.

Первая статья Владимира Ильича появилась 10 ноября. Она начинается словами: „Условия деятельности нашей партии коренным образом изменяются. Захвачена свобода собраний, союзов, печати" (Соч., т. VIII, стр. 373),—и Ильич торопится воспользоваться этими новыми условиями деятельности, чтобы сразу же смелыми штрихами набросать основные линии „нового курса". Конспиративный аппарат партии должен быть сохранен. Безусловно необходимо наряду с конспиративным аппаратом создавать новые и новые, открытые и полуоткрытые, партийные (и примыкающие к партии) организации. Надо влить в партию широкие кадры рабочих. Рабочий класс инстинктивно, стихийно социал-демократичен, а более чем десятилетняя работа социал-демократии очень и очень уж не мало сделала для превращения этой стихийности в сознательность.

„На III съезде партии,—писал Владимир Ильич в примечании к этой статье,—я выражал пожелание, чтобы в комитетах партии приходилось, примерно, восемь рабочих на двух интеллигентов. Как устарело это пожелание! Теперь надо желать, чтобы в новых организациях партии на одного члена партии из социал-демократической интеллигенции приходилось несколько сот рабочих социал-демократов" (там же, стр. 378).

И, обращаясь к „комитетчикам", боявшимся, как бы партия не растворилась в массе, Владимир Ильич писал: „Не стройте себе воображаемых ужасов, товарищи!" (там же, стр. 375). Социал-демократическая интеллигенция должна теперь итти в „народ". „Теперь инициатива самих рабочих будет проявляться в таких размерах, о которых мы, вчерашние конспираторы и „кружковики", не смели и мечтать" (там же, стр. 378). „Наша задача теперь не столько выдумывать нормы для организации на новых началах, сколько развернуть самую широкую и смелую работу" (там же, стр. 379). „Чтобы поставить организацию на новое основание, необходим новый съезд партии" (там же, стр. 373).

Таково было содержание первой „легальной" статьи Ильича. Со старой „кружковщиной" необходимо было вести борьбу,—она проглядывала во всем.

Конечно, в первые же дни по приезде я поехала за Невскую заставу, в бывшие вечерне-воскресные смоленские классы. В них теперь преподавалась уже не „география", не естествознание,—по классам, переполненным рабочими и работницами, шла пропагандистская работа. Партийные пропагандисты читали лекции. Мне запомнилась одна из них. Молодой пропагандист излагал по Энгельсу тему „Развитие социализма из утопии в науку". Рабочие сидели не шевелясь, добросовестно стараясь усвоить излагаемое оратором. Никто никаких вопросов не задавал. Внизу наши партийные девицы устраивали для рабочих клуб, расставляли привезенные из города стаканы.

Когда я рассказывала Ильичу о своих впечатлениях от виденного, он задумчиво молчал. Он хотел другого: активности самих рабочих. Не то, чтобы ее не было, но она выявлялась не на партсобраниях. Токи, по которым шли партработа и самодеятельность рабочих, как-то не смыкались. Рабочие колоссально за эти годы выросли. Я это каждый раз особенно чувствовала, когда встречала своих бывших „учеников"-воскресников. Раз как-то на улице меня окликнул булочник, оказалось, мой бывший ученик, „социалист Бакин", который 10 лет тому назад был выслан по этапу на родину за то, что наивно стал толко-

вать с управляющим фабрики Максвель о том, что при переходе с двух мюль на три „интенсивность труда“ возрастает. Теперь это был вполне сознательный социал-демократ, и мы долго толковали с ним о совершающейся революции, об организации рабочих масс, он мне рассказывал о забастовке булочников.

Первая же статья Ильича, где он прямо писал о партийном съезде, о партийном конспиративном аппарате, превращала „Новую Жизнь“ в открыто партийный орган. Само собой, что пребывание в них Минских, Бальмонтов и пр. стало немыслимо, произошло размежевание, и газета целиком перешла в руки большевиков. Она и организационно стала партийной, стала работать под контролем и руководством партии.

Следующая статья Ильича в „Новой Жизни“ была посвящена коренному вопросу русской революции, взаимоотношениям между пролетариатом и крестьянством. Не только меньшевики неправильно понимали эти взаимоотношения, но и в среде большевиков был еще у некоторых товарищей известный „отрезочный уклон“. „Отрезки“ из исходного пункта агитации превращались ими в самоцель, продолжали поддерживаться ими и тогда, когда жизнь сделала возможной и необходимой агитацию и борьбу совсем уже на другой базе.

Статья „Пролетариат и крестьянство“ была директивной статьей, дававшей ясный партийный лозунг: пролетариат России вместе с крестьянством борется за землю и волю, вместе с международным пролетариатом и сельскохозяйственными рабочими борется за социализм.

Эту точку зрения стали проводить представители большевиков и в Совете рабочих депутатов. Совет рабочих депутатов возник тогда, когда Владимир Ильич был еще за границей— 13 октября, возник как боевой орган борющегося пролетариата. Я не помню выступления Владимира Ильича в Совете рабочих депутатов*. Помню одно собрание в Вольно-экономическом обществе, куда набралось много партийной публики в ожидании выступления Владимира Ильича. Ильич делал доклад по аграрному вопросу. Там впервые познакомился он с Алексинским. Почти все, относящееся к этому собранию, стерлось у меня в

---

* Владимир Ильич выступил на семнадцатом заседании Совета рабочих депутатов 26 (13) ноября по вопросу о локауте, объявленном капиталистами в ответ на введение рабочими 8-часового рабочего дня на фабриках и заводах. Предложенная Владимиром Ильичем резолюция на следующий день принята была на заседании Исполнительного комитета Совета рабочих депутатов (Соч., т. VIII, стр. 553). *Ред.*

памяти. Мелькает какая-то серая дверь, в которую куда-то к выходу через толпу пробирается Владимир Ильич. Другие товарищи припомнят, вероятно, лучше. Я помню только, что это собрание было в ноябре, что был на нем Владимир Иванович Невский.

То, что Советы рабочих депутатов были боевыми организациями восстающего народа, это Владимир Ильич сразу же отметил в своих ноябрьских статьях. Он выдвинул тогда же мысль, что временное революционное правительство может вырасти только в огне революционной борьбы, с одной стороны, с другой стороны, что социал-демократическая партия должна всячески стремиться обеспечить свое влияние в Советах рабочих депутатов.

С Ильичем мы, по условиям конспирации, жили врозь. Он работал целыми днями в редакции, которая собиралась не только в „Новой Жизни", но на конспиративной квартире или в квартире Дмитрия Ильича Лещенко, на Глазовской улице, но по условиям конспирации ходить туда было не очень удобно. Виделись чаще всего в редакции „Новой Жизни". Но в „Новой Жизни" Ильич всегда был занят. Только когда Владимир Ильич поселился под очень хорошим паспортом на углу Бассейной и Надеждинской, я смогла ходить к нему на дом. Ходить надо было через кухню, говорить вполголоса, но все же можно было потолковать обо всем.

Оттуда он ездил в Москву. Тотчас по его приезде я зашла к нему. Меня поразило количество шпиков, выглядывавших изо всех углов. „Почему за тобой началась такая слежка?"—спрашивала я Владимира Ильича. Он еще не выходил из дома по приезде и этого не знал. Стала разбирать чемодан и неожиданно обнаружила там большие круглые синие очки. „Что это?" Оказалось, в Москве Владимира Ильича урядили в эти очки, снабдили желтой финляндской коробкой и посадили в последнюю минуту в поезд-молнию. Все полицейские ищейки бросились по его следам, приняв его, повидимому, за экспроприатора. Надо было скорее уходить. Вышли под ручку, как ни в чем не бывало, пошли в обратную сторону против той, куда нам было нужно, переменили трех извозчиков, прошли через проходные ворота и приехали к Румянцеву, освободившись от слежки. Пошли на ночевку, кажется, к Витмерам, моим старым знакомым. Проехали на извозчике мимо дома, где жил Владимир Ильич, шпики около дома продолжали стоять. На эту квартиру Ильич больше не возвращался. Недели через две послали какую-то девицу забрать его вещи и расплатиться с хозяйкой.

В то время я была секретарем ЦК и сразу впряглась в эту работу целиком. Другим секретарем был Михаил Сергеевич— М. Я. Вайнштейн. Помощницей моей была Вера Рудольфовна Менжинская. Таков был секретариат. Михаил Сергеевич ведал больше военной организацией, всегда был занят выполнением поручений Никитича (Л. Б. Красина). Я ведала, явками, сношениями с комитетами, людьми. Теперь трудно представить себе, какая тогда у секретариата ЦК была упрощенная техника. На заседаниях ЦК мы, помнится, не бывали, никто нами „не ведал", протоколов никаких не велось, были в спичечных коробках, в переплетах и т. п. хранилищах шифрованные адреса. Брали памятью. Народу валило к нам уйма, мы его всячески охаживали, снабжали чем надо: литературой, паспортами, инструкциями, советами. Теперь даже не представляешь себе, как это мы тогда справлялись и как это мы распоряжались, никем не контролируемые, и жили, что называется, „на всей божьей воле". Обычно, встречаясь с Ильичем, я рассказывала ему подробно обо всем. Наиболее интересных товарищей по наиболее интересным делам направляли непосредственно к цекистам.

Схватка с правительством приближалась. Ильич открыто писал в „Новой Жизни" о том, что армия не может и не должна быть нейтральной, писал о всеобщем народном вооружении. 26 ноября был арестован Хрусталев-Носарь. Заменил его Троцкий. 2 декабря Совет рабочих депутатов выпустил манифест с призывом отказываться от уплаты казенных платежей. 3 декабря за напечатание этого манифеста было закрыто восемь газет, в том числе „Новая Жизнь". Когда я 3-го, по обыкновению, отправилась „на явку" в редакцию, нагруженная всякой нелегальщиной, у подъезда меня остановил газетчик. „Газета „Новое Время",—громко выкрикивал он и между двумя выкриками вполголоса предупредил: „В редакции идет обыск!"— „Народ за нас",—заметил по этому поводу Владимир Ильич.

В середине декабря* состоялась таммерфорсская конференция. Как жаль, что не сохранились протоколы этой конференции! С каким подъемом она прошла! Это был самый разгар революции, каждый товарищ был охвачен величайшим энтузиазмом, все готовы к бою. В перерывах учились стрелять. Раз вечером мы были на финском массовом собрании, происходившем при свете факелов, и торжественность этого собрания соответствовала целиком настроению делегатов. Вряд ли кто из

---

* Партийная конференция в Таммерфорсе происходила с 24 (11) по 30 (17) декабря 1905 года. *Ред.*

бывших на этой конференции делегатов забыл о ней. Там были Лозовский, Баранский, Ярославский, многие другие. Мне запомнились эти товарищи потому, что уж больно интересны были их „доклады с мест".

На таммерфорсской конференции, где собрались только большевики, была принята резолюция о необходимости немедленной подготовки и организации вооруженного восстания.

В Москве это восстание уже шло во-всю, и потому конференция была очень краткосрочной. Если память мне не изменяет, мы вернулись как раз накануне отправки Семеновского полка в Москву. По крайней мере, у меня в памяти осталась такая сцена. Неподалеку от Троицкой церкви с сумрачным лицом идет солдат-семеновец. А рядом с ним идет, сняв шапку и горячо в чем-то убеждая семеновца, о чем-то его прося, молодой рабочий. Так выразительны были лица, что ясно было, о чем просил рабочий семеновца—не выступать против рабочих, и ясно было, что не соглашался на это семеновец.

ЦК призывал пролетариат Питера поддержать восставший московский пролетариат, но дружного выступления не получилось. Выступил, напр., такой сравнительно серый район, как Московский, и не выступил такой передовой район, как Невский. Помню, как рвал и метал тогда Станислав Вольский, выступавший с агитацией как раз в этом районе. Он сразу впал в крайне мрачное настроение, чуть ли не усомнился в революционности пролетариата. Он не учитывал, как устали питерские рабочие от предыдущих забастовок, а главное, что они чувствовали, как плохо они организованы для окончательной схватки с царизмом, как плохо вооружены. А что дело пойдет о борьбе не на живот, а на смерть, это они видели уже по Москве.

ПИТЕР И ФИНЛЯНДИЯ

1905—1907 гг.

Декабрьское восстание было подавлено, правительство жестоко расправлялось с восставшими.

Владимир Ильич в статье от 4 января 1906 г. („Рабочая партия и ее задачи при современном положении") так расценивал создавшееся положение: „Гражданская война кипит. Политическая забастовка, как таковая, начинает исчерпывать себя, отходить в прошлое, как изжитая форма движения. В Питере, например, истощенные и обессиленные рабочие оказались не в состоянии провести декабрьской стачки. С другой стороны, движение в целом, будучи сдавлено в данный момент реакцией, несомненно поднялось на гораздо более высокую ступень..." „Дубасовские пушки революционизировали в невиданных размерах новые массы народа..." „Что же теперь? Будем смотреть прямо в лицо действительности. Теперь предстоит новая работа усвоения и переработки опыта последних форм борьбы, работа подготовки и организации сил *в главнейших центрах движения*" (курсив мой.—*И. К.*) (Соч., т. IX, стр. 5—6). Ильич тяжело переживал московское поражение. Явно было, что рабочие были плохо вооружены, что организация была слаба, даже Питер с Москвой был плохо связан. Я помню, как слушал Ильич рассказ Анны Ильиничны, встретившей на Московском вокзале московскую работницу, горько укорявшую питерцев: „Спасибо вам, питерцы, поддержали нас: семеновцев прислали".

И как бы в ответ на этот укор Ильич писал: „Правительству крайне выгодно было бы подавлять попрежнему разрозненные выступления пролетариев. Правительству хотелось бы немедленно вызвать рабочих на бой и в Питере, при самых невыгодных для них условиях. Но рабочие не поддадутся на эту провокацию и сумеют удержаться на своем пути самостоятельной подготовки следующего всероссийского выступления" (там же, стр. 6).

Ильич думал, что весной 1906 г. поднимется крестьянство, что это отразится и на войсках. И он говорил: „Надо опреде-

леннее, практически поставить колоссальные задачи нового активного выступления, готовясь к нему более выдержанно, более систематически, более упорно, *сберегая, елико возможно, силы пролетариата, истощенного стачечной борьбой*" (курсив мой.—*И.К.*) (там же, стр. 7).

„Пусть же ясно встанут перед рабочей партией ее задачи. Долой конституционные иллюзии! *Надо собирать новые, примыкающие к пролетариату, силы* (курсив мой.—*И. К.*). Надо „собрать опыт" двух великих месяцев революции (ноябрь и декабрь). Надо приспособиться опять к восстановленному самодержавию, надо уметь везде, где надо, опять залезть в подполье" (там же).

В подполье мы залезали. Плели сети конспиративной организации. Со всех концов России приезжали товарищи, с которыми сговаривались о работе, о линии, которую надо проводить. Сначала публика приходила на явку, где принимали публику или я с Верой Рудольфовной или Михаил Сергеевич. Наиболее близкой и ценной публике я устраивала свидания с Ильичем, или же по боевой части—устраивал свидание с Никитичем (Красиным) Михаил Сергеевич. Явки устраивались в разных местах: то у зубного врача Доры Двойрес (где-то на Невском), то у зубного врача Лаврентьевой (на Николаевской), то в книжном складе „Вперед" *, у разных сочувствующих.

Помню два эпизода. Однажды мы с Верой Рудольфовной Менжинской расположились принимать приезжих в складе „Вперед" где нам для этой цели отвели особую комнату. К нам пришел какой-то районщик с пачкой прокламаций, другой сидел в ожидании своей очереди, как вдруг дверь открылась, в нее просунулась голова пристава, который сказал: „Ага", и запер нас на ключ. Что было делать? Лезть в окно было нецелесообразно, сидели и недоуменно смотрели друг на друга. Потом решили пока что сжечь прокламации и другую всяческую нелегальщину, что и сделали, сговорились сказать, что мы отбираем популярную литературу для деревни. Так и сделали. Пристав поглядел на нас с усмешечкой, но не арестовал. Записали фамилии наши и адреса. Мы сказали, конечно, адреса и фамилии фиктивные.

Другой раз я чуть не влетела, отправившись первый раз на явку к Лаврентьевой. Вместо номера дома *32* дали № *33*. Подхожу к двери и удивляюсь—карточка почему-то сорвана. Странная, думаю, конспирация... Двери мне отворяет какой-то ден-

* Книжный склад и издательство «Вперед» принадлежали ЦК партии. *Ред.*

щик, я, ничего не спрашивая, нагруженная всякими шифрованными адресами и литературой, пру прямо по коридору. За мной следом, страшно побледнев, весь дрожа, бросается денщик. Я останавливаюсь: „Разве сегодня не приемный день? У меня зубы болят". Заикаясь, денщик говорит: „Г-на полковника дома нет". Какого полковника? „Полковника-с Римана". Оказывается, я залезла в квартиру Римана, полковника Семеновского полка, усмирявшего московское восстание, чинившего расправу на Московско-Казанской ж. д.

Он, очевидно, боялся покушения, потому была сорвана карточка на двери, а я ворвалась к нему в квартиру и устремилась по коридору без доклада.

„Я не туда зашла, значит, мне к доктору надо",—сказала я и повернула обратно.

Ильич маялся по ночевкам, что его очень тяготило. Он вообще очень стеснялся, его смущала вежливая заботливость любезных хозяев, он любил работать в библиотеке или дома, а тут надо было каждый раз приспособляться к новой обстановке.

Встречались мы с ним в ресторане „Вена", но так как там разговаривать на людях было не очень-то удобно, то мы, посидев там, или встретившись в условленном месте на улице, брали извозчика и ехали в гостиницу, что против Николаевского вокзала, брали там особый кабинет и заказывали ужин. Помню, раз увидали на улице Юзефа (Дзержинского), остановили извозчика и пригласили его с собой. Он сел на облучок. Ильич все беспокоился, что ему неудобно сидеть, а он смеялся, рассказывал, что вырос в деревне и на облучке саней-то уж ездить умеет.

Наконец, Ильичу надоела вся эта маята, и мы поселились с ним вместе на Пантелеймоновской (большой дом против Пантелеймоновской церкви) у какой-то черносотенной хозяйки.

Из выступлений Ильича, относящихся к тому времени, помню собрание на квартире у Книповичей пропагандистов от разных районов. Ильич говорил о деревне. Помню, ему задал какой-то вопрос Николай из-за Невской заставы. Помню, мне ужасно не понравилась тогда и шаблонная постановка вопроса и манера говорить Николая. После собрания я расспрашивала Дяденьку, которая была организатором за Невской заставой, что за работник Николай. Она говорила о нем как о талантливом парне, крепко связанном с деревней, но жаловалась, что он не умеет работать систематически с массой, а возится лишь с небольшой группой рабочих. В 1906 г. Николай был все же одним из активных работников. В годы реакции он стал про-

вокатором, но не выдержал и покончил с собой. Николай принадлежал к группе товарищей, которые стремились проникать во все слои беднейшего населения. Помню, он ходил в ночлежку вести агитацию. Тов. Крыленко, который тогда был совсем молодым задиристым парнем, попал как-то на собрание сектантов, которые чуть его не поколотили, Сергей Войтинский также постоянно ввязывался во всякие истории.

За Ильичем началась слежка. Однажды он был на каком-то собрании (кажется, у адвоката Черекуль-Куша), где делал доклад. За ним началась такая слежка, что он решил домой не возвращаться. Так и просидела я у окна всю ночь до утра, решив, что его где-то арестовали. Ильич еле-еле ушел от слежки и при помощи Баска (тогда видного члена Спилки) перебрался в Финляндию и там прожил до Стокгольмского съезда.

Там в апреле написал Ильич брошюру „Победа кадетов и задачи рабочей партии". Подготовлял резолюции к Объединительному съезду, обсуждались они в Питере, куда приехал Ильич, в квартире Витмер, там была гимназия, и дело происходило в одном из классов.

После II съезда большевики и меньшевики собирались впервые вместе на съезде. Хотя меньшевики за последние месяцы уже достаточно выявили свое лицо, но Ильич еще надеялся, что новый подъем революции, в котором он не сомневался, захватит их и примирит с большевистской линией.

Я на съезд несколько запоздала. Ехала туда вместе с Тучапским, которого раньше знала по подготовке I съезда, с Клавдией Тимофеевной Свердловой. Свердлов тоже собирался на съезд. На Урале он пользовался громадным влиянием. Рабочие не хотели ни за что отпустить его. У меня был мандат от Казани, но нехватало небольшого числа голосов. Мандатная комиссия дала поэтому мне лишь совещательный голос. Недолгое присутствие в мандатной комиссии сразу же заставило окунуться в атмосферу съезда—она была достаточно фракционна.

Большевики держались очень сплоченно. Их объединяла уверенность, что революция, несмотря на временное поражение, идет на подъем.

Помню хлопоты Дяденьки, которая хорошо знала шведский язык и на которую поэтому пала вся возня с устройством делегатов. Помню Ивана Ивановича Скворцова и Владимира Александровича Базарова, у которого в боевые моменты особенно поблескивали глаза. Я помню, как Владимир Ильич, в связи с этим, говорил о том, что у Базарова сильна политическая жилка, что его увлекает борьба. Помню какую-то прогулку

на лоно природы, в которой принимали участие Рыков, Строев и Алексинский, говорили о настроениях рабочих. На съезде были также Ворошилов (Володя Антимеков) и К. Самойлова (Наташа Большевикова). Уж одни эти две последние клички, проникнутые молодым задором, характерны для настроений большевистских делегатов на Объединительном съезде. Со съезда большевистские делегаты ехали еще больше сплоченными, чем раньше.

27 апреля открылась I Государственная дума, была демонстрация безработных, среди которых работал Войтинский, с большим подъемом прошло 1 мая. В конце апреля открылась вместо „Новой Жизни" газета „Волна", стал выходить большевистский журнальчик „Вестник Жизни". Движение шло опять на подъем.

По возвращении со Стокгольмского съезда мы поселились на Забалканском, я по паспорту Прасковьи Онегиной, Ильич по паспорту Чхеидзе. Двор был проходной, жить там было удобно, если бы не сосед, какой-то военный, который смертным боем бил жену и таскал ее за косу по коридору, да не любезность хозяйки, которая усердно расспрашивала Ильича о его родных и уверяла, что знала его, когда он был четырехлетним мальчуганом, только тогда он был черненьким...

Ильич писал отчет питерским рабочим об Объединительном съезде, ярко освещая все разногласия по самым существенным вопросам. „Свобода обсуждения, единство действия,—вот чего мы должны добиться", писал Ильич в этом отчете, „...в поддержках революционных выступлений крестьянства, в критике мелкобуржуазных утопий все с.-д. согласны между собой..." „При выборах (в Думу.—*И.К.*) *обязательно* полное единство действий. Съезд решил,—будем выбирать все, где предстоят выборы. Во время выборов никакой критики участия в выборах. *Действие* пролетариата должно быть едино..." (Соч., т. IX, стр. 225).

Отчет вышел в изд. „Вперед" в мае месяце.

9 мая Владимир Ильич первый раз в России выступил открыто на громадном массовом собрании в народном доме Паниной под фамилией Карпова. Рабочие со всех районов наполняли зал. Поражало отсутствие полиции. Два пристава, повертевшись в начале собрания в зале, куда-то исчезли. „Как порошком их посыпало",—шутил кто-то. После кадета Огородникова председатель предоставил слово Карпову. Я стояла в толпе. Ильич ужасно волновался. С минуту стоял молча, страшно бледный. Вся кровь прилила у него к сердцу. И сразу почувствовалось, как волнение оратора передается аудитории.

И вдруг зал огласился громом рукоплесканий—то партийцы узнали Ильича. Запомнилось недоумевающее, взволнованное лицо стоявшего рядом со мной рабочего. Он спрашивал: кто, кто это? Ему никто не отвечал. Аудитория замерла. Необыкновенно подъемное настроение охватило всех присутствовавших после речи Ильича, в эту минуту все думали о предстоящей борьбе до конца.

Красные рубахи разорвали на знамена и с пением революционных песен разошлись по районам.

Была белая майская возбуждающая питерская ночь. Полиции, которую ждали, не было. С собрания Ильич пошел ночевать к Дмитрию Ильичу Лещенко.

Не удалось Ильичу больше выступать открыто на больших собраниях в ту революцию.

24 мая была закрыта „Волна". 26 мая она возобновилась под именем газеты „Вперед". „Вперед" просуществовала до 14 июня.

Только 22 июня удалось приступить к изданию новой большевистской газеты „Эхо", просуществовавшей до 7 июля. 8 июля была распущена Государственная дума.

В конце июня приезжала в Питер только что освободившаяся из варшавской тюрьмы Роза Люксембург. С ней виделись тогда Владимир Ильич и наша большевистская руководящая публика. Квартиру под свидание дал домовладелец „Папа Роде", старик, с дочерью которого я вместе учительствовала за Невской заставой, а потом одновременно с ней сидела в тюрьме. Старик старался помогать, чем мог, и на этот раз отвел под собрание большую пустую квартиру, в которой для конспирации велел замазать белой краской все окна, чем, конечно, привлек внимание всех дворников. На этом совещании говорили о создавшемся положении, о той тактике, которой надо было держаться. Из Питера Роза поехала в Финляндию, а оттуда за границу.

В мае, когда движение нарастало, когда Дума стала отражать крестьянские настроения, Ильич уделял ей очень большое внимание. За это время им написаны статьи: „Рабочая группа в Государственной думе", „Крестьянская или „трудовая" группа и РСДРП", „Вопрос о земле в Думе", „Ни земли, ни воли", „Правительство, Дума и народ", „Кадеты мешают Думе обратиться к народу", „Горемычники, октябристы и кадеты", „Плохие советы", „Кадеты, трудовики и рабочая партия"; все эти статьи имеют в виду одно—смычку рабочего класса с крестьянством, необходимость поднять крестьян на борьбу за землю и волю, необходимость не дать кадетам возможности заключить сделки с правительством.

Ильич не раз выступал в это время с докладами по этому вопросу.

Выступал Ильич с докладом перед представителями Выборгского района в Союзе инженеров на Загородном. Пришлось долго ждать. Один зал был занят безработными, в другом собрались катали, организатором их был Сергей Малышев, в последний раз пытавшиеся договориться с предпринимателями, но и на этот раз не договорились. Только когда они ушли, можно было приступить к докладу.

Помню также выступление Ильича перед группой учителей. Среди учителей господствовали тогда эсеровские настроения, большевиков на учительский съезд не пустили, но было организовано собеседование с несколькими десятками учителей. Дело происходило в какой-то школе. Из присутствовавших запомнилось лицо одной учительницы, небольшого роста, горбатенькой,—это была эсерка Кондратьева. На этом собеседовании выступал т. Рязанов с докладом о профсоюзах. Владимир Ильич делал доклад по аграрному вопросу. Ему возражал эсер Бунаков, уличая его в противоречиях, стараясь цитатами из Ильина (тогдашний литературный псевдоним Ильича) побивать Ленина. Владимир Ильич внимательно слушал, делал записи, а потом довольно сердито отвечал на эту эсеровскую демагогию.

Когда встали во весь рост вопросы о земле, когда открыто выявилось, говоря словами Ильича, „объединение чиновников и либералов против мужиков“, колеблющаяся трудовая группа пошла за рабочими. Правительство почувствовало, что Дума не будет надежной опорой правительства, и перешло в наступление, начались избиения мирных демонстраций, поджоги домов с народными собраниями, начались еврейские погромы. 20 июня выпущено было правительственное сообщение по аграрному вопросу с резкими выпадами по адресу Государственной думы.

Наконец, 8 июля Дума была распущена, социал-демократические газеты закрыты, начались всякие репрессии, аресты. В Кронштадте и в Свеаборге разразилось восстание. Наши принимали там самое активное участие. Иннокентий (Дубровинский) еле-еле выбрался из Кронштадта и выскользнул из рук полиции, притворившись вдрызг пьяным. Вскоре арестовали нашу военную организацию, в среде которой оказался провокатор. Это было как раз во время свеаборгского восстания. В этот день мы безнадежно ждали телеграмм о ходе восстания.

Сидели в квартире Менжинских. Вера Рудольфовна и Людмила Рудольфовна Менжинские жили в то время в очень удобной,

отдельной квартире. К ним часто приходили товарищи. Постоянно у них бывали тт. Рожков, Юзеф, Гольденберг. На этот раз там также собралось несколько товарищей, в том числе Ильич. Ильич направил Веру Рудольфовну к Шлихтеру, чтобы сказать, что нужно немедля выехать в Свеаборг. Кто-то вспомнил, что в кадетской „Речи" служит корректором товарищ Харрик. Пошла я к нему узнавать, нет ли телеграммы. Его не застала, телеграммы получила от другого корректора. Он посоветовал мне сговориться с Харриком, который живет неподалеку—в Гусевом переулке и даже адрес Харрика надписал на гранках с телеграммами. Я пошла в Гусев переулок. Около дома под ручку ходили две женщины. Они остановили меня: „Если вы идете в такой-то номер, не ходите, там засада, всех хватают". Я поторопилась предупредить нашу публику. Как потом оказалось, там арестована была наша военная организация, в том числе и Вячеслав Рудольфович Менжинский. Восстание было подавлено. Реакция наглела. Большевики возобновили издание нелегального „Пролетария", ушли в подполье—меньшевики забили отбой, стали писать в буржуазной прессе, выкинули демагогический лозунг рабочего беспартийного съезда, который при данных условиях означал ликвидацию партии. Большевики требовали экстренного съезда.

Ильичу пришлось перебраться в „ближнюю эмиграцию", в Финляндию. Он поселился там у Лейтейзенов на станции Куокалла, неподалеку от вокзала. Неуютная большая дача „Ваза" давно уже служила пристанищем для революционеров. Перед тем там жили эсеры, приготовлявшие бомбы, потом поселился там большевик Лейтейзен (Линдов) с семьей. Ильичу отвели комнату в сторонке, где он строчил свои статьи и брошюры и куда к нему приезжали и цекисты, и цекисты, и приезжие из провинции. Ильич из Куокалла руководил фактически всей работой большевиков. Через некоторое время я тоже туда переселилась, уезжала ранним утром в Питер и возвращалась поздно вечером. Потом Лейтейзены уехали, мы заняли весь низ—приехала к нам моя мать, потом Марья Ильинишна жила у нас одно время. Наверху поселились Богдановы, а в 1907 г.—и Дубровинский (Иннокентий). В то время русская полиция не решалась соваться в Финляндию, и мы жили очень свободно. Дверь дачи никогда не запиралась, в столовой на ночь ставились кринка молока и хлеб, на диване стелилась на ночь постель, на случай, если кто приедет с ночным поездом, чтобы мог, никого не будя, подкрепиться и залечь спать. Утром часто в столовой мы заставали приехавших ночью товарищей.

К Ильичу каждый день приезжал специальный человек с материалами, газетами, письмами. Ильич, просмотрев присланное, садился сейчас же писать статью и отправлял ее с тем же посланным. Почти ежедневно приезжал на „Вазу“ Дмитрий Ильич Лещенко. Вечером я привозила каждодневно всяческие питерские новости и поручения.

Конечно, Ильич рвался в Питер, и как ни старались держать с ним постоянную самую тесную связь, а другой раз нападало такое настроение, что хотелось чем-нибудь перебить мысли. И вот, бывало так, что все обитатели дачи „Вазы“ засаживались играть... в дураки. Рассчетливо играл Богданов, рассчетливо и с азартом играл Ильич, до крайности увлекался Лейтейзен. Иногда приезжал в это время кто-нибудь с поручением, какой-нибудь районщик, смущался и недоумевал: цекисты с азартом играют в дураки. Впрочем, это только полоса такая была.

Я редко видала в это время Ильича, проводя целые дни в Питере. Возвращаясь поздно, заставала Ильича всегда озабоченным и ни о чем его уж не спрашивала, больше рассказывала ему о том, что приходилось видеть и слышать.

Эту зиму мы с Верой Рудольфовной имели постоянную явку в столовой Технологического института. Это было очень удобно, так как через столовку за день проходила масса народу. В день перебывает другой раз больше десятка человек. Никто не обращал на нас внимания. Раз только пришел на явку Камо. В народном кавказском костюме он нес в салфетке какой-то шарообразный предмет. Все в столовке бросили есть и принялись рассматривать необычайного посетителя: „Бомбу принес“,— мелькала, вероятно, у большинства мысль. Но это оказалась не бомба, а арбуз. Камо принес нам с Ильичем гостинцев— арбуз, какие-то засахаренные орехи. „Тетка прислала“,—пояснял как-то застенчиво Камо. Этот отчаянной смелости, непоколебимой силы воли, бесстрашный боевик был в то же время каким-то чрезвычайно цельным человеком, немного наивным и нежным товарищем. Он страстно был привязан к Ильичу, Красину и Богданову. Бывал у нас в Куокалле. Подружился с моей матерью, рассказывал ей о тетке, о сестрах. Камо часто ездил из Финляндии в Питер, всегда брал с собой оружие, и мама каждый раз особо заботливо увязывала ему револьверы на спине.

С осени стал выходить в Выборге нелегальный „Пролетарий“ *, которому Ильич уделял много времени и внимания. Сношения велись через т. Шлихтер. Нелегальный „Пролетарий“

* Первый номер «Пролетария» в 1906 г. вышел 21 августа. *Ред.*

привозился в Питер и распространялся там по районам. Переправкой занималась т. Ирина (Лидия Гоби). Хотя перевозка и распределение были налажены—литература шла через легальную большевистскую типографию „Дело", но все же надо было добывать адреса, куда переправлять литературу. Нам с Верой Рудольфовной понадобилась помощница. Один из районщиков, Комиссаров—предложил в качестве помощницы свою жену—Катю. Пришла скромного вида стриженая женщина. Странное чувство в первую минуту овладело мной—чувство какого-то острого недоверия, откуда взялось это чувство—не осознала, скоро оно стерлось. Катя оказалась очень дельной помощницей, все делала очень аккуратно, конспиративно, быстро, не проявляла никакого любопытства, ни о чем не расспрашивала. Помню только раз, когда я спросила ее о том, куда она едет на лето, ее как-то передернуло, и она посмотрела на меня злыми глазами. Потом оказалось, что Катя и ее муж—провокаторы. Катя, достав оружие в Питере, повезла его на Урал, и следом за ее появлением приходила полиция, отбирала привезенное Катей оружие, всех арестовывала. Об этом мы узнали много позже. А ее муж, Комиссаров, стал управляющим у Симонова, домовладельца дома № 9 по Загородному проспекту. Симонов помогал социал-демократам. У него жил одно время Владимир Ильич, потом в этом доме был устроен большевистский клуб, потом там поселился Алексинский. В более позднее время—в годы реакции—Комиссаров устраивал в доме всяких нелегалов, снабжал их паспортами—и потом эти нелегалы очень быстро „случайно" как-то проваливались на границе. В эту ловушку попал, например, однажды Иннокентий, вернувшись из-за границы на работу в Россию. Конечно, трудно установить момент, когда Комиссаров и его жена стали провокаторами. Во всяком случае, полиция не знала все же очень и очень многого, например местожительства Владимира Ильича. Полицейский аппарат был в 1905 и весь 1906 гг. еще порядочно дезорганизован. Созыв II Государственной думы назначен был на 20 февраля 1907 года.

Еще на ноябрьской конференции 14 делегатов, в том числе и делегаты от Польши и Литвы, с Владимиром Ильичем во главе, высказались за выборы в Государственную думу, но против всяких блоков с кадетами (за что были меньшевики). Под таким лозунгом и шла работа большевиков по выборам в Думу. Кадеты потерпели поражение на выборах. Во II Думу у них прошла лишь половина того количества депутатов, которые проходили от них в I Думу. Выборы прошли с большим опозда-

нием. Казалось, поднимается новая революционная волна. В начале 1907 г. Ильич писал:

„Как мизерны стали вдруг наши недавние „теоретические" споры, освещенные прорвавшимся теперь ярким лучем восходящего революционного солнца!"

Депутаты II Думы довольно часто приезжали в Куокаллу потолковать с Ильичем. Работой депутатов-большевиков непосредственно руководил Александр Александрович Богданов, но он жил в Куокалле на той же даче „Ваза",—там же, где и мы, и обо всем столковывался с Ильичем.

Я помню, как однажды, возвращаясь поздно вечером из Питера в Куокалла, я встретилась в вагоне с Павлом Борисовичем Аксельродом. Он заговорил о том, что большевистские депутаты, в частности Алексинский, выступают в Думе совсем не плохо. Заговорил о рабочем съезде. Меньшевики вели довольно усиленную агитацию за рабочий съезд, надеясь, что широкий рабочий съезд поможет справиться со все растущим влиянием большевиков. Большевики настаивали на ускорении партийного съезда. Он назначен был, наконец, на апрель. Съезд получился очень многочисленный. Гуртом ехали на него делегаты, вереницей являясь на явку, где представителями от большевиков были я и Михаил Сергеевич, а от меньшевиков— Крохмаль и жена Хинчука М. М. Шик. Полиция учинила слежку. На Финляндском вокзале арестовали „Марата" (Шанцер) и еще нескольких делегатов. Пришлось принимать сугубые меры предосторожности. Ильич и Богданов уже уехали на съезд. В Куокаллу я не торопилась. Приезжаю в воскресенье только к вечеру и что же вижу? Сидят у нас 17 делегатов, холодные, голодные, не пивши, не евши! Домашняя работница, которая жила у нас, была финкой, социал-демократкой, по воскресеньям уходила на целый день—ставили они спектакли в Нардоме и пр.,—пока я их напоила, накормила, прошло не мало времени. Сама я на съезде не была. Не на кого было оставить секретарскую работу, а время было трудное. Полиция наглела, публика стала побаиваться пускать большевиков на ночовки и явки. Я встречалась иногда с публикой в „Вестнике Жизни". Петр Петрович Румянцев, редактор журнала, постеснялся мне сказать сам, чтобы я явок в „Вестнике Жизни" не устраивала, и напустил на меня сторожа—рабочего, с которым мы частенько говорили о делах. Досадно стало, зачем не сказал сам.

Со съезда Ильич приехал позже других. Вид у него был необыкновенный: подстриженные усы, сбритая борода, большая соломенная шляпа*. 3 июня была разогнана II Дума. Вся боль-

«Дяденька». (Лидия Михайловна Книпович).

шевистская фракция приехала поздно вечером в Куокаллу, просидели всю ночь, обсуждая создавшееся положение. От съезда Ильич устал до крайности, нервничал, не ел. Я снарядила его и отправила в Стирсуден, в глубь Финляндии, где жила семья Дяденьки, а сама спешно стала ликвидировать дела. Когда приехала в Стирсуден—Ильич уже отошел немного. Про него рассказывали: первые дни ежеминутно засыпал—сядет под ель и через минуту уже спит. Дети его „дрыхалкой" прозвали. В Стирсудене мы чудесно провели время—лес, море, дичее дикого, рядом только была большая дача инженера Зябицкого, где жили Лещенко с женой и Алексинский. Ильич избегал разговоров с Алексинским—хотелось отдохнуть,—тот обижался. Иногда у Лещенко собирались послушать музыку. Ксения Ивановна—родственница Книповичей—обладала чудесным голосом, она была певица, и Ильич слушал с наслаждением ее пение. Добрую часть дня мы проводили с Ильичем у моря или ездили на велосипеде. Велосипеды были старые, их постоянно надо было чинить, то с помощью Лещенки, то без его помощи,—чинили старыми калошами и, кажется, больше чинили, чем ездили. Но ездить было чудесно. Дяденька усиленно подкармливала Ильича яичницей да оленьим окороком, Ильич понемногу отошел, отдохнул, пришел в себя.

Из Стирсудена поехали на конференцию в Териоки. Обдумав на свободе всесторонне положение, Ильич на конференции выступил против бойкота III Думы. Началась война еще на новом фронте, война с бойкотистами, не хотевшими считаться с горькой действительностью и опьянявшими себя звонкими фразами. В маленькой дачке горячо защищал свою позицию Ильич. Подъехал на велосипеде Красин и, стоя у окна, внимательно слушал Ильича. Потом, не входя в дачу, задумчиво пошел прочь... Да, было над чем подумать.

Подошел Штутгартский конгресс**. Ильич им был очень доволен. Доволен резолюциями о профсоюзах и об отношении к войне.

---

* Тотчас после съезда Ильич выступил с докладом в Териоках в гостинице финна Какко (эта гостиница потом сгорела) перед приехавшими в большом количестве из Питера рабочими. *Ред.*

** Штутгартский Международный конгресс II Интернационала происходил 18 (5) — 24 (11) августа 1907 года. *Ред.*

ИЗ РОССИИ ЗА ГРАНИЦУ

Конец 1907 г.

Ильичу пришлось перебраться в глубь Финляндии. На даче „Ваза“ (в Куокалле) оставались еще Богдановы, Иннокентий (Дубровинский) и я. Уже в Териоках были обыски, ждали в Куокалле. Мы с Натальей Богдановой „чистились“, разбирали всякие архивы, отбирали ценное, отдавали это ценное прятать финским товарищам, а остальное жгли. Жгли так усердно, что однажды я с удивлением увидела, что снег вокруг нашей „Вазы“ усеян пеплом. Впрочем, если бы нагрянули жандармы, они все же нашли бы, вероятно, чем поживиться: очень уж большие залежи накопились в „Вазе“. Пришлось предпринимать специальные меры предосторожности. Раз утром прибежала хозяйка дачи, рассказала, что в Куокаллу приехали жандармы, взяла, сколько смогла захватить, всякой нелегальщины, чтобы спрятать у себя. Александра Александровича Богданова и Иннокентия мы отправили гулять в лес, а сами стали ждать обыска. На этот раз на „Вазу“ с обыском не пошли, искали боевиков.

Ильича товарищи отправили в глубь Финляндии, он жил в то время в Огльбю, небольшая станция около Гельсингфорса, у каких-то двух сестер финок. Чужим чувствовал он себя в изумительно чистенькой и холодной, по-фински уютной, с кружевными занавесочками комнате, где все стояло на своем месте, где за стеною все время шел смех, игра на рояле и болтовня на финском языке. Ильич писал целыми днями свою работу по аграрному вопросу, тщательно обдумывая опыт пережитой революции. Часами ходил из угла в угол на цыпочках, чтобы не беспокоить хозяек. Я как-то была у него в Огльбю.

Ильича полиция уже искала по всей Финляндии, надо было уезжать за границу. Ясно было, что реакция затянется на годы. Надо было опять податься в Швейцарию. Больно неохота была, но другого выхода не было. Да и необходимо было наладить за границей издание „Пролетария“, поскольку издание его в Финляндии стало невозможно. Ильич должен был

при первой возможности уехать в Стокгольм и там дожидаться меня. Мне надо было устроить в Питере больную старушку-мать, устроить ряд дел в Питере, условиться о сношениях и потом уже выехать следом за Ильичем.

Пока я возилась в Питере, Ильич чуть не погиб при переезде в Стокгольм. Дело в том, что его выследили так основательно, что ехать обычным путем, садясь в Або на пароходе, значило наверняка быть арестованным*. Бывали уже случаи арестов при посадке на пароход. Кто-то из финских товарищей посоветовал сесть на пароход на ближайшем острове. Это было безопасно в том отношении, что русская полиция не могла там заарестовать, но до острова надо было итти версты три по льду, а лед, несмотря на то, что был декабрь, был не везде надежен. Не было охотников рисковать жизнью, не было проводников. Наконец, Ильича взялись проводить двое подвыпивших финских крестьян, которым море было по колено. И вот, пробираясь ночью по льду, они вместе с Ильичем чуть не погибли—лед стал уходить в одном месте у них из-под ног. Еле выбрались.

Потом финский товарищ Борго, расстрелянный впоследствии белыми, через которого я переправилась в Стокгольм, говорил мне, как опасен был избранный путь и как лишь случайность спасла Ильича от гибели. А Ильич рассказывал, что, когда лед стал уходить из-под ног, он подумал: „Эх, как глупо приходится погибать". Россияне—большевики, меньшевики, эсеры—вновь перебирались за границу. На одном пароходе со мной в Швецию ехали Дан, Лидия Осиповна Цедербаум, пара каких-то эсеров.

Пробыв несколько дней в Стокгольме, мы с Ильичем двинулись на Женеву через Берлин. В Берлине накануне нашего приезда у русских были обыски и аресты, потому встретивший нас член берлинской группы т. Аврамов не посоветовал нам итти к кому-нибудь на квартиру, а водил нас целый день из кафе в кафе. Вечер мы провели у Розы Люксембург. Штутгартский конгресс, где Владимир Ильич и Роза Люксембург выступали солидарно по вопросу о войне, очень сблизил их. Было это еще в 1907 г., а они на конгрессе уже говорили о том, что борьба против войны должна ставить себе целью не только борьбу за мир, она должна иметь целью замену капитализма социализмом. Порожденный войной кризис необходимо будет использовать для ускорения свержения буржуазии. „Штутгарт-

* Пароходы из Финляндии в Швецию ходили и зимой, разрезая лед ледоколами. *Ред.*

ский съезд,—писал Владимир Ильич, давая его характеристику,—рельефно сопоставил по целому ряду крупнейших вопросов оппортунистическое и революционное крыло международной социал-демократии и дал решение этих вопросов в духе революционного марксизма" (Соч., т. XII, стр. 83). На Штутгартском конгрессе Роза Люксембург и Ильич шли заодно. И потому разговор в тот вечер между ними носил особо дружеский характер.

В гостиницу, где мы остановились, мы пришли вечером больные, у обоих шла белая пена изо рта и напала на нас слабость какая-то. Как потом оказалось, мы, перекочевывая из ресторана в ресторан, где-то отравились рыбой. Пришлось ночью вызывать доктора. Владимир Ильич был прописан финским поваром, а я американской гражданкой, и потому прислуживающий позвал к нам американского доктора. Тот осмотрел Владимира Ильича, сказал, что дело очень серьезно, посмотрел меня, сказал: „Ну, вы будете живы!", надавал кучу лекарств и, почуяв, что тут что-то неладно, слупил с нас бешеную цену за визит. Провалялись мы пару дней и полубольные потащились в Женеву, куда приехали 7 (25 декабря 1907 г.) января 1908 г. Ильич потом писал Горькому, что мы дорогой „простудились".

Неприятно выглядела Женева. Не было ни снежинки, но дул холодный резкий ветер—биза. Продавались открытки с изображением замерзшей налету воды, около решеток набережной Женевского озера. Город выглядел мертвым, пустынным. Из товарищей в это время в Женеве жили Миха Цхакая, В. К. Карпинский и Ольга Равич. Михаил Цхакая ютился в небольшой комнатушке и с трудом поднялся с постели, когда мы пришли. Как-то не говорилось. Карпинские жили в это время в русской библиотеке, бывшей Куклина, которой заведывал Карпинский. Когда мы пришли, у него был сильнейший припадок головной боли, от которой он щурился все время, все ставни были закрыты, так как свет раздражал его. Когда мы шли от Карпинского по пустынным, ставшим такими чужими улицам Женевы, Ильич обронил: „У меня такое чувство, точно в гроб ложиться сюда приехал".

Началась наша вторая эмиграция, она была куда тяжелее первой.

ЧАСТЬ

II

ВТОРАЯ ЭМИГРАЦИЯ

Вторая эмиграция распадается на три периода:

Первый период (1908—1911 гг.) был годами, когда в России царила самая бешеная реакция. Царское правительство жестоко расправлялось с революционерами. Тюрьмы были переполнены, в них царил самый каторжный режим, происходили постоянные избиения, смертные приговоры следовали один за другим. Нелегальные организации вынуждены были уйти в глубокое подполье. Это плохо удавалось. За время революции состав партии стал иным: партия пополнилась кадрами, не знавшими дореволюционного подполья и не привыкшими к конспирации. С другой стороны, царское правительство не жалело денег на организацию провокатуры. Вся система провокатуры была чрезвычайно продумана, разветвлена, окружала центральные органы партии. Информация у правительства была образцовая.

Параллельно с этим систематически преследовалась деятельность всяких легальных обществ, профессиональных союзов, печати. Правительство всеми силами стремилось отнять у рабочих масс завоеванные ими за годы революции права. Но вернуть старые времена было невозможно, революция для масс не прошла бесследно, и рабочая самодеятельность прорывалась вновь и вновь через каждую щель.

Эти годы были годами величайшего идейного развала в среде социал-демократии. Стали делаться попытки пересмотра самых основ марксизма, возникли философские течения, пытавшиеся пошатнуть материалистическое мировоззрение, на котором зиждется весь марксизм. Действительность была мрачна. И вот стали делаться попытки найти выход в измышлении какой-то новой утонченной религии, философски обосновать ее. Во главе новой философской школы, открывавшей двери всякому богоискательству, богостроительству, стоял Богданов, к нему примыкали Луначарский, Базаров и др. Маркс пришел к марксизму через философию, через борьбу с идеализмом. Плеханов в свое время уделил вопросу обоснования материалистического

мировоззрения громадное внимание. Ленин изучал их работы, усиленно занимался философией еще в ссылке. Он не мог не учесть значения философской ревизии марксизма, ее удельный вес в годы реакции. И Ленин со всей резкостью выступал против Богданова и его школы.

Богданов был противником не только на философском фронте. Он группировал около себя отзовистов и ультиматистов. Отзовисты говорили, что Государственная дума стала настолько реакционна, что надо отозвать социал-демократическую фракцию из Думы; ультиматисты считали, что надо предъявить ей ультиматум, чтобы она с думской трибуны выступала так, чтобы ее вышибли из Думы. По существу дела разницы между отзовистами и ультиматистами не было... К ультиматистам принадлежали Алексинский, „Марат" и другие. Отзовисты и ультиматисты были также против участия большевиков в профессиональных союзах и легальных обществах. Большевики-де должны быть твердокаменными, несгибаемыми. Ленин считал такую точку зрения ошибочной. Она вела к отстранению от всякой практической работы, от масс, от организации их на живом деле. Большевики умели использовать в период до революции 1905 г. каждую легальную возможность, умели в тяжелейших условиях пробиваться вперед и вести за собой массы. От борьбы за кипяток, за вентиляцию, вели они шаг за шагом массы к всенародному вооруженному восстанию. Уменье приспосабливаться к самой трудной обстановке и, приспособляясь, сохранять принципиальную выдержку, не сдавать революционных позиций—таковы были традиции ленинизма. Отзовисты рвали с большевистскими традициями. Борьба о отзовизмом была борьбой за испытанную большевистскую, ленинскую тактику.

И, наконец, эти годы, 1908—1911, были годами острой борьбы за партию, за ее нелегальную организацию.

Вполне естественно, что в период реакции признаки упадочных настроений стали прежде всего сказываться среди меньшевиков-практиков, и раньше всегда склонных плыть по течению, склонных урезывать революционные лозунги, связанных тесными узами с либеральной буржуазией. Эти упадочные настроения выразились чрезвычайно ярко в стремлении очень широких слоев меньшевиков ликвидировать партию. Ликвидаторы уверяли, что нелегальная партия ведет лишь к провалам, суживает размах рабочего движения. А на деле ликвидация нелегальной партии означала бы отказ от самостоятельной политики пролетариата, снижение революционного настроения пролетарской борьбы, ослабление организации и единства дей-

ствий пролетариата. Ликвидация партии означала отказ от учения Маркса, от всех его установок.

Конечно, такие меньшевики, как Плеханов, так много сделавший в свое время для пропаганды марксизма, для борьбы с оппортунизмом, не могли не видеть всей реакционности ликвидаторских настроений, и, когда проповедь ликвидации партии стала перерастать в проповедь ликвидации самых основ марксизма, он всячески стал от них отгораживаться и образовал свою группу, группу меньшевиков-партийцев.

Развернувшаяся борьба за партию внесла ясность в целый ряд организационных вопросов, уточнила, углубила в широких рядах партийцев понимание роли партии, обязанностей ее членов.

Борьба за материалистическое мировоззрение, за связь с массами, за ленинскую тактику, борьба за партию происходила в условиях эмигрантской обстановки.

В годы реакции эмиграция страшно разрослась, не переставая пополнялась она людьми, бежавшими за границу от свирепых преследований царского правительства, людьми с истрепанными, надорванными нервами, без перспектив впереди и без гроша денег, без какой-либо помощи из России. Все это придавало происходящей борьбе особо тяжелый характер. Склоки, свары было больше чем достаточно.

Теперь, много лет спустя, до прозрачности ясно, из-за чего шла борьба. Теперь, когда жизнь подтвердила так наглядно правильность ленинской линии, эта борьба кажется уже многим мало интересной. А между тем без этой борьбы партия не могла бы так быстро развернуть свою работу в годы подъема, ее путь к победе был бы затруднен. Борьба происходила в условиях, когда вышеуказанные течения только еще складывались, происходила между людьми, недавно еще боровшимися рука об руку, и многим казалось, что все дело в неуживчивости Ленина, в его резкости, в его плохом характере. А на деле шла борьба за существование партии, за выдержанность ее линии, за правильность ее тактики. Резкость форм полемики диктовалась также запутанностью вопросов, и Ильич часто особо резко ставил вопросы потому, что без резкой постановки оставалась бы в тени самая суть вопроса.

Годы 1908—1911 были не просто годами проживания за границей, они были годами напряженной борьбы на важнейшем фронте—на фронте идеологической борьбы.

Второй период второй эмиграции, годы 1911—1914, были годами подъема в России. Рост стачечной борьбы, ленские

события, вызвавшие единодушное выступление рабочего класса, развитие рабочей печати, выборы в Думу и работа думской фракции—все это вызвало к жизни новые формы партийной работы, придало ей совершенно новый размах, сделало партию гораздо более рабочей по составу, прблизило ее к массам.

Быстро стали укрепляться связи с Россией, росло влияние на русскую работу. Пражская партийная конференция января 1912 г. исключила ликвидаторов, оформила нелегальную партийную организацию. Плеханов с большевиками не пошел.

В 1912 г. мы переехали в Краков. Борьба за партию, за ее укрепление шла уже не среди заграничных групшок. Краковский период был периодом, когда в России на деле, на практике ленинская тактика целиком оправдывала себя. Вопросы практической работы целиком захватывают Ильича. Но в то же время, как в России широко развертывалось рабочее движение, на международном фронте поблескивали уж зарницы приближавшейся грозы, все больше и больше начинало попахивать войной. И Ильич думает уже о тех новых взаимоотношениях, которые должны установиться между различными национальностями, когда имеющая разразиться война превратится в гражданскую. Живя в Кракове, Ильичу пришлось ближе столкнуться с польскими социал-демократами, с их взглядами на национальный вопрос. Он настойчиво ведет борьбу с их ошибками, заостряет, уточняет формулировки. В краковский период большевиками принят ряд резолюций по национальному вопросу, имевших чрезвычайно большое значение.

Третий период второй эмиграции (1914—1917) охватывает годы войны, когда резко переменился опять весь характер нашей эмигрантской жизни. Это был период, когда вопросы международного характера приобрели решающее значение, когда только под углом зрения международного движения могли трактоваться и наши российские дела.

Другая база, гораздо более широкая, база интернациональная, неизбежно должна была теперь лечь в их основу. Делалось все, что можно было сделать, сидючи в нейтральной стране, для пропаганды борьбы с империалистской войной, для пропаганды превращения ее в войну гражданскую, для закладки первых камней нового Интернационала. Эта работа поглощала все силы Ленина в первые годы войны (конец 1914 и 1915 год).

Но параллельно с этим у него—под влиянием окружающих событий—пробуждается ряд новых мыслей: его тянет к углубленной работе над вопросами об империализме, о характере

войны, о новых формах государственной власти, которая сложится на другой день после победы пролетариата, о диалектическом методе в его применении к политике и тактике рабочего класса. Мы перебираемся из Берна в Цюрих, где удобнее было работать. Ильич вплотную берется за писание, целые дни проводит в библиотеках, пока не приходит весть о Февральской революции и не начинаются сборы в Россию.

ГОДЫ РЕАКЦИИ

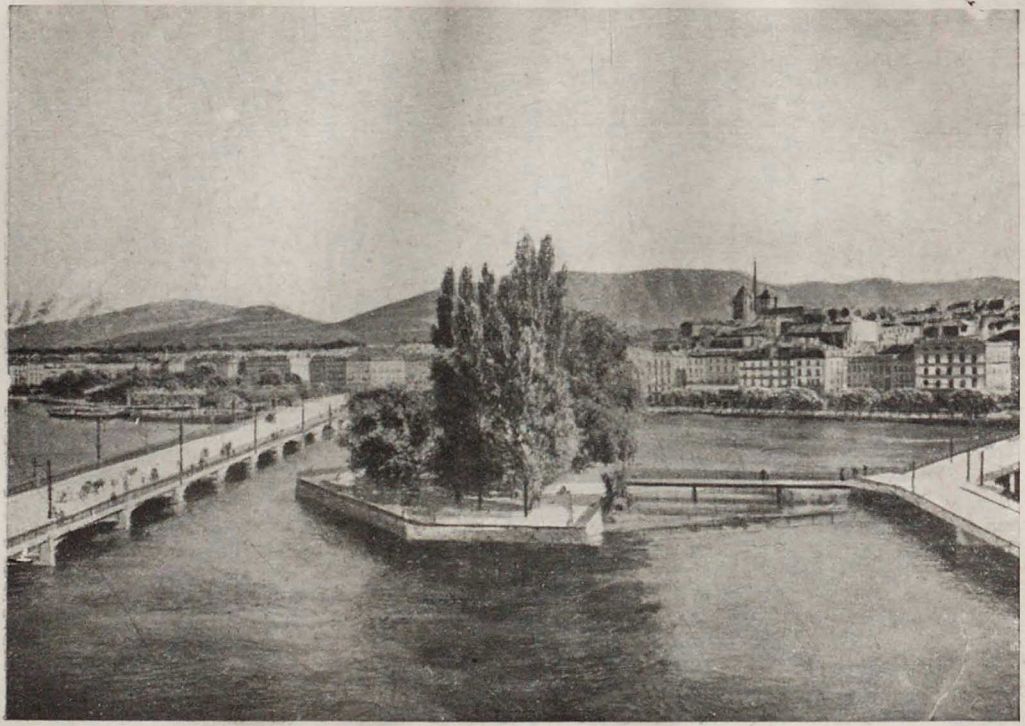
ЖЕНЕВА

1908 г.

Вечером в день приезда в Женеву Ильич написал письмо Алексинскому,—большевистскому депутату II Думы, осужденному вместе с другими большевистскими депутатами на каторгу, эмигрировавшему за границу и жившему в это время в Австрии,—в ответ на его письмо, полученное еще в Берлине, а через пару дней ответил А. М. Горькому, который усиленно звал Ильича приехать к нему в Италию, на Капри.

На Капри ехать было невозможно, надо было налаживать нелегальный Центральный орган партии „Пролетарий". Надо было это делать как можно скорее, чтобы быстрее наладить в это трудное время реакции систематическое руководство через Центральный орган. Ехать нельзя было, но Ильич в письме мечтал: „Действительно, важно было бы закатиться на Капри!" И дальше писал он: „К вам приехать, я думаю, лучше тогда, когда у Вас не будет большой работы, чтобы можно было шляться и болтать вместе" (Соч. т. XXVIII, стр. 510). Много за последнее время было пережито и передумано Ильичем, и хотелось ему поговорить с Горьким по душе, но поездку приходилось отложить.

Еще не было решено, будет ли издаваться „Пролетарий" в Женеве или где-либо в другом месте за границей. Было написано в Австрию австрийскому социал-демократу Адлеру и Юзефу (Дзержинскому), жившему там же. Австрия ближе к границе, там было бы в некотором отношении удобнее печататься, лучше можно было бы наладить транспорт, но Ильич мало надеялся на то, что можно будет поставить издание ЦО где-либо в другом месте, кроме Женевы, и предпринимал шаги для налаживания дела в Женеве. К нашему удивлению, мы узнали, что в Женеве от прежнего времени у нас оставалась наборная машина, что сокращало расходы и упрощало дело.



Вид г. Женевы.

Объявился прежний наборщик, набиравший раньше в Женеве до революции большевистскую газету „Вперед“—т. Владимиров. Общие хозяйственные заботы были возложены на Д. М. Котляренко.

К февралю уже съехались в Женеву все товарищи, посланные из России ставить „Пролетарий“, т. е. Владимир Ильич, Богданов и Иннокентий (Дубровинский).

В письме от 2 февраля Владимир Ильич писал А. М. Горькому: „Все налажено, на-днях выпускаем анонс. В сотрудники ставим Вас. Черкните пару слов, могли бы Вы дать что-либо для первых номеров (в духе ли *заметок о мещанстве* из *„Новой Жизни“* или отрывки из повести, которую пишете, и т. п.)“ (там же, стр. 518). Ильич еще в 1894 г. в своей книжке „Что такое друзья народа и как они воюют против социал-демократов?“ писал о буржуазной культуре, о мещанстве, которое он глубоко ненавидел и презирал. И потому заметки Горького о мещанстве ему особенно нравились.

Луначарскому, устроившемуся на Капри у Горького, Ильич писал: „Черкните, устроились-ли вполне и стали-ли работоспособны?“ („Ленинский Сборник“, I, стр. 152).

Редакционная тройка (Ленин, Богданов, Иннокентий) послала письмо в Вену Троцкому, приглашая сотрудничать в „Пролетарии“. Троцкий отказался, не захотел работать с большевиками, но не сказал прямо, а мотивировал свой отказ занятостью.

Начались заботы о налаживании транспорта для „Пролетария“. Разыскивали старые связи. Когда-то транспорт наш шел морем, через Марсель и пр. Ильич думал, что теперь наладить транспорт можно бы, пожалуй, через Капри, где жил Горький. Он писал Марье Федоровне Андреевой, жене Горького, о том, как наладить через пароходных служащих и рабочих переправку литературы в Одессу. Списывался о транспорте через Вену с Алексинским, мало, впрочем, надеясь на успех. Алексинский для таких дел был весьма мало пригоден. Стали звать за границу из России нашего „спеца“ по транспортным делам, Пятницкого, теперешнего работника Коминтерна, наладившего в свое время очень хорошо транспорт через германскую границу. Но пока ему удалось уйти из-под слежки, из-под ареста, перебраться через границу, прошло чуть не восемь месяцев. По приезде за границу Пятница пробовал наладить транспорт через Львов, но там устроить ничего не удалось. Осенью 1908 г. он приехал в Женеву. Сговорились, что он опять поселится там, где жил раньше, в Лейпциге, и будет налаживать

транспорт опять через германскую границу, восстановит старые связи.

Алексинский решил переехать в Женеву. Жену Алексинского, Татьяну Ивановну, предполагалось привлечь в мои помощницы по переписке с Россией. Но это все были лишь планы. Что касается писем, то мы их больше ждали, чем получили. Вскоре после нашего приезда в Женеву произошла история с разменом денег.

В июле 1907 г. была совершена экспроприация в Тифлисе на Эриванской площади. В разгар революции, когда шла борьба развернутым фронтом с самодержавием, большевики считали допустимым захват царской казны, допускали экспроприацию. Деньги от тифлисской экспроприации были переданы большевикам на революционные цели. Но их нельзя было использовать. Они были в пятисотках, которые надо было разменять. В России этого нельзя было сделать, ибо в банках всегда были списки номеров взятых при экспроприации пятисоток. Теперь, когда реакция свирепствовала во-всю, надо было устраивать побеги из тюрем, где царское правительство мучило революционеров, надо было для того, чтобы не дать заглохнуть движению, ставить нелегальные типографии и т. п. Деньги нужны были дозарезу. И вот группой товарищей была организована попытка разменять пятисотки за границей одновременно в ряде городов. Как раз через несколько дней после нашего приезда за границу была сделана ими попытка разменять эти деньги. Знал об этом, принимал участие в организации этого размена провокатор Житомирский. Тогда никто не знал, что Житомирский провокатор, и все относились к нему с полным доверием. А он уже провалил в это время в Берлине т. Камо, у которого был взят чемодан с динамитом и которому пришлось долго сидеть потом в немецкой тюрьме, а затем германское правительство выдало Камо России. Житомирский предупредил полицию, и пытавшиеся произвести размен были арестованы. В Стокгольме был арестован латыш, член Цюрихской группы, в Мюнхене—Ольга Равич, член Женевской группы, наша партийка, недавно вернувшаяся из России, Богдассариан и Ходжамириан.

В самой Женеве был арестован Н. А. Семашко, в адрес которого пришла открытка на имя одного из арестованных.

Швейцарские обыватели были перепуганы на-смерть. Только и разговоров было, что о русских экспроприаторах. Об этом с ужасом говорили за столом в том пансионе, куда мы с Ильичем ходили обедать. Когда к нам пришел в первый раз живший в это время в Женеве Миха Цхакая, кавказский товарищ, предсе-

датель III съезда партии в 1905 г., его кавказский вид так испугал нашу квартирную хозяйку, решившую, что это и есть самый настоящий экспроприатор, что она с криком ужаса захлопнула перед ним дверь.

Швейцарская партия была в то время настроена архиоппортунистически, и швейцарские социал-демократы говорили по случаю ареста И. А. Семашко о том, что у них—самая демократическая страна, что правосудие стоит у них на высоте, и они не могут терпеть на своей территории преступлений против собственности.

Русское правительство требовало выдачи арестованных. Шведские социал-демократы готовы были вмешаться в дело, но требовали только, чтобы Цюрихская группа, в которую входил арестованный товарищ, подтвердила, что арестованный в Стокгольме парень—социал-демократ и все время жил в Цюрихе. Цюрихская группа, где преобладали меньшевики, отказалась это сделать. В местной бернской газете меньшевики торопились тоже отгородиться от Семашко, изображая дело так, будто он не социал-демократ и не представлял Женевскую группу на Штутгартском конгрессе.

Меньшевики осуждали Московское восстание 1905 г., они были против всего, что могло отпугнуть либеральную буржуазию. То, что буржуазная интеллигенция отхлынула от революции в момент ее поражения, они объясняли не ее классовой природой, а считали, что ее напугали большевики своими методами борьбы. Утверждение большевиков, что в момент подъема революционной борьбы допустима была экспроприация на революционные цели средств у экспроприирующих, резко осуждалось ими. Большевики, по их мнению, отпугнули либеральную буржуазию. Необходима была борьба с большевиками. В этой борьбе все средства были хороши.

В письме от 26 февраля 1908 г., адресованном Плеханову, П. Б. Аксельрод развивал план, как дискредитировать большевиков в глазах иностранцев, использовав для этой цели всю эту историю, составить доклад, перевести его на немецкий и французский язык и послать немецкому партийному правлению (Форштанду), Каутскому, Адлеру, Интернациональному бюро, в Лондон и т. д.

Это опубликованное много лет спустя, в 1926 г., письмо Аксельрода как нельзя лучше рисует, как далеко разошлись уже к этому времени дороги большевиков и меньшевиков.

По поводу ареста И. А. Семашко Владимир Ильич послал официальное заявление, как представитель РСДРП, в Между-

народное бюро. Он писал также Горькому, что если тот знает Семашко лично по Нижнему, то ему надо бы выступить в защиту его в швейцарской печати. Н. А. Семашко вскоре выпустили.

Трудно было нам после революции вновь привыкнуть к эмигрантской жизни. Целые дни Владимир Ильич просиживал в библиотеке, но по вечерам мы не знали, куда себя приткнуть. Сидеть в неуютной холодной комнате, которую мы себе наняли, была неохота, тянуло на людей, и мы каждый день ходили то в кино, то в театр, хотя редко досиживали до конца, а уходили обычно с половины спектакля бродить куда-нибудь, чаще всего к озеру.

Наконец, в феврале вышел первый изданный уже в Женеве (21-й) номер „Пролетария". Характерна в нем первая статья Владимира Ильича.

„Мы умели,—писал он,—долгие годы работать перед революцией. Нас недаром прозвали твердокаменными. Социал-демократы сложили пролетарскую партию, которая не падет духом от неудачи первого военного натиска, не потеряет головы, не увлечется авантюрами. Эта партия идет к социализму, не связывая себя и своей судьбы с исходом того или иного периода буржуазных революций. Именно поэтому она свободна и от слабых сторон буржуазных революций. И эта пролетарская партия идет к победе" (Соч., т. XII, стр. 126).

Эти слова принадлежали Владимиру Ильичу. И они выражали то, чем он тогда жил. В момент поражения он думал о величайших победах пролетариата. По вечерам, когда мы ходили по набережным Женевского озера, он говорил об этом.

Тов. Адоратского, который был в 1906 г. выслан за границу и уехал в Россию в начале 1908 г., мы еще застали в Женеве. Он вспоминает разговоры с Ильичем о характере следующей революции, о том, что эта революция несомненно даст власть в руки пролетариата. Эти воспоминания т. Адоратского вполне соответствуют духу вышеприведенной статьи и всему тому, что говорил тогда Ильич. Что поражение пролетариата только временное—в этом Ильич не сомневался ни минуты.

Тов. Адоратский вспоминает также и то, что Владимир Ильич заставил его „написать подробные воспоминания о 1905 г., об октябрьских днях и особенно о тех уроках, которые относились к вопросам о вооружении рабочих, о боевых дружинах, об организации восстания и о взятии власти" *.

* В. Адоратский. За 18 лет „Пролетарская Революция" № 3 (26), 1924 г., стр. 97. *Ред.*

Владимир Ильич считал, что надо самым внимательным, тщательным образом изучать опыт революции, что этот опыт сослужит службу в дальнейшем. Он вцеплялся в каждого участника недавней борьбы, подолгу толковал с ним. Он считал, что на русский рабочий класс легла задача: „Сохранить традиции революционной борьбы, от которой спешат отречься интеллигенция и мещанство, развить и укрепить эти традиции, внедрить их в сознание широких масс народа, донести их до следующего подъема неизбежного демократического движения“ (Соч., т. XII, стр. 206).

„Сами рабочие,—писал он,—стихийно ведут именно такую линию. Они слишком страстно переживали великую октябрьскую и декабрьскую борьбу. Они слишком явно видели изменение своего положения *только* в зависимости от этой непосредственной революционной борьбы. Они говорят теперь или, по крайней мере, чувствуют все, как тот ткач, который заявил в письме в свой профессиональный орган: „Фабриканты отобрали наши завоевания, подмастерья опять попрежнему издеваются над нами, *погодите, придет опять пятый год*“.

„Погодите, придет опять пятый год“. Вот как смотрят рабочие. Для них этот год борьбы дал образец того, *что делать*. Для интеллигенции и ренегатствующего мещанства, это—„сумасшедший год“, это образец того, *чего не делать*. Для пролетариата переработка и критическое усвоение опыта революции должны состоять в том, чтобы научиться применять *тогдашние* методы борьбы *более успешно*, чтобы ту же октябрьскую стачечную и декабрьскую вооруженную борьбу сделать более широкой, более сосредоточенной, более сознательной“ (там же, стр. 206).

Предстоящие годы представлялись Ильичу как годы подготовки к новому наступлению.

Нужно было использовать „передышку“ в революционной борьбе для дальнейшего углубления ее содержания.

Прежде всего надо было выработать линию борьбы в условиях реакции. Надо было обдумать, как, переведя партию на подпольное положение, в то же время удержать за ней возможность действовать легальными способами, сохранить возможность через посредство думской трибуны говорить с широкими массами рабочих и крестьян. Ильич видел, что у многих из большевиков, у так называемых отзовистов, есть стремление до чрезвычайности упростить дело: желая во что бы то ни стало сохранить формы борьбы, оказавшиеся целесообразными в момент наивысшего развития революции, они по существу

дела отходили от борьбы в тяжелой обстановке реакции, от всех трудностей приспособления работы к новым условиям. Ильич расценивал отзовизм как ликвидаторство слева. Наиболее откровенным отзовистом был Алексинский. Когда он вернулся в Женеву, у них с Ильичем очень быстро испортились отношения. По целому ряду вопросов приходилось Ильичу иметь с ним дело, и теперь более, чем когда-либо, Ильичу претила самоуверенная ограниченность этого человека. До того, чтобы думская трибуна и при реакции могла быть способом общения с широкими слоями рабочих и крестьянских масс, Алексинскому было очень мало дела. Он, Алексинский, не мог ведь уже больше, после разгона II Думы, выступать с этой трибуны. На женевском фоне самовлюбленное хулиганство этого человека выступало как-то особенно выпукло, не заслоняемое ничем, а ведь он считался тогда еще большевиком. Помню такую картину. Иду по улице Каруж („Каружка" искони была эмигрантским центром) и вижу растерянно стоящих посредине тротуара двух бундовцев. Они входили вместе с Алексинским в комиссию по редактированию протоколов Лондонского съезда (эти протоколы впервые вышли в 1908 г. в Женеве),—зашел спор о какой-то формулировке, и вот Алексинский что-то накричал, захватил со стола все протоколы и убежал. Я оглянулась—вдали увидела заворачивающую за угол быстро шагающую низенькую фигуру Алексинского с гордо поднятой головой и громадными папками бумаг под мышками. Было даже не смешно.

Но не в одном Алексинском было дело. Чувствовалось, что в большевистской фракции нет уже прежней сплоченности, что надвигается раскол, в первую голову раскол с А. А. Богдановым.

В России вышли „Очерки по философии марксизма" со статьями А. Богданова, Луначарского, Базарова, Суворова, Бермана, Юшкевича и Гельфанда. Эти „Очерки" были попыткой ревизии материалистического мировоззрения, материалистического, марксистского понимания развития человечества, понимания классовой борьбы.

Новая философия открывала двери всякой мистике. В годы реакции ревизионизм мог развернуться особо пышным цветом, упадочнические настроения среди интеллигенции помогали бы этому всячески. Тут размежевание было неизбежно.

Ильич всегда интересовался вопросами философии, занимался ею много в ссылке, знал хорошо все высказывания в этой области К. Маркса, Ф. Энгельса, Плеханова, изучал Гегеля, Фейербаха, Канта. Еще в ссылке он яро спорил с това-

рищами, склонявшимися к Канту, следил за тем, что писалось по этому вопросу в „Neue Zeit“, и вообще по части философии был довольно серьезно подкован.

В письме к Горькому от 25 февраля (10 марта) Ильич изложил историю своих разногласий с Богдановым. Еще в ссылке Ильич читал книжку Богданова „Основные элементы исторического взгляда на природу“, но тогдашняя позиция Богданова была лишь переходом к позднейшим его философским взглядам. Позже, когда в 1903 г. Ильич работал с Плехановым, Плеханов не раз ругал ему Богданова за его философские высказывания. В 1904 г. вышла книжка Богданова „Эмпириомонизм“, и Ильич напрямик заявил Богданову, что он считает правильными взгляды Плеханова, а не его, Богданова.

„Летом и осенью 1904 г. мы окончательно сошлись с Богдановым, как *большевики*,—писал Ильич Горькому,—и заключили тот молчаливый и молчаливо устраняющий философию, как нейтральную область, блок, который просуществовал все время революции и дал нам возможность совместно провести в революцию ту тактику революционной социал-демократии (= большевизма), которая, по моему глубочайшему убеждению, была единственно правильной.

Философией заниматься в горячке революции приходилось мало. В тюрьме в начале 1906 г. Богданов написал еще одну вещь,— кажется, III выпуск „Эмпириомонизма“. Летом 1906 г. он мне презентовал ее, и я засел внимательно за нее. Прочитав, озлился и взбесился необычайно: для меня еще яснее стало, что он идет архиневерным путем, не марксистским. Я написал ему тогда „объяснение в любви“, письмецо по философии в размере трех тетрадок. Выяснял я там ему, что я, конечно, *рядовой марксист* в философии, но что именно его ясные, популярные, превосходно написанные работы убеждают меня окончательно в его неправоте по существу и в правоте Плеханова. Сии тетрадочки показал я некоторым друзьям (Луначарскому в том числе) и подумывал было напечатать под заглавием: „Заметки рядового марксиста о философии“, но не собрался. Теперь жалею о том, что тогда тотчас не напечатал.

...Теперь вышли „Очерки философии марксизма“. Я прочел все статьи кроме Суворовской (ее читаю), и с каждой статьей прямо бесновался от негодования... Я себя дам скорее четвертовать, чем соглашусь участвовать в органе или в коллегии, подобные вещи проповедующей.

Меня опять потянуло к „Заметкам рядового марксиста о философии“, и я их начал писать, а Александру Александро-

вичу (Богданову) — в процессе моего чтения „Очерков“ — я свои впечатления, конечно, излагал прямо и грубо“ (Соч., т. XXVIII, стр. 528—529).

Так описывал дело Владимир Ильич Горькому.

Уже ко времени выхода первого заграничного номера „Пролетария“ (13 февраля 1908 г.) отношения с Богдановым у Ильича испортились до крайности.

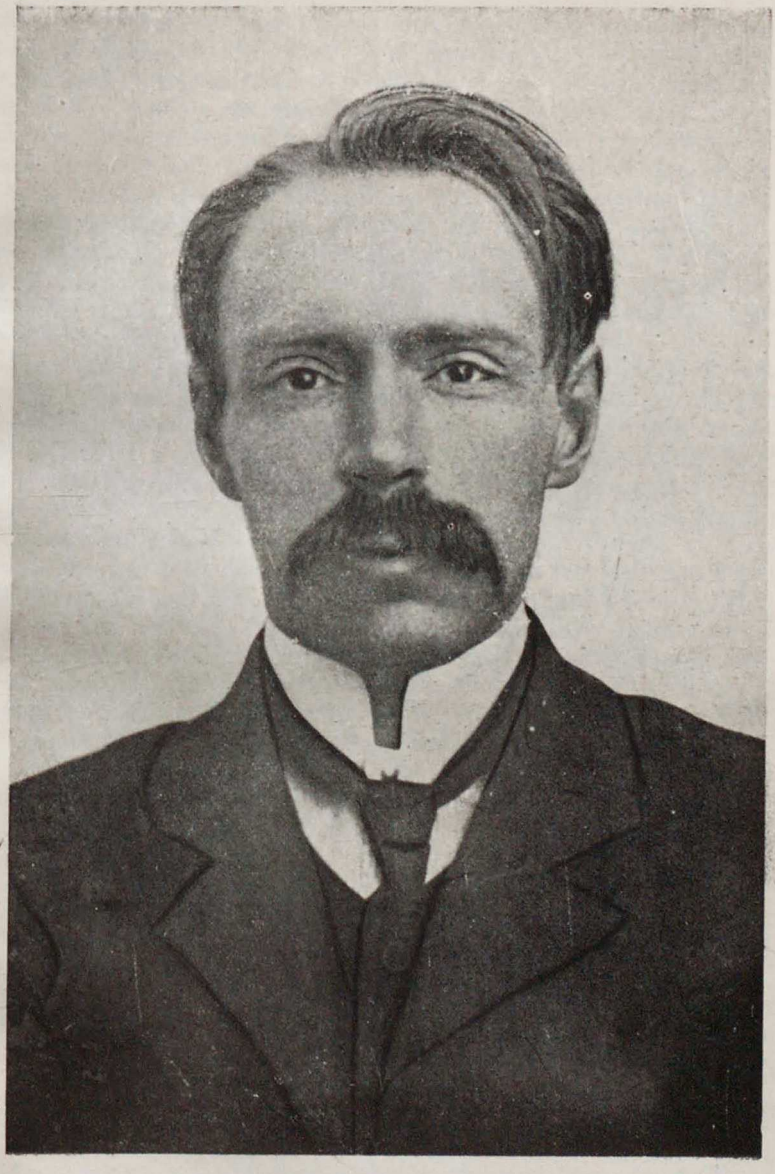
Еще в конце марта Ильич считал, что можно и нужно отделить философские споры от политической группировки во фракции большевиков. Он считал, что философские споры внутри фракции покажут лучше всего, что нельзя ставить знак равенства между большевизмом и богдановской философией.

Однако с каждым днем становилось яснее, что скоро большевистская фракция распадется.

В это тяжелое время Ильич особенно сблизился с Иннокентием (Дубровинским).

До 1905 г. мы знали Иннокентия только понаслышке. Его хвалила Дяденька (Лидия Михайловна Книпович), знавшая его по астраханской ссылке, нахваливали его самарцы (Кржижановские), но встречаться с ним не пришлось. Переписки также не было. Однажды только, когда после II съезда партии разгорелась склока с меньшевиками, получилось от него письмо, где он писал о важности сохранить партийное единство. Потом он входил в примиренческий ЦК и провалился вместе с другими цекистами на квартире у Леонида Андреева.

В 1905 г. Ильич увидал Иннокентия на работе. Он видел, как беззаветно был предан Иннокентий делу революции, как брал на себя всегда самую опасную, самую тяжелую работу — оттого и не удалось Иннокентию побывать ни на одном партийном съезде: перед каждым съездом он систематически проваливался. Видел Ильич, как решителен Иннокентий в борьбе — он участвовал в Московском восстании, был во время восстания в Кронштадте. Иннокентий не был литератором, он выступал на рабочих собраниях, на фабриках, его речи воодушевляли рабочих в борьбе, но само собой разумеется, никто их не записывал, не стенографировал. Ильич очень ценил беззаветную преданность Иннокентия делу и очень был рад его приезду в Женеву. Их многое сближало. И тот, и другой придавали громадное значение партии и считали, что необходима самая решительная борьба с ликвидаторами, толковавшими, что нелегальную партию надо ликвидировать, что она только мешает работать. И тот, и другой чрезвычайно ценили Плеханова,



Иннокентий (Дубровинский).

были рады, что Плеханов не солидаризируется с ликвидаторами. И тот, и другой считали, что Плеханов прав в области философии, и полагали что в области философских вопросов надо решительно отгородиться от Богданова, что теперь такой момент, когда борьба на философском фронте приобрела особое значение. Ильич видел, что никто так хорошо с полуслова не понимает его, как Иннокентий. Иннокентий приходил к нам обедать, и они долго после обеда обдумывали планы работы, обсуждали создавшееся положение. По вечерам сходились в кафе Ландольд и продолжали начатые разговоры. Ильич заражал Иннокентия своим „философским запоем", как он выражался. Все это сближало. Ильич в то время сильно привязался к „Иноку" (Иннокентию).

Время было трудное. В России шел развал организаций. При помощи провокатуры вылавливала полиция наиболее видных работников. Большие собрания и конференции стали невозможны. Уйти в подполье людям, которые еще недавно были у всех на виду, было не так-то просто. Весной (в апреле — мае) были арестованы на улице Каменев и Варский (польский социал-демократ, ближайший товарищ Дзержинского, Тышки и Розы Люксембург); через несколько дней на улице же был арестован Зиновьев и, наконец Н. А. Рожков (член нашего ЦК — большевик). Массы ушли в себя. Им хотелось осмыслить все происшедшее, продумать его, агитация общего характера приелась, никого уже не удовлетворяла. Охотно шли в кружки, но руководить кружками было некому. На почве этого настроения имел известный успех отзовизм. Боевые группы, оставаясь без руководства организации, действуя не на фоне массовой борьбы, а вне ее, независимо от нее, вырождались, и Иннокентию пришлось разбирать не одно тяжелое дело, возникшее на этой почве.

Горький звал Владимира Ильича на Капри, где жили тогда Богданов, Базаров и др., чтобы договориться всем вместе, но Ильич не ехал, ибо предчувствовал, что договориться нельзя. В письме от 16 апреля Ильич писал Горькому:

„Ехать мне бесполезно и вредно: разговаривать с людьми, пустившимися проповедывать соединение научного социализма с религией, я *не могу* и не буду. Время тетрадок прошло. Спорить нельзя, трепать зря нервы глупо" (там же, стр. 539).

В мае Ильич поехал все же на Капри, уступая настояниям Горького. Пробыл там буквально пару дней. Поездка не принесла, конечно, примирения с философскими взглядами Богданова. Ильич потом вспоминал, как он говорил Богданову, Ба-

зарову — придется годика на два, на три разойтись, а жена Горького, Мария Федоровна, смеясь, призвала его к порядку.

Было много народу, было шумно, суетно, играли в шахматы, катались на лодке. Ильич мало как-то рассказывал о своей поездке. Больше говорил о красоте моря и о тамошнем вине, о разговорах же на больные темы, бывших на Капри, говорил скупо: тяжеловато это ему было.

Опять засел Ильич за философию.

Вот как характеризует Владимир Ильич создавшееся положение в письме, писанном летом 1908 г. к Воровскому, товарищу по работе во „Вперед" и по работе во время революции 1905 года. Воровский жил в это время в Одессе.

„Дорогой друг! Спасибо за письмо. Ваши „подозрения" оба не верны. Я не нервничал, но положение у нас трудное. Надвигается раскол с Богдановым. Истинная причина — обида на резкую критику на рефератах (отнюдь не в редакции) его философских взглядов. Теперь Богданов выискивает всякие разногласия. Вытащил на свет божий бойкот вместе с Алексинским, который скандалит напропалую и с которым я вынужден был порвать все сношения... Они строят раскол на почве эмпириомонистической — бойкотистской. Дело разразится быстро. Драка на ближайшей конференции неизбежна. Раскол весьма вероятен. Я выйду из фракции, как только линия „левого" и истинного „бойкотизма" возьмет верх. Вас я звал, думая, что Ваш быстрый приезд поможет утихомирить. В августе нового стиля все же непременно рассчитываем на Вас, как на участника конференции. Обязательно устройте так, чтобы могли съездить за границу. Деньги вышлем на поездку всем большевикам. На местах дайте лозунг: мандаты давать только местным и только действительным работникам. Убедительно просим писать для нашей газеты. Можем платить теперь за статьи и будем платить аккуратно.

Жму Вашу руку.

Не знаете ли какого-нибудь издателя, который взялся бы издать мою философию, которую я напишу?" (там же, стр. 546).

В это время большевики получили прочную материальную базу.

Двадцатитрехлетний Николай Павлович Шмидт, племянник Морозова, владелец мебельной фабрики в Москве на Пресне, в 1905 г. целиком перешел на сторону рабочих и стал большевиком. Он давал деньги на „Новую Жизнь", на вооружение, сблизился с рабочими, стал их близким другом. Полиция назы-

вала фабрику Шмидта „чортовым гнездом“. Во время Московского восстания эта фабрика сыграла крупную роль. Николай Павлович был арестован, его всячески мучили в тюрьме, возили смотреть, что сделали с его фабрикой, возили смотреть убитых рабочих, потом зарезали его в тюрьме. Перед смертью он сумел передать на волю, что завещает свое имущество большевикам.

Младшая сестра Николая Павловича — Елизавета Павловна Шмидт — доставшуюся ей после брата долю наследства решила передать большевикам. Она, однако, не достигла еще совершеннолетия, и нужно было устроить ей фиктивный брак, чтобы она могла располагать деньгами по своему благоусмотрению. Елизавета Павловна вышла замуж за т. Игнатьева, работавшего в боевой организации, но сохранившего легальность, числилась его женой — могла теперь с разрешения мужа распоряжаться наследством, но брак был фиктивным. Елизавета Павловна была женой другого большевика, Виктора Таратуты. Фиктивный брак дал возможность сразу же получить наследство, деньги переданы были большевикам. Вот почему и говорил Ильич так уверенно о том, что „Пролетарий“ будет платить за статьи, и делегатам будут высланы деньги на дорогу.

Виктор Таратута летом приехал в Женеву, стал помогать в хозяйственных делах и вел переписку с другими заграничными центрами в качестве секретаря Заграничного бюро Центрального комитета.

Понемногу налаживались связи с Россией, завязывалась переписка, но времени у меня было все же очень много свободного. Чувствовалось, что долго придется еще жить за границей, и я решила взяться за изучение вплотную французского языка, чтобы примкнуть к работе местной социал-демократической партии. Поступила на курсы французского языка, которые устраивались летом для иностранцев-педагогов, преподавателей французского языка, при Женевском университете. Понаблюдала иностранных педагогов, поучилась на курсах не только французскому языку, но и швейцарскому уменью деловито, напряженно, добросовестно работать.

Ильич, устав от работы над своей философской книжкой, брал мои французские грамматики и книжки по истории языка, по изучению особенностей французской речи и часами читал их, лежа в постели, пока не придут в покой нервы, взвинченные философскими спорами.

Стала я также изучать постановку школьного дела в Женеве. Впервые я поняла, что такое буржуазная „народная“ школа.

Смотрела, как в прекрасных зданиях, с большими светлыми окнами, воспитывались из детей рабочих послушные рабы. Наблюдала, как в одном и том же классе учителя бьют, дают затрещины ребятам рабочих и оставляют в покое детей богатых, как душат всякую самостоятельную мысль ребенка, как все заполняет мертвая зубрежка и как на каждом шагу внушается ребятам преклонение перед силой, богатством. Никогда не могла представить себе ничего подобного в демократической стране. Подробно рассказывала я Ильичу о своих впечатлениях. Он внимательно слушал.

В первую эмиграцию — до 1905 г. — внимание Ильича, когда он наблюдал окружающую заграничную жизнь, приковывалось главным образом к рабочему движению, его особенно интересовали рабочие собрания, демонстрации и пр. У нас в России этого не было до отъезда Ильича за границу в 1901 году. Теперь, после революции 1905 г., после пережитого колоссального подъема рабочего движения в России, борьбы партий, после опыта Думы и особенно после возникновения Советов рабочих депутатов, наряду с интересом к формам рабочего движения, Ильич особенно стал интересоваться и тем, что же такое представляет из себя по сути дела буржуазная демократическая республика, какова в ней роль рабочих масс, как велико в ней влияние рабочих, как велико влияние других партий.

Мне запомнилось, каким полуудивленным, полупрезрительным тоном передавал Ильич слова швейцарского депутата, говорившего (в связи с арестом Семашко), что республика их существует сотни лет, и она не может допустить нарушения прав собственности.

„Борьба за демократическую республику“ была пунктом нашей тогдашней программы, буржуазная демократическая республика стала для Ильича особо ярко теперь вырисовываться как более утонченное, чем царизм, но все же как несомненное орудие порабощения трудящихся масс. Организация власти в демократической республике всячески способствовала тому, что вся жизнь насквозь пропиталась буржуазным духом.

Мне думается, не пережив революции 1905 г., не пережив второй эмиграции, Ильич не смог бы написать свою книгу „Государство и революция“.

Развернувшаяся дискуссия по философским вопросам требовала скорейшего выпуска той философской книжки, которую начал писать Ильич*. Ильичу надо было достать некоторые

* „Материализм и эмпириокритицизм“ (Соч., т. XIII). *Ред.*

материалы, которых не было в Женеве, да и склочная эмигрантская атмосфера здорово мешала Ильичу работать, поэтому он поехал в Лондон, чтобы поработать там в Британском музее и докончить начатую работу.

Во время его отсутствия был объявлен реферат Луначарского. На нем выступал Иннокентий. Ильич прислал тезисы, в которые Иннокентий внес свои поправки. Он очень волновался перед выступлением, сидел у нас целыми днями, обложившись книгами, делал выписки. Выступил он удачно, заявил от имени своего и Ленина, что большевизм ничего общего не имеет с философским направлением Богданова (эмпириомонизмом), что он и Ленин являются сторонниками диалектического материализма и солидаризируются с Плехановым.

Хотя реферат читал Луначарский, но главным защитником эмпириокритицизма на этом реферате был Богданов, и он особо резко напал на Инока. Он хорошо знал Инока, знал, что Инок был за открытую, прямую борьбу на философском фронте, знал, как присуще было Иноку чувство революционной чести, и, возражая ему, он старался ударить по чувству. „Выехал,— говорил он про докладчика,— рыцарь в венке из роз, но ему был нанесен удар сзади". Этот выпад не смутил, конечно, Инока. Подробно рассказал он о реферате Ильичу, вернувшемуся вскоре из Лондона.

Своей поездкой в Лондон Ильич был доволен — удалось собрать нужный материал, его подработать.

Вскоре по возвращении Ленина, 24 августа, состоялся пленум Центрального комитета. На пленуме ЦК было решено ускорить созыв партийной конференции. Организовывать конференцию поехал в Россию Иннокентий. К этому времени ярко уже стала выявляться и крепнуть линия ликвидаторства, охватившая широкие слои меньшевиков. Ликвидаторы хотели ликвидировать партию, ее нелегальную организацию, которая вела, по их мнению, только к провалам; они хотели держать курс на легальную и только легальную деятельность в профессиональных союзах, разных обществах и пр. В условиях реакции это был полный отказ от всякой революционной деятельности, отказ от руководства, сдача всех позиций. С другой стороны, в рядах большевистской фракции ультиматисты и отзовисты ударялись в противоположную крайность: они были против участия не только в Думе, но и в культурно-просветительных обществах, в клубной работе, в школах и легальных профессиональных союзах, в страховых кассах. Они совершенно отходили от широкой работы в массах, от руководства ими.

Иннокентий и Ильич не мало толковали между собой по поводу необходимости сочетать партийное руководство (для чего необходимо было сохранить во что бы то ни стало нелегальный аппарат) с широкой работой в массах. На очереди стояла подготовка партийной конференции, на почве выборов на нее надо было вести широкую агитацию против ликвидаторства и справа и слева.

Инок и поехал в Россию, чтобы провести все это в жизнь. Он поселился в Питере, наладил там работу цекистской пятерки, куда входил и он, Мешковский (Гольденберг), меньшевик М. И. Бройдо, представитель Бунда, представитель латышей. Наладил Инок бюро, куда входил между прочим Голубков, бывший потом делегатом от Бюро ЦК на партийной конференции. Сам Инок на конференцию, состоявшуюся в декабре 1908 г., не попал, недели за две до конференции он собрался ехать за границу, но был арестован на Варшавском вокзале и сослан в Вологодскую губернию.

О поездке Иннокентия в Россию полиция оказалась очень хорошо осведомлена. Несомненно, о поездке Иннокентия сообщил Департаменту полиции Житомирский. Кроме того, к работе Бюро ЦК, которое сорганизовал Иннокентий, была привлечена жена депутата II Думы Серова—„Люся". Эта „Люся", как вскоре оказалось, была провокаторшей.

Ильич закончил свою философскую книжку в сентябре, уже после отъезда Иннокентия в Россию. Вышла она много позже, лишь в мае 1909 года.

Мы было обосновались окончательно в Женеве.

Приехала моя мать, и мы устроились по-домашнему—наняли небольшую квартиру, завели хозяйство. Внешне жизнь как бы стала входить в колею. Приехала из России Мария Ильинишна, стали приезжать и другие товарищи. Помню, приезжал т. Скрыпник, изучавший в то время вопросы кооперации. Я ходила вместе с ним в качестве переводчицы к швейцарскому депутату Сиггу (ужасному оппортунисту),—говорил с ним т. Скрыпник о кооперации, но разговор дал очень мало, ибо у Сигга и у Скрыпника был разный подход к вопросу о кооперации. Скрыпник подходил с точки зрения революционера, Сигг же ничего не видел в кооперации, кроме хорошо налаженной „купцовой лавочки".

Приехали из России Зиновьев и Лилина. У них родился сынишка, занялись они семейным устройством. Приехал Каменев с семьей. После Питера все тосковали в этой маленькой тихой мещанской заводи—Женеве. Хотелось перебраться в крупный

центр куда-нибудь. Меньшевики, эсеры перебрались уже в Париж. Ильич колебался: в Женеве-де жить дешевле, лучше заниматься. Наконец, приехали из Парижа Лядов и Житомирский и стали уговаривать ехать в Париж. Приводились разные доводы: 1) можно будет принять участие во французском движении, 2) Париж большой город—там будет меньше слежки. Последний аргумент убедил Ильича. Поздней осенью стали мы перебираться в Париж.

В Париже пришлось провести самые тяжелые годы эмиграции. О них Ильич всегда вспоминал с тяжелым чувством. Не раз повторял он потом: „И какой чорт понес нас в Париж!“ Не чорт, а потребность развернуть борьбу за марксизм, за ленинизм, за партию в центре эмигрантской жизни. Таким центром в годы реакции был Париж.

ПАРИЖ

1909—1910 гг.

В половине декабря двинулись мы в Париж. 21-го должна была состояться там совместная с меньшевиками партийная конференция. Все мысли Владимира Ильича были поглощены этой конференцией. Надо было дать правильную оценку моменту, выравнять партийную линию—добиться, чтобы партия осталась партией класса, осталась авангардом, умеющим даже в самые трудные времена не оторваться от низов, от масс, помочь им преодолеть все трудности, организоваться для новых боев. Надо было дать отпор ликвидаторам. С русскими организациями связи были слабы, конференция не могла рассчитывать на особую поддержку русских организаций (из россиян приехали на конференцию только пара москвичей: с Урала был Батурин да на второй день приехал из Питера член III Думы Полетаев). Отзовисты организовывались особо и нервничали во-всю. Меньшевики собрали перед партийной конференцией съезд своих заграничных групп в Базеле, где принят был ряд раскольнических резолюций. Атмосфера была накалена.

Владимир Ильич смотрел отсутствующими глазами на всю нашу возню с домашним устройством в новом логовище: не до того ему было. Квартира была нанята на краю города, около самого городского вала, на одной из прилегающих к Авеню д'Орлеан улиц, на улице Бонье, недалеко от парка Монсури. Квартира была большая, светлая и даже с зеркалами над каминами (это было особенностью новых домов). Была там комната для моей матери, для Марьи Ильиничны, которая приехала в это время в Париж, наша комната с Владимиром Ильичем и приемная. Но эта довольно шикарная квартира весьма мало соответствовала нашему жизненному укладу и нашей привезенной из Женевы „мебели". Надо было видеть, с каким презрением глядела консьержка на наши белые столы, простые стулья и табуретки. В нашей „приемной" стояла лишь пара стульев да маленький столик, было неуютно до крайности.

На мою долю сразу выпало много всякой хозяйственной возни. В Женеве все хозяйственные дела улаживались гораздо проще, а тут пошла какая-то канитель: газ надо было открыть, так пришлось раза три ездить куда-то в центр, чтобы добиться соответствующей бумажки. Бюрократизм во Франции чудовищный. Чтобы получить книжки из коммунальной библиотеки, надо было поручительство домохозяина, а он—ввиду нашей убогой обстановки—не решался за нас поручиться. С хозяйством на первых порах была большая возня. Хозяйка я была плохая—только Владимир Ильич да Инок были другого мнения, а люди, привыкшие к заправскому хозяйству, весьма критически относились к моим упрощенным подходам.

В Париже жилось очень толкотливо. В то время в Париж стягивалась отовсюду эмигрантская публика. Ильич сидел мало дома в этот год. До поздней ночи просиживала наша публика в кафе. Особым любителем кафе был Таратута. Понемногу втянулись и другие.

На декабрьской партийной конференции после больших споров наметилась все же общая линия. „Социал-Демократ" должен был стать общим органом. На пленуме, состоявшемся после конференции, была выбрана новая редакция „Социал-Демократа": Ленин, Зиновьев, Каменев, Мартов, Мархлевский. В течение года выпустили девять номеров. Мартов в новой редакции был в одиночестве, он часто забывал о своем меньшевизме. Помню, как однажды Владимир Ильич с довольным видом говорил, что с Мартовым хорошо работать, что он на редкость талантливый журналист. Но это было, пока не приехал Дан.

Что касается положения внутри большевистской фракции, то с отзовистами отношения обострялись все больше и больше. Отзовисты выступали очень напористо. В конце февраля отношения с ними порваны были окончательно. Года три шла перед этим с Богдановым и богдановцами работа рука об руку,—не просто работа, а совместная борьба. Совместная борьба сближает так, как ничто. Ильич же имел еще ту особенность, что умел, как никто, увлекать людей своими идеями, заражать их своей страстностью и в то же время он умел будить в них их лучшие стороны, брать от них то, чего не могли взять другие. В каждом из товарищей по работе была как бы частица Ильича—потому, может быть, он чувствовался таким близким. Разгоравшаяся внутрифракционная борьба здорово трепала нервы. Помню, пришел раз Ильич после каких-то разговоров с отзовистами домой, лица на нем нет, язык даже черный какой-то стал. Решили мы, что поедет он на недельку в Ниццу, отдох-

нет там вдали от сутолоки, посидит на солнышке. Поехал, отошел.

Заниматься в Париже было очень неудобно. Национальная библиотека была далеко. Ездил туда Владимир Ильич обычно на велосипеде, но езда по такому городу, как Париж, не то, что езда по окрестностям Женевы,—требует большого напряжения. Ильич очень уставал от этой езды. На обеденный перерыв библиотека закрывалась. С выпиской нужных книг была также большая бюрократическая канитель. Ильич на чем свет ругал Национальную библиотеку, а попутно и Париж. Написала я письмо французскому профессору, который преподавал летом на женевских курсах французского языка, прося указать другие хорошие библиотеки. Моментально получила ответ, где были все нужные справки; Ильич обошел все указанные библиотеки, но нигде не приспособился. В конце концов, у него украли велосипед. Он оставлял его на лестнице соседнего с Национальной библиотекой дома, платя за это консьержке 10 сантимов, но, придя однажды за велосипедом, его не нашел. Консьержка заявила, что она не бралась стеречь велосипед, а разрешала только его ставить на лестницу.

С ездой на велосипедах в Париже и под Парижем нужна была большая осторожность. Раз Ильич по дороге в Жювизи попал под автомобиль, еле успел соскочить, а велосипед был совершенно изломан.

Приехал бежавший из Сольвычегодска Инок. Житомирский предложил ему любезно поселиться в его квартире. Инок приехал совсем больной: ему кандалы, когда он шел в ссылку, так натерли ноги, что на ногах образовались раны. Посмотрели наши врачи ногу Иннокентия и наговорили всякой всячины. Ильич поехал посоветоваться к французскому профессору Дюбуше, прекрасному хирургу, работавшему в качестве врача во время революции 1905 г. в России, в Одессе. Ильич ездил к Дюбуше с Наташей Гопнер, которая знала его по Одессе. Услышав, каких страстей наговорили наши товарищи-врачи Иноку, Дюбуше расхохотался. „Ваши товарищи-врачи хорошие революционеры, но как врачи—они ослы!“ Ильич хохотал до слез и потом часто повторял эту характеристику. Все же Иноку пришлось долго лечить ногу.

Ильич очень обрадовался приезду Инока. Оба они торжествовали, что Плеханов стал отмежевываться очень решительно от ликвидаторов. Плеханов заявил уже о своем выходе из редакции „Голоса Социал-Демократа“, где верх взяли ликвидаторы, еще в декабре 1908 г., потом взял это заявление обратно, но все

время у него отношения с ликвидаторами обострялись, и когда вышел в 1909 г. первый том меньшевистского сборника „Общественное движение в России в начале XX века“, где была помещена статья Потресова, в которой он отрицал ведущую роль пролетариата в буржуазно-демократической революции, Плеханов окончательно вышел 26 мая из редакции „Голоса“. И Ильич и Инок надеялись еще, что возможна будет с Плехановым совместная работа. Более молодое поколение не испытывало к Плеханову того чувства, как старшее поколение марксистов, в жизни которых Плеханов сыграл решающую роль. Борьбу на философском фронте Ильич и Инок принимали близко к сердцу. Для них обоих философия была орудием борьбы, была органически связана с вопросом расценки всех явлений с точки зрения диалектического материализма, с вопросами практической борьбы по всем линиям. Ильич торопил Анну Ильиничну с изданием книжки, писал ей в Россию. Намечалось расширенное заседание редакции „Пролетария“, где предполагалось окончательно размежеваться также с отзовистами. „У нас дела печальны,—писал Владимир Ильич сестре Анне Ильиничне 26 мая:—Spaltung (раскол), верно, будет; надеюсь через месяц, полтора дать тебе об этом точные сведения“ („Письма к родным“, Гиз, 1931 г., стр. 343).

В мае вышла книжка Ильича „Материализм и эмпириокритицизм“. Все точки были поставлены над і. Вопросы философии на Ильича неразрывно были связаны с вопросами борьбы с религией. Вот почему Ильич в мае прочел в клубе „Пролетария“ реферат на тему „Религия и рабочая партия“, написал для № 45 „Пролетария“ статью „Об отношении рабочей партии к религии“ и для № 6 „Социал-Демократа“ „Классы и партия в их отношении к религии и церкви“. Эти статьи, особенно статья в „Пролетарии“, имеют значение и по сию пору. В них со всей силой подчеркивается классовый характер религии, указывается на то, что в руках буржуазии религия—средство отвлекать массы от классовой борьбы, туманить их сознание. Нельзя проходить пассивно мимо этого фронта борьбы, недооценивать его. Но нельзя подходить к этому вопросу упрощенно, надо вскрывать социальные корни религии, брать вопрос во всей его сложности.

Вред религии понял Ильич еще пятнадцатилетним мальчиком. Сбросил с себя крест, перестал ходить в церковь. В те времена это было не так просто, как теперь.

Но особо вредной считал Ленин утонченную религию, очищенную от разных несуразиц, бросающихся всякому в глаза,

очищенную от внешних рабских форм. Такая утонченная религия способна сильнее влиять. Такой утонченной религией считал он богостроительство, попытки выдумать какую-то новую религию, новую веру.

В июне стали понемногу съезжаться уже делегаты на расширенную редакцию „Пролетария". Расширенной редакцией „Пролетария" назывался по сути дела большевистский центр, куда в то время входили также и впередовцы.

Приехал из Москвы Голубков (Давыдов), партийный работник, работавший в России в Бюро ЦК под руководством Иннокентия и присутствовавший на парижской партийной конференции 1908 года. Приехал Шулятиков (Донат), депутат Думы Шурканов (он оказался потом провокатором). Последний, впрочем, не на совещание. По французскому обычаю пошли наши с ними в кафе. Шурканов дул пиво кружку за кружкой, пил и Шулятиков. Но Шулятикову пить нельзя было, у него был наследственный алкоголизм. Пиво вызвало у него острый нервный припадок. Выйдя из кафе, он вдруг бросился с палкой на Шурканова. Еле справились с ним Иннокентий и Голубков. Привели к нам. Я осталась с ним сидеть, пока они пошли отыскивать доктора и комнату, где бы его поселить за городом. Нашли комнату в Фонтеней-о-Роз, где жили Семашко и Владимирский.

Часа два просидела я с больным Шулятиковым в нашей пустой „приемной". Он нервно метался, вскакивал, ему все виделась его повешенная сестра. Приходилось его успокаивать, отвлекать его мысли, держать его руку. Как только выпускала его руку, так начинал он метаться. Еле дождалась прихода Иннокентия и Голубкова, которые пришли за ним.

В заседании расширенной редакции „Пролетария" принимали участие члены редакции—Ленин, Зиновьев, Каменев, Богданов, представители местных большевистских организаций—Томский (Петербург), Шулятиков (Москва), Накоряков (Урал); члены ЦК—Иннокентий, Рыков, Гольденберг, Таратута и Марат (Шанцер). Кроме того, на совещании присутствовали Скрыпник (Щур), Любимов (Зоммер, Марк), Полетаев (член III Государственной думы) и Давыдов-Голубков. Заседания расширенной редакции происходили с 4 по 13 июля.

Были приняты резолюции об отзовистах-ультиматистах, за единство партии, против специально-большевистского съезда. Особо стоял вопрос о Каприйской школе. Богданов ясно видел, что большевистская фракция неизбежно распадется, и заранее подбирал, организовывал свою фракцию. Богданов, Алексинский,

Горький и Луначарский организовали на Капри высшую социал-демократическую пропагандистскую школу для рабочих. Учеников для школы подбирал в России рабочий Вилонов—крепких, надежных. Они приехали учиться. Рабочие после пережитой революции остро ощущали необходимость теоретической подготовки, да и время было такое, когда непосредственная борьба замерла. Они ехали учиться, но для всякого искушенного в партийной работе было ясно, что школа на Капри заложит основы новой фракции. И совещание расширенной редакции „Пролетария" осудило эту организацию новой фракции. Богданов заявил о своем неподчинении решениям совещания и был исключен из большевистской фракции. На его защиту встал Красин. Большевистская фракция распадалась.

Весной, еще до заседания расширенной редакции „Пролетария", очень серьезно захворала Марья Ильинишна. Ильич ужасно волновался. Но удалось во-время захватить болезнь, сделать операцию. Операцию делал Дюбуше. Поправка, однако, шла медленно. Надо было отдохнуть где-нибудь вне Парижа, на лоне природы.

Совещание взяло не мало сил у Ильича, и после совещания необходимо было поехать и ему куда-нибудь пожить на травке, туда, где не было эмигрантской склоки и сутолоки.

Ильич стал просматривать французские газеты, отыскивая объявления о дешевых пансионах. Нашел такой пансион в деревушке Бонбон, в департаменте Сены и Луары, где за четверых надо было платить лишь 10 франков в день. Оказалось все очень удобно. Мы прожили там около месяца.

В Бонбоне Ильич не занимался и о делах мы старались не говорить. Ходили гулять, гоняли чуть не каждый день на велосипедах в Кламарский лес за 15 километров. Наблюдали также французские нравы. В пансионе, в котором мы поселились, жили разные мелкие служащие, продавщица из большого модного магазина с мужем и дочкой, камердинер какого-то графа и т. п. Небезынтересно было наблюдать эту обывательскую публику, насквозь проникнутую мелкобуржуазной психологией. С одной стороны, это была публика архипрактическая, смотревшая, чтобы кормили сытно и чтобы все было устроено удобно. С другой стороны, у всех них было стремление походить на настоящих господ. Особо типична была мадам Лагуретт (так звали продавщицу), явно прошедшая огонь, воду и медные трубы, сыпавшая двусмысленными анекдотами и в то же время мечтавшая, как она поведет к первому причастию свою дочку Марту, как это будет трогательно и т. д., и т. п. Конечно, в большом количестве

это мещанство надоедало. Хорошо было, что можно было жить обособленно, по-своему. В общем отдохнул в Бонбоне Ильич не плохо.

Осенью мы переменили квартиру, поселились в тех же краях, на глухой улочке Мари-Роз, две комнаты и кухня, окна выходили в какой-то сад. „Приемной“ нашей теперь была кухня, где и велись все задушевные разговоры. С осени у Владимира Ильича было рабочее настроение. Он завел „прижим“, как он выражался, вставал в 8 часов утра, ехал в Национальную библиотеку, возвращался в 2 часа. Много работал дома. Я усиленно его охраняла от публики. У нас всегда бывало много народу, была толчея непротолченая, особенно теперь, когда благодаря реакции, тяжелейшим условиям работы в России, русская эмиграция быстро росла. Приезжали из России, с воодушевлением рассказывали, что там делается, потом публика быстро как-то увядала. Засасывала эмигрантщина, забота о заработке, о житейских мелочах.

Осенью ученики Каприйской школы приглашали Ильича приехать на Капри читать лекции. Ильич категорически отказался, объясняя им фракционный характер школы, и звал в Париж. Внутри Каприйской школы стала разгораться фракционная борьба. В начале ноября пятеро учеников (всего их было двенадцать) Каприйской школы, в том числе Вилонов, организатор школы, оформились уже как определенные ленинцы и были исключены из школы. Этот факт как нельзя лучше характеризовал, как прав был Ильич, указывая на фракционный характер школы. Исключенные ученики приехали в Париж. Помню первую встречу с Вилоновым. Начал он рассказывать о своей работе в Екатеринославе. Из Екатеринослава нам часто писал раньше корреспонденции какой-то рабочий, подписывавшийся „Миша Заводский“. Корреспонденции были очень хороши, касались самых животрепещущих вопросов партийной и заводской жизни. „Не знаете ли вы Мишу Заводского?“—спросила я Вилонова. „Да это я и есть“,—ответил он. Это сразу настроило Ильича дружески к Михаилу, и они долго проговорили в тот день. А вечером того же дня Ильич писал Горькому: „Дорогой Алексей Максимыч! Я был все время в полнейшем убеждении, что Вы и т. Михаил—самые твердые фракционеры новой фракции, с которыми было бы нелепо мне пытаться поговорить по-дружески. Сегодня увидал в первый раз т. Михаила, покалякал с ним по душам и о делах, и о Вас, и увидел, что ошибался жестоко. Прав был философ Гегель, ей-богу: жизнь идет вперед противоречиями, и живые противоречия во много раз

богаче, разностороннее, содержательнее, чем уму человека сперва начала кажется. Я рассматривал школу *только* как центр новой фракции. Оказалось, это неверно—не в том смысле, чтобы она не была центром новой фракции (школа была этим центром и состоит таковым сейчас), а в том смысле, что это неполно, что это не вся правда. Субъективно некие люди делали из школы такой центр, объективно была она им, а кроме того школа черпнула из настоящей рабочей жизни настоящих рабочих передовиков". И какой страстной верой в силы рабочего класса дышит конец этого письма, где Ильич пишет о том, что рабочему классу приходится выковывать партию из разнородных и разнокалиберных элементов. „Выкует во всяком случае, выкует превосходную революционную социал-демократию в России, выкует скорее, чем кажется иногда с точки зрения треклятого эмигрантского положения, выкует вернее, чем представляется, если судить по некоторым внешним проявлениям и отдельным эпизодам. Такие люди, как Михаил, тому порукой" (Соч., т. XIV, стр. 186 и 189).

Вместе с Михаилом приехало еще пять учеников Каприйской школы. Среди них особо выдавался „Ваня-Казанец" (Панкратов) своей активностью и прямолинейностью. Он резче всех был настроен против Каприйской школы. Были еще Люшвин (Пахом), Козырев (Фома), Устинов (Василий), Романов (Аля Алексинский). Ильич читал приехавшим лекции очень усердно. Ученики уехали в Россию. У Михаила был туберкулез легких, нажитый им в Николаевских арестантских ротах, где его всячески истязали. Михаила устроили в Давос. Недолго он прожил там, умер 1 мая 1910 года.

В конце декабря приехали в Париж по окончании занятий на Капри и остальные ученики—и им читал Ильич лекции. Он говорил им о текущем моменте, о столыпинской реформе и его курсе на „крепкого" крестьянина, о ведущей роли пролетариата и о думской фракции. Кто-то из каприйцев, по словам т. Козырева, бывшего тогда в числе учеников, пытался вначале уличить Ильича в том, что он теперь ставит работу Государственной думы выше агитации в войсках. Ильич улыбнулся и заговорил о важности думской работы. Конечно, он нисколько не думал, что нужно в какой-нибудь мере ослаблять работу в войсках, но считал, что ее нужно как можно глубже законспирировать. Об этой работе надо было не говорить, а делать ее. Как раз в это время пришло письмо из Тулона от группы моряков социал-демократов с крейсера „Слава", которые просили литературу и особенно человека, который помогал бы вести

революционную работу среди моряков. Ильич направил туда одного товарища, знавшего хорошо условия конспиративной работы, который и поселился в Тулоне. Ильич ни словом об этом не обмолвился, конечно, ученикам.

Живя мыслью в России, Ильич в то же время внимательно изучал и французское рабочее движение. Французская социалистическая партия была в то время насквозь оппортунистической. Например, весной 1909 г. происходила громадная стачка почтарей. Весь город был взволнован, а партия стояла в стороне: это-де дело профессиональных союзов, а не наше. Нам, россиянам, это разделение труда, это самоустранение партии от участия в экономической борьбе казалось прямо чудовищным.

Особенно внимательно наблюдал Ильич предвыборную кампанию. В ней все тонуло в личной склоке, взаимных разоблачениях, политические вопросы отодвигались на задний план. Актуальные вопросы политической жизни не обсуждались почти совершенно. Только некоторые собрания были интересны. На одном из них я видела Жореса, его громадное влияние на толпу, но его выступление мне не понравилось—слишком уже рассчитано было каждое слово. Больше понравилось выступление Вайяна. Старый коммунар, он пользовался особой любовью рабочих. Запомнилась фигура высокого рабочего, пришедшего с работы с еще засученными рукавами. С глубочайшим вниманием слушал этот рабочий Вайяна. „Вот он, наш старик, как говорит!“—воскликнул он. И с таким же восхищением смотрели на Вайяна двое подростков, сыновей рабочего. Но не везде ведь выступали Жоресы и Вайяны. А рядовые ораторы крутили, приспособлялись к аудитории, в рабочей аудитории говорили одно, в интеллигентской другое. Посещение французских предвыборных собраний дало яркую картину, что такое выборы в „демократической республике“. Со стороны это прямо поражало. Поэтому так нравились Ильичу песни революционных шансонеточников, высмеивавших выборную кампанию. Помню одну песенку, в которой описывалось, как депутат ездит собирать голоса в деревню, выпивает вместе с крестьянами, разводит им всякие турусы на колесах, и подвыпившие крестьяне выбирают его и подпевают: „T'as ben dit, mon ga! (правильно, парень, говоришь!)“. А затем, заполучив голоса крестьян, депутат начинал получать 15 тысяч франков депутатского жалованья и предавал в палате депутатов их крестьянские интересы.

К нам приходил как-то депутат французской палаты, социалист Дюма, рассказывал, как он объезжал перед выборами деревни, и невольно вспоминались шансонеточники. Самым видным из

шансонеточников был Монтегюс, сын коммунара, любимец фобуров (рабочих окраин). В его песнях была какая-то смесь мелкобуржуазной сентиментальности с подлинной революционностью.

Любил Ильич ходить в театр на окраины города, наблюдать рабочую толпу. Помню, мы ходили раз смотреть пьесу, описывающую истязания штрафных солдат в Марокко. Интересен был зрительный зал: больно уж непосредственно реагировали на все наполнявшие театр рабочие. Спектакль еще не начался. Вдруг весь театр в такт завопил: „Шляпа! Шляпа!“ Оказалось, в театр вошла какая-то дама в высокой модной шляпе с перьями. Это публика требовала, чтобы дама сняла шляпу, ей пришлось подчиниться. Начался спектакль. В пьесе солдата берут и отправляют в Марокко, а его мать и сестра остаются в нищете. Хозяин квартиры согласен освободить их от платы за квартиру, если сестра солдата станет его наложницей. „Скотина! Собака!“— несется со всех сторон. Я не помню уже подробно содержания пьесы. Изображено там было, как мучают в Марокко неподчиняющихся начальству солдат. Кончалась пьеса восстанием и пением „Интернационала“. Эту пьесу запрещали играть в центре, но на окраинах Парижа ее играли, и она вызывала бурю аплодисментов. В 1910 г. в связи с авантюрой в Марокко была стотысячная демонстрация протеста. Мы ходили ее смотреть. Демонстрация происходила с разрешения полиции. Ее возглавляли депутаты—представители социалистической партии, перевязанные красными шарфами. Рабочие были очень воинственно настроены, грозили кулаками, проходя мимо богатых кварталов, кое-где спешно закрывали в этих домах ставни, но прошла демонстрация как нельзя более мирно. Не походила эта демонстрация на демонстрацию протеста.

Владимир Ильич через Шарля Раппопорта связался с Лафаргом, зятем Маркса, испытанным борцом, мнение которого он особенно ценил. Поль Лафарг вместе с своей женой, Лаурой, дочерью Маркса, жили в Дравейль, в 20—25 верстах от Парижа. Они уже отошли от непосредственной работы. Помню, раз ездили мы с Ильичем на велосипедах к Лафаргам. Лафарги встретили нас очень любезно. Владимир стал разговаривать с Лафаргом о своей философской книжке, а Лаура Лафарг повела меня гулять по парку. Я очень волновалась—дочь ведь это Маркса была передо мной; жадно вглядывалась я в ее лицо, в ее чертах искала невольно черты Маркса. В смущении я лопотала что-то нечленораздельное об участии женщин в революционном движении, о России; она отвечала, но разговора настоящего как-то не вышло. Когда мы вернулись, Лафарг и Ильич

говорили о философии. „Скоро он докажет,—сказала Лаура про мужа,—насколько искренни его философские убеждения", и они как-то странно переглянулись. Смысл этих слов и этого взгляда я поняла, когда узнала в 1911 г. о смерти Лафаргов. Они умерли, как атеисты, покончив с собой, потому что пришла старость и ушли силы, необходимые для борьбы.

1910 год начался расширенным пленумом Центрального комитета. Еще на расширенном заседании редакции „Пролетария" были приняты резолюции за единство партии, против специального большевистского съезда. Эту линию вел Ильич и сплотившаяся вокруг него группа товарищей и на пленуме Центрального комитета. В период реакции существование партии, смело говорившей всю правду хотя бы из подполья, было особо важно. Это было время, когда реакция громила партию, когда партию захлестывала оппортунистическая стихия, когда важно было удержать во что бы то ни стало знамя партии. У ликвидаторов в России был свой сильный легальный оппортунистический центр. Партия была нужна, чтобы противостоять ему. Опыт с Каприйской школой показывал, как часто относительна, своеобразна была в то время фракционность рабочих. Важно было, чтобы был единый партийный центр, около которого сплачивались бы все социал-демократические рабочие массы. В 1910 г. шла борьба за самое существование партии, за влияние через партию на рабочие массы. Владимир Ильич не сомневался, что внутри партии большевики будут в большинстве, что партия в конце концов пойдет по большевистскому пути, но это должна была быть партия, а не фракция. Эту линию проводил Ильич и в 1911 г., когда устраивалась под Парижем партийная школа, куда принимались и впередовцы, и меньшевики-партийцы. Эта линия проводилась и на пражской партийной конференции 1912 г. Не фракция, а партия, проводящая большевистскую линию. Конечно, в этой партии не было места ликвидаторам, для борьбы с которыми собирались силы. Конечно, в партии не место было тем, кто заранее решал, что не будет подчиняться постановлениям партии. Борьба за партию, однако, у ряда товарищей перерастала в примиренчество, упускавшее из виду цель объединения и соскользавшее на обывательское стремление объединить всех и вся, невзирая на то, кто за что боролся. Даже Иннокентий, стоявший целиком на точке зрения Ильича, считавший что основное, это—объединение с меньшевиками-партийцами, с плехановцами, увлеченный страстным желанием добиться сохранения партии, соскальзывал на примиренческую точку зрения. Ильич поправлял его.

В общем, единогласно были приняты резолюции. Смешно думать, что Ильича просто заголосовали примиренцы, и он сдал позиции. Пленум продолжался три недели. Ильич считал, что надо было, не сдавая ни на иоту принципиальной позиции, итти на максимальные уступки в области организационной. Фракционный большевистский орган „Пролетарий" был закрыт. Оставшиеся пятисотки сожжены. Большевистские фракционные деньги были переданы так называемым „держателям"—трем немецким товарищам: Каутскому, Мерингу и Цеткин, с тем, чтобы эти деньги выдавались ими лишь на общепартийные цели. В случае если произойдет раскол, оставшиеся деньги должны были быть возвращены большевикам. Каменев был послан в Вену, где должен был являться представителем большевиков в троцкистской „Правде". „Последнее время было у нас очень „бурное", но кончилось попыткой мира с меньшевиками",— писал Владимир Ильич Анне Ильинишне.—„Да, да, как это ни странно; закрыли фракционный орган и пробуем сильнее двинуть объединение".

В Россию поехали Инок и Ногин организовывать русскую (т. е. работавшую в России) коллегию Центрального комитета. Ногин был примиренцем, желавшим объединить все и вся, и его речи встречали отпор среди большевиков. Инок вел другую линию, но Россия не заграница, где каждое слово на виду, его слова истолковывались в ногинском смысле, об этом очень старались все небольшевики. В ЦК были кооптированы Линдов и В. П. Милютин. Инок был вскоре арестован, Линдов стоял на ногинской точке зрения, был мало активен. С русским ЦК дело было в 1910 г. хуже не надо.

За границей дело также плохо ладилось. Марк (Любимов) и Лева (Владимиров) были „примиренцами вообще", очень часто поддавались всяким россказням о склочности и нелойяльности большевиков. Марк особо много их слышал, так как входил в объединенное Заграничное бюро ЦК (ЗБЦК), где были представители всех фракций.

Впередовцы продолжали организовываться. Группа Алексинского ворвалась раз на заседание большевистской группы, собравшейся в кафе на Авеню д'Орлеан (Avenue d'Orléan). Алексинский с нахальным видом уселся за стол и стал требовать слова и, когда ему было отказано, свистнул. Пришедшие с ним впередовцы бросились на наших. Члены нашей группы Абрам Сковно и Исаак Кривой ринулись было в бой, но Николай Васильевич Сапожков (Кузнецов), страшный силач, схватил Абрама под одну мышку, Исаака—под другую, а опытный по

части драк хозяин кафе потушил огонь. Драка не состоялась. Но долго после этого, чуть не всю ночь, бродил Ильич по улицам Парижа, а вернувшись домой, не мог заснуть до утра.

„Вот и выходит так,—писал Ильич Горькому 11 апреля 1910 г.,—что „анекдотическое" в объединении сейчас преобладает, выдвигается на первый план, подает повод к хихиканью, смешкам и пр.

...Сидеть в гуще этого „анекдотического", этой склоки и скандала, маеты и „накипи" тошно; наблюдать все это—тоже тошно. Но непозволительно давать себя во власть настроению. Эмигрантщина теперь в 100 раз тяжеле, чем была до революции. Эмигрантщина и склока неразрывны.

Но склока отпадет; склока остается на $^9/_{10}$ за границей; склока—это аксессуар. А развитие партии, развитие социал-демократического движения идет и идет вперед через все дьявольские трудности теперешнего положения. Очищение социал-демократической партии от *ее* опасных „уклонений", от ликвидаторства и отзовизма *идет вперед* неуклонно; в рамках объединения оно *подвинулось значительно дальше*, чем прежде".

И далее: „Могу себе представить, как тяжело наблюдать этот тяжелый рост нового социал-демократического движения тем, кто не видал и не пережил тяжелого роста конца 80-х и начала 90-х годов. Тогда подобных социал-демократов были десятки, если не единицы. Теперь—сотни и тысячи. Отсюда—кризис и кризисы. И социал-демократия *в целом* изживает их открыто и изживет их честно" (Соч., т. XIV, стр. 269—270).

Склока вызывала стремление отойти от нее. Лозовский, напр., целиком ушел во французское профессиональное движение. Тянуло и нас поближе стать к французскому движению. Думалось, что этому поможет, если пожить во французской партийной колонии. Она была на берегу моря, недалеко от небольшого местечка Порник, в знаменитой Вандее. Сначала поехала туда я с матерью. Но в колонии у нас житье не вышло. Французы жили очень замкнуто, каждая семья держалась обособленно, к русским относились недружелюбно как-то, особенно заведующая колонией. Поближе я сошлась с одной французской учительницей. Рабочих там почти не было. Вскоре приехали туда Костицыны и Саввушка—впередовцы—и сразу вышел у них скандал с заведующей. Тогда мы все решили перебраться в Порник и кормиться там сообща. Наняли мы с матерью две комнатушки у таможенного сторожа. Вскоре приехал Ильич. Много купался в море, много гонял на велосипеде—море и морской ветер он очень любил,—весело болтал о всякой всячине

с Костицыными, с увлечением ел крабов, которых ловил для нас хозяин. Вообще к хозяевам он воспылал большой симпатией. Толстая громкоголосая хозяйка—прачка—рассказывала о своей войне с ксендзами. У хозяев был сынишка—ходил он в светскую школу, но так как мальчонка прекрасно учился, был бойким, талантливым парнишкой, то ксендзы всячески старались убедить мать отдать его учиться к ним в монастырь. Обещали стипендию. И возмущенная прачка рассказывала, как она выгнала вон приходившего ксендза: не для того она сына рожала, чтобы подлого иезуита из него сделать. Оттого так и подхваливал крабов Ильич. В Порник Ильич приехал 1 августа, а 26-го уже был в Копенгагене, куда он поехал на заседание Международного социалистического бюро и на международный конгресс. Характеризуя работу конгресса, Ильич писал: „Разногласия с ревизионистами наметились, но до выступления ревизионистов с самостоятельной программой еще далеко. Борьба с ревизионизмом отсрочена, но эта борьба придет неизбежно" (Соч., т. XIV, стр. 363). Русская делегация на конгрессе была многочисленна—20 человек: 10 социал-демократов, 7 социалистов-революционеров, 3—от профессиональных союзов. В социал-демократической группе были представители всех направлений: Ленин, Зиновьев, Каменев, Плеханов, Варский, Мартов, Мартынов; с совещательными голосами были: Троцкий, Луначарский, Коллонтай и т. д. Много было гостей. Во время конгресса состоялось совещание, в котором приняли участие Ленин, Плеханов, Зиновьев, Каменев, члены III Думы Полетаев и И. П. Покровский. На совещании было решено издавать заграничный популярный орган—„Рабочую Газету". Плеханов дипломатничал, но дал все же для первого номера статью „Наше положение".

После Копенгагенского конгресса Ильич ездил в Стокгольм повидаться с матерью и Марией Ильинишной, где и пробыл десять дней. Последний раз видел он в этот раз свою мать, предвидел он это и грустными глазами провожал уходящий пароход. Когда в 1917 г.—семь лет спустя—он вернулся в Россию, ее не было уже в живых.

Ильич, по возвращении в Париж, рассказывал, что на конгрессе удалось ему хорошо поговорить с Луначарским. К Луначарскому Ильич всегда относился с большим пристрастием—больно его уже подкупала талантливость Анатолия Васильевича. Однако вскоре в „Peuple"* появилась статья Луначарского

* Орган бельгийской социал-демократической партии, руководимой Вандервельде. *Ред.*

„Тактические течения в нашей партии", где все вопросы освещались с отзовистской точки зрения. Ильич посмотрел и промолчал, потом ответил в статье. Другие участники конгресса также давали свои оценки. В связи с международным конгрессом Троцкий поместил в „Vorwärts" анонимную статейку, где нападал всячески на большевиков и выхвалял свою венскую „Правду". Против помещения этой статьи в „Vorwärts" протестовали делегаты съезда Плеханов, Ленин, Варский. Плеханов с первых же шагов появления Троцкого за границей, еще в 1903 г., перед II съездом, враждебно настроен был против Троцкого. Перед II съездом они сердито поспорили по вопросу о популярной газете. Плеханов на Копенгагенском конгрессе безоговорочно подписал протест против выступления Троцкого, а Троцкий поднял кампанию против „Рабочей Газеты", которую стали издавать большевики, объявил ее узкофракционным органом, делал на эту тему доклад в Венском клубе, в результате чего Каменев вышел из редакции троцкистской „Правды", куда был послан работать после январского пленума. Парижские примиренцы с Марком во главе, под влиянием нападок Троцкого, подняли также кампанию против „Рабочей Газеты", боясь фракционности. Терпеть не мог Ильич расплывчатого, беспринципного примиренчества, примиренчества со всеми, с кем угодно, равнявшегося сдаче позиций в разгар борьбы.

В № 50 „Neue Zeit" за 1910 г. появились статьи Троцкого „Тенденции развития русской социал-демократии", а в № 51—статья Мартова „Прусская дискуссия и русский опыт". Владимир Ильич написал ответ „Исторический смысл внутрипартийной борьбы в России", но редакторы „Neue Zeit"—Каутский и Вурм—отклонили статью Ленина. Ответил Троцкому и Мартову Мархлевский (Карский), предварительно списавшись с Владимиром Ильичем.

В 1911 г. к нам в Париж приехал арестованный в Берлине в начале 1908 г. с чемоданом с динамитом т. Камо. Он просидел в немецкой тюрьме более 1½ лет, симулировал сумасшедшего, потом в октябре 1909 г. был выдан России, отправлен в Тифлис, где просидел в Метехском замке еще 1 год и 4 месяца. Был признан безнадежно больным психически и переведен в Михайловскую психиатрическую больницу, откуда бежал, а потом нелегально, прячась в трюме, поехал в Париж потолковать с Ильичем. Он страшно мучился тем, что произошел раскол между Ильичем, с одной стороны, и Богдановым и Красиным—с другой. Он был горячо привязан ко всем троим. Кроме того,

Камо.

он плохо ориентировался в сложившейся за годы его сиденья обстановке. Ильич ему рассказывал о положении дел.

Камо попросил меня купить ему миндалю. Сидел в нашей парижской гостиной-кухне, ел миндаль, как он это делал у себя на родине, и рассказывал об аресте в Берлине, рассказывал о годах симуляции, когда он притворялся сумасшедшим, о ручном воробье, с которым он возился в тюрьме. Ильич слушал и остро жалко ему было этого беззаветно-смелого человека, детски-наивного, с горячим сердцем, готового на великие подвиги и не знающего после побега, за какую работу взяться. Его проекты работы были фантастичны. Ильич не возражал, осторожно старался поставить Камо на землю, говорил о необходимости организовать транспорт и т. п. В конце концов было решено, что Камо поедет в Бельгию, сделает себе там глазную операцию (он косил, и шпики сразу его узнавали по этому признаку), а потом морем проберется на юг, потом на Кавказ. Осматривая пальто Камо, Ильич спросил: „А есть у вас теплое пальто, ведь в этом вам будет холодно ходить по палубе?“ Сам Ильич, когда ездил на пароходах, неустанно ходил по палубе взад и вперед. И когда выяснилось, что никакого другого пальто у Камо нет, Ильич притащил ему свой мягкий серый плащ, который ему в Стокгольме подарила мать и который Ильичу особенно нравился. Разговор с Ильичем, ласка Ильича немного успокоили Камо. Потом, в период гражданской войны, Камо нашел свою „полочку“, опять стал проявлять чудеса героизма. Правда, с переходом на новую экономическую политику он вновь выбился из колеи, все толковал о необходимости учиться и в то же время мечтал о разных подвигах. Он погиб во время последней болезни Ильича. Ехал в Тифлис по Верийскому спуску на велосипеде, натолкнулся на автомобиль и был убит.

В 1910 г. в Париж приехала из Брюсселя Инесса Арманд и сразу же стала одним из активных членов нашей Парижской группы. Вместе с Семашко и Бритманом (Казаковым) она вошла в президиум группы и повела обширную переписку с другими заграничными группами. Она жила с семьей, двумя девочками—дочерьми и сынишкой. Она была очень горячей большевичкой, и очень быстро около нее стала группироваться наша парижская публика.

Вообще наша Парижская группа стала крепнуть понемногу. Идейное сплочение шло. Только бедствовали многие ужасно. Рабочие кое-как устраивались, положение же интеллигенции было крайне тяжелое. Переходить на рабочее положение не всегда было посильно. Жить на средства эмигрантской кассы, питаться в долг в эмигрантской столовке было архинепереносно.

Помню несколько тяжелых случаев. Один товарищ заделался лакировщиком, но уменье давалось не сразу, приходилось менять места работы. Жил он в рабочем квартале, вдали от эмигрантской гущи. И вот дело дошло до того, что он так обессилел от голода, что не мог уже встать с постели, написал письмишко, чтобы принесли ему денег, но не заходили к нему, а оставили у консьержки.

Трудно было Николаю Васильевичу Сапожкову (Кузнецову); он с женой нашли работу—красить глиняную посуду какую-то, но зарабатывали гроши, и видно было, как у этого здорового человека, высокого силача, от голодовки постепенно ложились на лицо морщины, хотя никогда и не жаловался он на свое положение. Много было таких случаев. Тяжелее всего был случай с т. Пригара, участником Московского восстания. Жил он где-то в рабочем предместьи, и товарищи мало знали о нем. Раз приходит к нам и начинает возбужденно, не останавливаясь, говорить что-то несуразное—о колесницах, полных снопами, о прекрасной девушке, стоявшей на колеснице, и т. п., и т. д. Явно человек с ума сошел. Первая мысль была: это от голода. Мама стала спешно готовить ему, побледневший Ильич остался с Пригарой, а я побежала за знакомым доктором-психиатром. Он пришел, поговорил с больным, потом сказал, что это—тяжелая форма помешательства на почве голода; сейчас ничего, а когда перейдет в манию преследования, может покончить с собой, тогда надо следить. Мы даже адреса его не знали. Бритман пошел провожать его до дому, но Пригара дорогой от него ушел. Подняли на ноги нашу группу—пропал человек. Потом нашли его труп в Сене с привязанными к шее и ногам камнями—покончил человек с собой.

Пожить бы еще годика два в атмосфере склоки да эмигрантщины, можно было надорваться. Но на смену годам реакции пришли годы подъема.

В связи со смертью Л. Толстого начались демонстрации, вышел № 1 газеты „Звезда“, в Москве стала выходить большевистская „Мысль“. Ильич сразу ожил. Его статья „Начало демонстраций“ от 31 декабря 1910 г. дышит неистощимой энергией. Она кончается призывом: „За работу же, товарищи! Беритесь везде и повсюду за постройку организаций, за создание и укрепление рабочих социал-демократических партийных ячеек, за развитие экономической и политической агитации. В первой русской революции пролетариат научил народные массы бороться за свободу, во второй революции он должен привести их к победе!“ (Соч., т. XIV, стр. 392).

ГОДЫ НОВОГО РЕВОЛЮЦИОННОГО ПОДЪЕМА (1911—1914 гг.)

ПАРИЖ

1911—1912 гг.

Уже конец 1910 г. прошел под знаком революционного подъема. Годы 1911—1914 были годами, когда вплоть до начала войны, до августа 1914 г., каждый месяц приносил факты нарастания рабочего движения. Только рост этого движения совершался в иных условиях, чем рост рабочего движения перед 1905 годом. Он совершался на базе опыта революции 1905 года. Пролетариат был уже не тот. Он многое пережил—полосу забастовок, ряд вооруженных восстаний, громадное массовое движение, пережил годы поражения. В этом был гвоздь вопроса. Это ярко сказывалось во всем, и Ильич, впивавшийся в живую жизнь со всей страстностью, умевший расшифровывать значение каждой фразы, сказанной рабочим, удельный ее вес, чувствовал всем своим существом этот рост пролетариата. Но, с другой стороны, он знал, что не только пролетариат, но и вся обстановка уж не та, что была раньше. Интеллигенция стала уже другой. В 1905 г. широкие слои интеллигенции всячески поддерживали рабочих. Теперь было не то. Характер борьбы, которую поведет пролетариат, был уже ясен. Борьба будет жестокая, непримиримая, пролетариат будет сбрасывать все, что будет стоять на его пути. И нельзя будет бороться его руками за куцую конституцию, как того хотела либеральная буржуазия, не даст рабочий класс сделать ее куцой. Он поведет, а не его поведут. Да и условия борьбы стали другие. Правительство царское тоже имело за плечами опыт революции 1905 года. Теперь оно опутывало всю рабочую организацию целою сетью провокатуры. Это были уже не старые шпики, торчавшие на углах улиц, от которых можно было спрятаться, это были Малиновские, Романовы, Брендинские, Черномазовы, занимавшие

ответственные партийные посты. Слежка, аресты—все делалось правительством не наобум, а строго продуманно.

Такая обстановка была настоящим садком для выводки оппортунистов самой высокой марки. Курс ликвидаторов на ликвидацию партии, передового, ведущего отряда рабочего класса, поддерживался широкими слоями интеллигенции. Ликвидаторы, как грибы, росли и справа, и слева. Каждый кадетишка ладил плюнуть по адресу нелегальной партии. Нельзя было не вести с ними бешеной борьбы. Условия борьбы были неравные. У ликвидаторов сильный легальный центр в России, возможность вести широкую ликвидаторскую работу в массах, у большевиков—борьба за каждую пядь в тяжелейших условиях тогдашнего подполья.

1911 год начался с прорыва цензурных рогаток, с одной стороны, с энергичной борьбы за укрепление партийной нелегальной организации—с другой. Борьба началась внутри заграничного объединения, созданного январским пленумом 1910 г., но скоро перехлестнула через его рамки, пошла своим путем.

Страшно радовал Ильича выход „Звезды“ в Питере и „Мысли“ в Москве. Заграничные нелегальные газеты доходили до России из рук вон плохо, хуже, чем в период до 1905 г.: заграница и Россия были насыщены провокаторами, благодаря которым все проваливалось. И потому выход в России легальных газет и журналов, где можно было писать большевикам, страшно радовал Ильича.

В редакцию „Звезды“ входили В. Бонч-Бруевич (большевик), Н. Иорданский (тогда плехановец) и И. Покровский (от думской фракции, сочувствовал большевикам). Газета считалась органом думской фракции. В первом номере был помещен фельетон Плеханова. Первый номер не очень удовлетворил Владимира Ильича, показался ему тусклым. Зато понравился ему очень № 1 московской „Мысли“.

„*Вся* наша и радует меня безмерно“ (Соч., т. XV, стр. 59),—писал Ильич о ней Горькому. Усиленно стал писать Ильич для „Звезды“ и „Мысли“. Издавать легальные газеты в то время было не так-то легко. В феврале в Москве был арестован Скворцов-Степанов, а в Питере Бонч-Бруевич и Лидия Михайловна Книпович, работавшая с Полетаевым и др. В апреле „Мысль“ была закрыта, а в июне на 25-м номере прекратилась и „Звезда“ как орган думской фракции. Восстановлена была только в ноябре (№ 26 „Звезды“ вышел 5 ноября). Правда, она стала тогда уже определенно большевистской. В Баку также стала издаваться большевистская „Современная Жизнь“.

В июле стали сговариваться с т. Савельевым об издании в Питере легального журнала „Просвещение“. Поставить журнал удалось лишь к концу 1911 года.

Владимир Ильич самым усиленным образом следил за этими изданиями, писал для них.

Что касается связи с рабочими, то сначала была попытка повторить опыт занятий с каприйцами в отношении учеников Болонской школы, но дело не вышло.

Еще в ноябре 1910 г. отзовисты организовали школу в Болонье, в Италии; ученики послали приглашение ряду лекторов, в том числе Дану, Плеханову, Ленину. Владимир Ильич ответил отказом и звал приехать в Париж. Но, умудренные каприйским опытом, впередовцы начали крутить, потребовали официального приглашения со стороны Заграничного бюро ЦК (в ЗБЦК в это время преобладали меньшевики), а приехав в Париж, вместе с вольнослушателями, которые должны были противостоять ленинскому влиянию, болонцы потребовали автономии. Занятия в конце концов не состоялись, и ЗБЦК отправило приехавших в Россию.

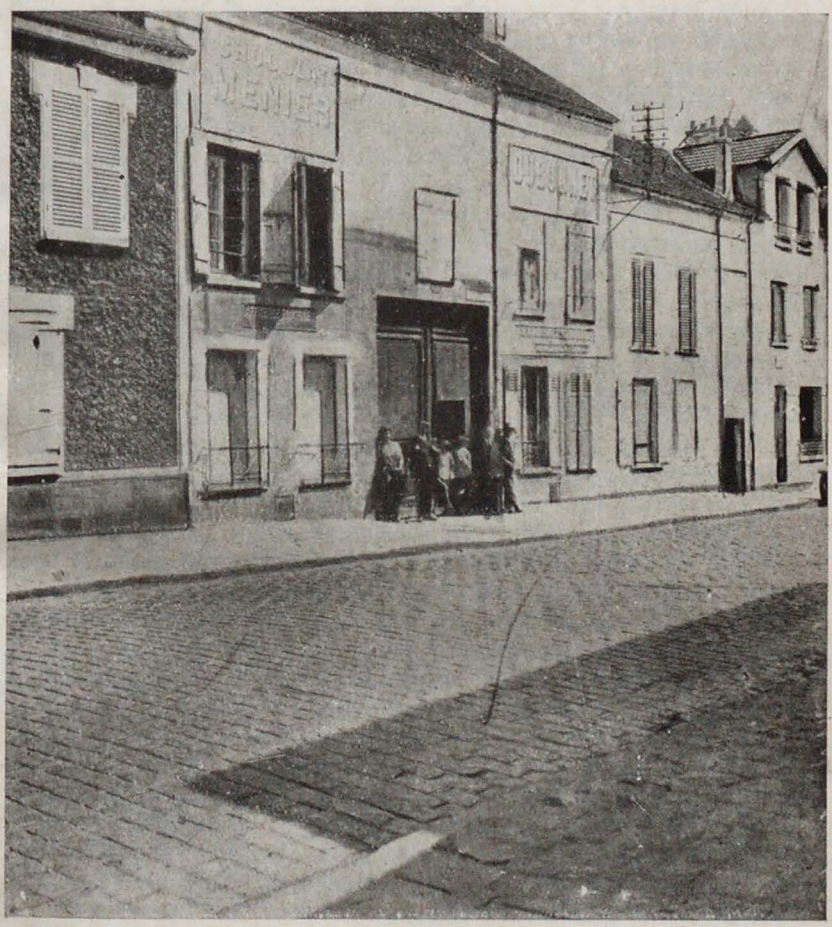
Весной 1911 г. наконец удалось устроить под Парижем свою партийную школу. В школу принимались рабочие и меньшевики-партийцы и рабочие-впередовцы (отзовисты), но и тех и других было очень небольшое меньшинство.

Первыми приехали питерцы—два рабочих-металлиста—Белостоцкий (Владимир), другой—Георгий (фамилии не помню); впередовец, и работница Вера Васильева. Публика все приехала развитая, передовая. В первый вечер, когда они появились на горизонте, Ильич повел их ужинать куда-то в кафе, и я помню, как горячо проговорил он с ними весь вечер, расспрашивая о Питере, о их работе, нащупывал в их рассказах признаки подъема рабочего движения. Пока что Николай Александрович Семашко устроил их неподалеку от себя в пригороде Парижа Фонтеней-о-Роз, где они подчитывали разную литературу в ожидании, когда подъедут остальные ученики. Затем приехали двое москвичей: один—кожевник, Присягин, другой—текстильщик, не помню фамилии. Питерцы скоро сошлись с Присягиным. Был он незаурядным рабочим, в России уже перед тем редактировал нелегальную газету кожевников „Посадчик“, хорошо писал, но был он ужасно застенчив: начнет говорить, и руки у него дрожат от волнения. Белостоцкий его поддразнивал, но очень мягко, добродушно.

Во время гражданской войны Присягин был расстрелян Колчаком как председатель Губпрофсовета в Барнауле.

Но совсем уж недобродушно насмехался Белостоцкий над другим москвичом—текстильщиком. Тот был мало развит, но был очень самоуверен. Писал стихи, старался выражаться помудренее. Помню, пришла я как-то в школьное общежитие, встретила москвича. Он стал созывать публику: „Мистер Крупская пришла". За этого „мистер Крупская" поднял Белостоцкий парня на смех. Постоянно возникали у них конфликты. Кончилось тем, что питерцы стали настаивать, чтобы парня убрали из школы: „Он ничего не понимает, про проституцию чорт знает что несет". Попробовали мы убеждать, что парень подучится, но питерцы настаивали на отсылке москвича обратно. Временно устроили мы его на работу в Германии.

Школу решили организовать в деревне Лонжюмо в 15 километрах от Парижа, в местности, где не жило никаких русских, никаких дачников. Лонжюмо представляло собою длинную французскую деревню, растянувшуюся вдоль шоссе, по которому каждую ночь непрерывно ехали возы с продуктами, предназначенными для насыщения „брюха Парижа". В Лонжюмо был небольшой кожевенный заводишко, а кругом тянулись поля и сады. План поселения был таков: ученики снимают комнаты, целый дом снимает Инесса. В этом доме устраивается для учеников столовая. В Лонжюмо поселяемся мы и Зиновьевы. Так и сделали. Хозяйство все взяла на себя Катя Мазанова, жена рабочего, бывшего в ссылке вместе с Мартовым в Туруханске, а потом нелегально работавшего на Урале. Катя была хорошей хозяйкой и хорошим товарищем. Все шло как нельзя лучше. В доме, который сняла Инесса, поселились тогда наши вольнослушатели: Серго (Орджоникидзе), Семен (Шварц), Захар (Бреслав). Серго незадолго перед тем приехал в Париж. До этого жил он одно время в Персии, и я помню обстоятельную переписку, которая с ним велась по выяснению линии, которую занял Ильич по отношению к плехановцам, ликвидаторам и впередовцам. С группой кавказских большевиков у нас всегда была особенно дружная переписка. На письмо о происходящей за границей борьбе долго что-то не было ответа, а потом раз приходит консьержка и говорит: „Пришел какой-то человек, ни слова не говорит по-французски, должно быть к вам". Я спустилась вниз—стоит кавказского вида человек и улыбается. Оказался Серго. С тех пор он стал одним из самых близких товарищей. Семена Шварца мы знали давно. Его особенно любила моя мать, в присутствии которой он рассказывал как-то, как впервые, молодым девятнадцатилетним парнем, распространял листки на заводе, представившись пьяным. Был он николаевским рабочим,



Лонжюмо. Дом, где была партийная школа.

Бреслава знали также с 1905 г. по Питеру, где он работал в Московском районе.

Таким образом, в доме Инессы жила все своя публика. Мы жили на другом конце села и ходили обедать в общую столовую, где хорошо было поболтать с учениками, порасспросить их о разном, можно было регулярно обсуждать текущие дела.

Мы нанимали пару комнат в двухэтажном каменном домишке (в Лонжюмо все дома были каменные) у рабочего-кожевника и могли наблюдать быт рабочего мелкого предприятия. Рано утром уходил он на работу, приходил к вечеру совершенно измученный. При доме не было никакого садишка. Иногда выносили на улицу ему стол и стул, и он подолгу сидел, опустив усталую голову на истомленные руки. Никогда никто из товарищей по работе не заходил к нему. По воскресеньям он ходил в костел, возвышавшийся наискось от нас. Музыка захватывала его. В костел приходили петь монахини с чудесными оперными голосами, пели Бетховена и пр., и понятно, как захватывало это рабочего-кожевника, жизнь которого протекала так тяжело и беспросветно. Невольно напрашивалось сравнение с Присягиным, тоже кожевником по профессии, жизнь которого была не легче, но который был сознательным борцом, общим любимцем товарищей. Жена французского кожевника с утра надевала деревянные башмаки, брала в руки метлу и шла работать в соседний замок, где она была поденщицей. Дома за хозяйку оставалась девочка-подросток, которая целый день возилась в полутемном, сыром помещении с хозяйством и с младшими братишками и сестренками. И к ней никогда не приходили никакие подруги, и у ней тоже была в будни только возня по хозяйству, в праздники—костел. Никогда никому в семье кожевника не приходила в голову мысль о том, что не плохо бы кое-что изменить в существующем строе. Бог ведь создал богачей и бедняков, значит так и надо,—рассуждал кожевник.

Нянька-француженка, которую Зиновьевы взяли к своему трехлетнему сынишке, держалась тех же взглядов, и когда мальчонка стремился проникнуть в парк замка, находившегося рядом с Лонжюмо, она ему объясняла: „Это не для нас, это для господ". Мы очень потешались над малышом, когда он глубокомысленно повторял это изречение своей нянюшки.

Скоро съехались все ученики: николаевский рабочий Андреев, уже прошедший в ссылке, кажется вологодской, своеобразный курс учебы. Ильич в шутку называл его первым учеником. Догадов из Баку (Павел), Сема (Семков). Из Киева приехали двое: Андрей Малиновский и Чугурин—плехановцы. Андрей

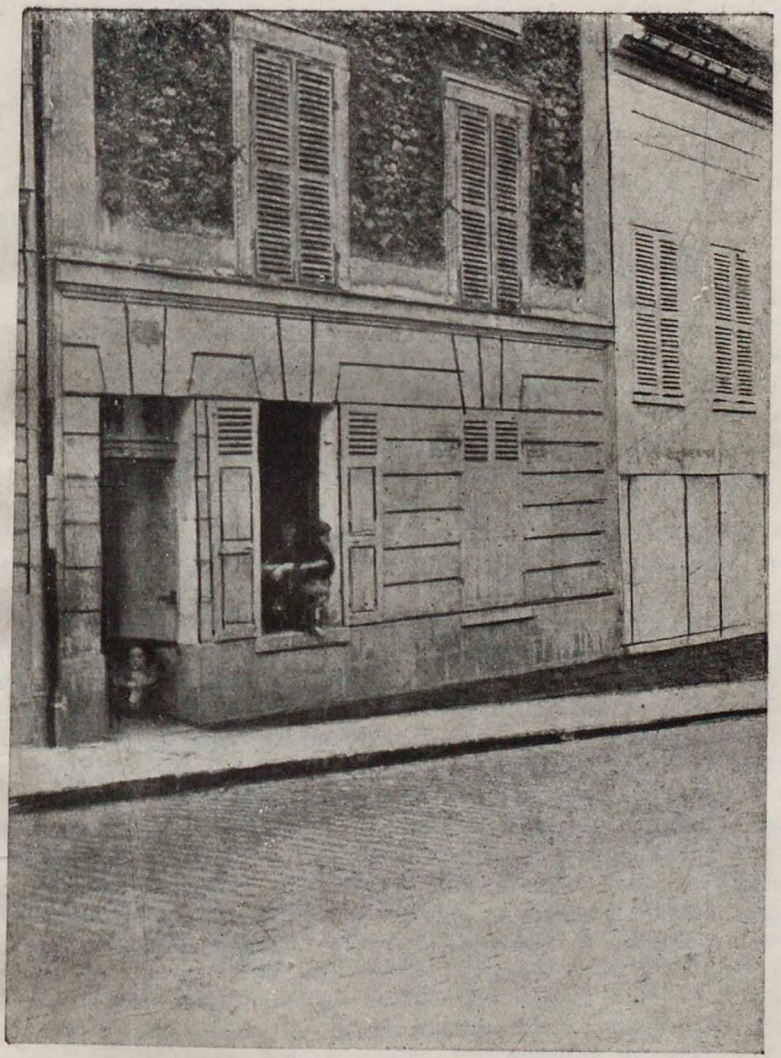
Малиновский оказался, как позднее выяснилось, провокатором. Он ничем не выдавался, кроме своего прекрасного голоса; был он парень совсем молодой, мало наблюдательный. Рассказывал он мне, как ушел, направляясь в Париж, от слежки. Показалось мне что-то мало правдоподобным, но особых подозрений не вызвало. Другой, Чугурин, считал себя плехановцем. Это был сормовский рабочий, сидевший долго в тюрьме, очень развитой рабочий, большой нервняга. Скоро стал он большевиком. Из Екатеринослава приехал также плехановец Савва (Зевин). Когда мы нанимали квартиры ученикам, мы говорили, что это русские сельские учителя. Савва во время своего пребывания в Лонжюмо болел тифом. Лечивший его доктор-француз потом говорил с улыбкой: „Какие у вас странные учителя". Больше всего французов удивляло, что наши „учителя" ходят сплошь и рядом босиком (жарища тем летом стояла невероятная).

Зевин принимал полгода спустя участие в Пражской партийной конференции, потом долго боролся в рядах большевиков, пока не был убит в числе 26 бакинских комиссаров белыми.

Из Иваново-Вознесенска приехал Василий (С. Искрянистов). Он очень хорошо занимался, но держался как-то странно, сторонился всех, запирался в своей комнате и, когда ехал в Россию, наотрез отказался брать какие-либо поручения. Он был очень дельным работником. В течение ряда лет занимал ответственные посты. Бедовал здорово. На фабрики и заводы его, как „неблагонадежного", никуда не брали, ему никак не удавалось найти заработок, и он с женою и двумя детьми очень долго жил только на очень маленький заработок своей жены—ткачихи. Как потом выяснилось, Искрянистов не выдержал и стал провокатором. Стал здорово запивать. В Лонжюмо не пил. Вернувшись из Лонжюмо, не выдержал, покончил с собой. Раз вечером прогнал из дому жену и детей, затопил печку, закрыл трубу, на утро его нашли мертвым. Получил он за свою „работу" какие-то гроши, рублей десять, числился провокатором меньше года.

От поляков был Олег (Прухняк). В половине занятий приехал в Лонжюмо Манцев.

Занятия происходили очень регулярно. Владимир Ильич читал лекции по политической экономии (30 лекций), по аграрному вопросу (10 лекций), теорию и практику социализма (5 лекций). Семинарскую работу по политической экономии вела Инесса. Зиновьев и Каменев читали историю партии, пару лекций читал Семашко. Из других лекторов—Рязанов читал лекции по истории западно-европейского рабочего движения, Шарль Рап-



Лонжюмо. Дом, где жил В. И. Ленин.

понорт—по французскому движению, Стеклов и Финн-Енотаевский по государственному праву и бюджету, Луначарский—по литературе и Станислав Вольский—по газетной технике. Занимались много и усердно. По вечерам иногда ходили в поле, где много пели, лежали под скирдами, говорили о всякой всячине. Ильич тоже иногда ходил с ними.

Каменев не жил в Лонжюмо, приезжал туда только читать лекции. Писал он в то время свою книжку „Две партии". Он обсуждал ее с Ильичем. Помню, как они лежали на траве в логу за селом, и Ильич развивал Каменеву свои мысли. Он написал предисловие к этой книжке.

Мне приходилось довольно часто ездить в Париж, в экспедицию, где видалась по делам с публикой. Это было необходимо, чтобы избежать приездов в Лонжюмо. Ученики все собирались ехать немедля в Россию на работу, и надо было принимать меры, чтобы хоть несколько законспирировать их пребывание в Париже. Ильич был очень доволен работой школы. В свободное время ездили мы с ним по обыкновению на велосипеде, поднимались на гору и ехали километров за пятнадцать, там был аэродром. Заброшенный вглубь, он был гораздо менее посещаем, чем аэродром Жювизи. Мы были часто единственными зрителями, и Ильич мог вволю любоваться маневрами аэропланов.

В половине августа мы переехали обратно в Париж.

Сколоченное с таким трудом в январе 1910 г. объединение всех фракций стало быстро разваливаться. По мере того как вставали практические задачи работы в России, делалось все яснее, что совместная работа невозможна. Требования практической работы срывали маску партийности, которой прикрывались некоторые меньшевики. Вылезла на свет божий суть „лойяльности" Троцкого, под маской лойяльности стремившегося объединить ликвидаторов и впередовцев. Когда стала ощущаться необходимость организоваться в России получше для работы, тут-то и сказалась искусственность всего объединения. Еще в конце декабря 1910 г. Ленин, Зиновьев и Каменев подали заявление в ЗБЦК о необходимости созыва за границей пленума Центрального комитета. Только через месяц с лишком получили они ответ на свое заявление: меньшевистский ЗБЦК отклонил сделанное предложение. Переговоры на эту тему затянулись до конца мая 1911 года. Явно было—с ЗБЦК каши не сваришь. Входивший в ЗБЦК представитель большевиков, т. Семашко, вышел из состава ЗБЦК, и большевики стали созывать совещание членов ЦК, находившихся в то время за гра-

нцею. Таких членов было в июне 1911 г. девять. Бундист Ионов был болен, остальные съехались к 10 июня, но меньшевик Горев и бундист Либер ушли с совещания. Остальные обсудили наиболее настоятельные вопросы, обсудили вопросы созыва партийной конференции, постановили создать в России Российскую организационную комиссию по созыву партийной конференции (РОК). В августе поехали в Россию—Бреслав (Захар) в Питер и Москву, Семен Шварц на Урал и в Екатеринослав, Серго на юг. Поехал также Рыков, который был арестован тотчас по приезде на улице. В газетах было помещено сообщение, что у Рыкова было взято много адресов. Это было не так. Действительно, был арестован одновременно с Рыковым ряд большевиков, но потом выяснилось, что в Лейпциге, где в то время работал Пятницкий по транспорту и куда заезжал Рыков перед отъездом в Россию, в это время жил Брендинский, наш транспортер. Потом оказалось, что Брендинский был провокатором. Он зашифровывал Рыкову адреса. Вот почему, хотя у Рыкова ничего при обыске не взяли, все адреса были провалены.

В Баку было созвано совещание. Оно лишь случайно не было арестовано, так как был арестован член совещания, видный бакинский работник Степан Шаумян и ряд других бакинских работников. Совещание было перенесено в Тифлис, там оно и прошло. Были представители от пяти организаций; присутствовали на нем Шварц, Серго и другие. На совещании были представлены большевики и плехановцы. Присутствовал на совещании также Черномазов, оказавшийся потом провокатором. Российская организационная комиссия сделала, однако, свое дело—партийная конференция была созвана в январе 1912 года.

Парижская большевистская группа представляла собою в 1911 г. довольно сильную организацию. Туда входили тт. Семашко, Владимирский, Антонов (Бритман), Кузнецов (Сапожков), Беленькие (Абрам, потом и его брат, Гриша), Инесса, Сталь, Наташа Гоппер, Котляренко, Чернов (настоящей фамилии не помню), Ленин, Зиновьев, Каменев, Лилина, Таратута, Марк (Любимов), Лева (Владимиров) и др. Всего было свыше 40 человек. В общем и целом у группы были порядочные связи с Россией и большой революционный опыт. Борьба с ликвидаторами, с троцкистами и др. закаляла группу. Группа оказывала не мало содействия русской работе, вела кое-какую работу среди французов и среди широкой рабочей эмигрантской публики. Такой публики было довольно много в Париже. Одно время мы пробовали с т. Сталь повести работу среди женской

эмигрантской массы работниц: шляпочниц, швеек и пр. Был целый ряд собраний, но мешала недооценка этой работы. На каждом собрании кто-либо непременно заводил „бузу“: „А почему нужно созывать непременно женское собрание?“,—так и завяло это дело, хотя известную долю пользы оно, может быть, и принесло. Ильич считал это дело нужным.

В конце сентября Владимир Ильич ездил в Цюрих на заседание Международного бюро. Обсуждалось письмо Молькенбурга в ЦК германской социал-демократии о том, что в связи с выборами не следует из-за марокканских событий выпячивать критику колониальной политики. Роза Люксембург опубликовала это письмо. Бебель возмущался этим. Владимир Ильич защищал Розу. Оппортунистическая политика германской социал-демократии уже ярко проявилась на этом заседании.

В эту свою поездку Ильич прочитал в Швейцарии ряд рефератов.

В октябре покончили с собой Лафарги. Эта смерть произвела на Ильича сильное впечатление. Вспоминали мы нашу поездку к ним. Ильич говорил: „Если не можешь больше для партии работать, надо уметь посмотреть правде в глаза и умереть так, как Лафарги“. И хотелось ему сказать над телом Лафаргов, что недаром прошла их работа, что дело, начатое ими, дело Маркса, с которым и Поль Лафарг, и Лаура Лафарг так тесно были связаны, ширится, растет и перекидывается в далекую Азию. В Китае как раз поднималась в это время волна массового революционного движения. Владимир Ильич написал речь, Инесса ее перевела. Я помню, как, волнуясь, он говорил ее от имени РСДРП на похоронах.

Перед новым годом большевики собрали совещание большевистских заграничных групп. Настроение было бодрое, хотя нервы у всех порядком-таки расшатала эмиграция.

НАЧАЛО 1912 ГОДА

Шла усиленная подготовка к конференции. Владимир Ильич списался с чешским представителем социал-демократии в Международном социалистическом бюро, Немец, об устройстве конференции в Праге. Прага представляла то преимущество, что там не было русской колонии, да и Владимир Ильич знал Прагу по первой эмиграции, когда он жил там некоторое время у Модрачека.

Из воспоминаний, связанных с Пражской конференцией, у меня остались два (на самой конференции я не была). Одно— спор между Саввой (Зевиным), делегатом от Екатеринослава, бывшим учеником Лонжюмовской школы, с делегатом от Киева— Давидом (Шварцманом) и, кажись, Серго. В памяти осталось взволнованное лицо Саввы. Я не помню точно содержания разговора, но Савва был плехановцем. Плеханов на конференцию не поехал. „Состав Вашей конференции,—писал он в ответ на приглашение,—до такой степени однообразен, что мне лучше, т. е. сообразнее с интересами единства партии, не принимать в ней участия". Савву он тоже соответствующим образом настропилил, и тот во время конференции вносил протесты за протестами в духе Плеханова. Потом, как известно, Савва стал большевиком. Другой плехановец, Давид, держался с большевиками. Разговор, обстановка которого осталась у меня в памяти, тогда шел о том, ехать ли Савве на конференцию или нет. В Лонжюмо Савва всегда был веселым, очень уравновешенным, и потому так поразило меня его волнение.

Другое воспоминание. Владимир Ильич уже уехал в Прагу. Приехал Филипп (Голощекин) вместе с Брендинским, чтобы ехать на партийную конференцию. Брендинского я знала лишь по имени, он работал по транспорту. Жил он в Двинске. Его главная функция была переправлять полученную литературу в организации, главным образом в Москву. У Филиппа явились сомнения относительно Брендинского. У него в Двинске жили отец и сестра. Перед поездкой за границу Филипп заезжал к отцу. Брендинский нанимал комнату у сестры Филиппа. И вот

старик предупреждал Филиппа: не доверяй этому человеку, он как-то странно ведет себя, живет не по средствам, швыряется деньгами. За две недели до конференции Брендинский был арестован, его выпустили через несколько дней. Но пока он сидел, к нему приезжало несколько человек, которые были арестованы; кто именно был арестован—не выяснено. Вызвала у Филиппа подозрение и совместная переправа через границу. Филипп пришел к нам на квартиру вместе с Брендинским, я им обрадовалась, но Филипп многозначительно пожал мне руку, выразительно посмотрел на меня, и я поняла, что он мне что-то хочет сказать о Брендинском. Потом в коридоре он сказал мне о своих сомнениях. Мы условились, что он уйдет и мы повидаемся с ним позже, а пока я поговорю с Брендинским, позондирую почву, а потом решим, как быть.

Разговор с Брендинским у нас вышел очень странный. Мы получали от Пятницы извещения, что литература благополучно переправлена, что литература доставлена в Москву, а москвичи жаловались, что они ни черта не получают. Я стала спрашивать Брендинского, по какому адресу, кому он передает литературу, а он смутился, сказал, что передает не организации, ибо теперь это опасно, а своим знакомым рабочим. Я стала спрашивать фамилии. Он стал называть явно наобум—адресов-де не помнит. Видно было—врет человек. Я стала расспрашивать о его объездах, спросила что-то о каком-то городе, кажется Ярославле; он сказал, что не может туда ездить, ибо там был арестован. Я спрашиваю: „По какому делу?“ А он отвечает: „По уголовному“. Я так и опешила. Чем дальше, тем путаннее были его ответы. Я ему чего-то наплела, что конференция будет в Бретани, что Ильич и Зиновьев туда уже уехали, а потом сговорилась с Филиппом, что они с Григорием уедут ночью в Прагу, и он оставит записку Брендинскому, что уезжает в Бретань. Так и сделали. Потом я откомандировалась к Бурцеву, который специализировался в то время на раскрытии провокаторов: „Явный-де провокатор“,—говорила я ему. Бурцев выслушал и предложил: „Пошлите его ко мне“. Посылать провокатора к Бурцеву было не к чему. Потом пришла телеграмма от Пятницкого, у которого также явились подозрения, он писал в телеграмме, чтобы Брендинского на конференцию не пускать, позднее прислал подробное письмо. Так Брендинский на конференцию и не попал. В Россию он больше не вернулся, царское правительство купило для него виллу под Парижем за 40 тысяч франков.

Я очень гордилась тем, что уберегла конференцию от провокатора. Я не знала, что на Пражской конференции присутство-

вали и без того два провокатора: Роман Малиновский и Романов (Аля Алексинский)—бывший каприец.

Пражская конференция была первой партийной конференцией с русскими работниками, которую удалось созвать после 1908 г. и на ней деловым образом обсудить вопросы, касающиеся русской работы, выработать четкую линию этой работы. Резолюции были приняты о современном моменте и задачах партии, о выборах в IV Государственную думу, о думской социал-демократической фракции, о характере и организационных формах партийной работы, о задачах социал-демократии в борьбе с голодом, об отношении к думскому законопроекту о государственном страховании рабочих, о петиционной кампании.

Четкая партийная линия по вопросам русской работы, настоящее руководство *практической* работой—вот что дала Пражская конференция.

В этом было ее громадное значение. На конференции был выбран ЦК, куда вошли Ленин, Зиновьев, Орджоникидзе (Серго), Шварцман (Давид), Голощекин (Филипп), Спандарьян*, Малиновский. Были намечены кандидатуры на случай ареста. Вскоре после конференции в ЦК были кооптированы Сталин и Белостоцкий (ученик Лонжюмовской школы), в ЦК было создано то единство, без которого невозможна была работа в это трудное время. Несомненно, конференция была крупным шагом вперед: клала конец развалу русской работы. Злопыхательство ликвидаторов, Троцкого, дипломатия Плеханова, бундовцев и др.—

---

* Сурен Спандарьян был делегатом от Баку. Когда Ильич после конференции был в Берлине, был там и Сурен, познакомил он Ильича со старым другом своей семьи — Воски-Иоаниснан, которая оказывала всякие услуги партии. Через нее предполагалось вести переписку с Россией. Недолго продержался Сурен, уже в конце апреля пришло сообщение об его аресте. В Париже жил отец Сурена. Мы пошли с Ильичем к нему, чтобы поподробнее узнать об аресте сына.

Отец Сурена, больной старик, жил одиноко и заброшенно, не было у него денег, нечем ему было даже заплатить за квартиру, память ему изменяла: напишет письмо, а адрес забудет написать. Ильичу ужасно стало жалко старика. И из Баку вести были нерадостные. Сурен сидел в очень тяжелых условиях, некому было о нем позаботиться. Когда пришли мы домой, Ильич тотчас написал письмо Воски, прося позаботиться об обоих Спандарьянах, писал о старике, что „положение его самое печальное, даже отчаянное. Мы ему помогли небольшим займом. Но я все же решил вам написать. Вероятно у вас есть знакомые и друзья Спандарьяна в Баку и в Париже. Не знаете ли вы кого-либо в Баку, кому можно бы написать про Сурена и попросить позаботиться о нем? Далее, если у вас есть общие знакомые, крайне было бы важно позаботиться об отце... Надеюсь, вы сделаете, что можете, для обоих Спандарьянов и черкнете об этом пару слов". *И. К.*

все это хотя и требовало резкого отпора, разоблачения, однако удельный вес этих споров снижался, главный центр внимания переносился теперь на работу в России. И полбеды было, что в ЦК входил Малиновский, полбеды было, что совещание, которое было устроено в Лейпциге после конференции с представителями III Думы—Полетаевым и Шуркановым, было тоже детально известно полиции: Шурканов оказался также провокатором. Несомненно, провокатура губила работников, ослабляла организацию, но полиция была бессильна остановить подъем рабочего движения, а правильно намеченная линия вливала движение в правильное русло и растила все новые и новые силы.

Из Лейпцига, куда Ильич ездил на свидание с Полетаевым и Шурковым, он поехал в Берлин, чтобы там договориться с „держателями" о возвращении денег, которые теперь были особенно нужны для работы. Тем временем приехал к нам в Париж Шотман. Он работал в последнее время в Финляндии. Пражская конференция приняла резолюцию, резко осуждавшую политику царизма и III Думы по отношению к Финляндии, и подчеркнула единство задач рабочих Финляндии и России в борьбе с царизмом и русской контрреволюционной буржуазией. В Финляндии в это время работала нелегально наша организация. Среди моряков Балтийского флота шла работа, и вот Шотман приехал сказать, что в Финляндии все готово к восстанию, нелегальная организация, работающая в наших войсках, уже готова к бою (предполагалось захватить Свеаборгскую и Кронштадтскую крепости). Ильич еще не вернулся. Когда он приехал, он с интересом стал расспрашивать Шотмана об организации, которая была сама по себе интересным фактом (в организации работали Рахья, С. В. Воробьев, Кокко), но указывал на нецелесообразность в данный момент таких выступлений. Было сомнительно, чтобы восстание в этот момент поддержали питерские рабочие. До выступлений—как вскоре выяснилось—дело не дошло: организация быстро провалилась, вскоре начались повальные аресты, и было привлечено к суду 52 человека за подготовку восстания. До восстания дело было еще далеко, конечно, но ленские события, разразившиеся в половине апреля, повсеместные стачки протеста ярко выявили, как вырос за эти годы пролетариат, как ничего не забыто им, выявили, что сейчас уже движение подымается на высшую ступень, что создается уже совсем иная обстановка для работы.

Ильич стал другим, сразу стал гораздо менее нервным, более сосредоточенным, думал больше о задачах, вставших перед русским рабочим движением. Настроение Ильича вылилось, по-

жалуй, полнее всего в его статье о Герцене, написанной им в начале мая. В этой статье очень много от Ильича, от того ильичевского горячего пафоса, который так увлекал, так захватывал. „Чествуя Герцена, мы видим ясно три поколения, три класса, действовавшие в русской революции“,—писал он. „Сначала—дворяне и помещики, декабристы и Герцен. Узок круг этих революционеров. Страшно далеки они от народа. Но их дело не пропало. Декабристы разбудили Герцена. Герцен развернул революционную агитацию.

Ее подхватили, расширили, укрепили, закалили революционеры-разночинцы, начиная с Чернышевского и кончая героями „Народной Воли“. Шире стал круг борцов, ближе их связь с народом. „Молодые штурманы будущей бури“—звал их Герцен. Но это не была еще сама буря.

Буря, это—движение самих масс. Пролетариат, единственный до конца революционный класс, поднялся во главе их и впервые поднял к открытой, революционной борьбе миллионы крестьян. Первый натиск бури был в 1905 году. Следующий начинает расти на наших глазах“ (Соч., т. XV, стр. 468—469). Еще несколько месяцев тому назад Владимир Ильич как-то с грустью говорил Анне Ильиничне, приезжавшей в Париж: „Не знаю уж, придется ли дожить до следующего подъема“,—теперь он ощущал уже всем существом своим эту поднимающуюся бурю—движение самих масс.

Когда вышел первый номер „Правды“, мы стали собираться в Краков; Краков был во многих отношениях удобнее Парижа. Удобнее было в полицейском отношении. Французская полиция всячески содействовала русской полиции. Польская полиция относилась к полиции русской, как и ко всему русскому правительству, враждебно. В Кракове можно было быть спокойным в том отношении, что письма не будут вскрываться, за приезжими не будет слежки. Да и русская граница была близка. Можно было часто приезжать из России. Письма и пакеты шли в Россию без всякой волокиты. Мы спешно собирались. Владимир Ильич повеселел, особенно внимателен был к остающимся товарищам. Наша квартира превратилась в проходной двор.

Помню, пришел и Курнатовский. Мы Курнатовского знали по ссылке в Шуше. Это была уже третья ссылка, которую он отбывал; он кончил Цюрихский университет, был инженером-химиком и работал на сахарном заводе около Минусинска. Вернувшись в Россию, он скоро опять влетел в Тифлисе, два года просидел в тюрьме в Метехском замке, потом был отправлен

в Якутку, по дороге попал в „романовскую“ историю* и был приговорен в 1904 г. к 12 годам каторги. В 1905 г. был амнистирован, организовал Читинскую республику**, был захвачен Меллером-Закомельским***, потом передан Ренненкампфу. Его приговорили к смертной казни и возили в поезде, чтобы он видел расстрелы. Потом смертную казнь заменили вечным поселением. В 1906 г. Курнатовскому удалось бежать из Нерчинска в Японию. Оттуда он перебрался в Австралию, где очень нуждался, одно время был лесорубом, простудился, началось у него какое-то воспаление уха, надорвал он все силы. Еле добрался до Парижа.

Исключительно тяжелая доля скрутила его в конец. Осенью 1910 г., по его приезде, мы с Ильичем ходили к нему в больницу—у него были страшные головные боли, мучился он ужасно. Его навещала Екатерина Ивановна Окулова с дочуркой Ириной, которая детскими каракулями писала что-то Курнатовскому, наполовину оглохшему. Потом он поправился немного. Попал он к примиренцам и как-то в разговоре стал говорить тоже что-то примиренческое. После этого у нас на время расстроилось знакомство: нервы плохие у всех были. Но осенью 1911 г. я зашла раз к нему,—он нанимал комнатку на бульваре Монпарнасс,—занесла наши газеты, рассказала про школу в Лонжюмо, и мы долго проговорили с ним по душам. Он безоговорочно соглашался уже с линией Центрального комитета. Ильич обрадовался и последнее время частенько заходил к Курнатовскому. Курнатовский смотрел, как мы укладывались, как весело паковала что-то моя мать, и сказал: „Есть вот ведь энергия у людей“.

---

* „Романовской историей“ называлось вооруженное нападение на ссыльных Якутской области в 1904 г., совершенное по распоряжению властей за то, что ссыльные заявили протест против неслыханного гнета и произвола администрации по отношению к политическим ссыльным. Протестовавшие заперлись 18 февраля в доме якута Романова (отчего протест назван „романовским“). Во время перестрелки, происходившей с обеих сторон, был убит ссыльный т. Матлахов и трое ранены, со стороны солдат было убито двое. 7 марта „романовцы“ сдались. Участников протеста судил якутский суд. Каждый из 55 подсудимых был приговорен к каторжным работам на 12 лет. *Н. К.*

** Читинская, или Забайкальская, республика — период фактического захвата власти в Чите в конце 1905 г. рабочими железнодорожных мастерских, к которым примкнули возвращавшиеся из Манчжурии после окончания русско-японской войны солдаты. 21 января в Читу прибыл карательный отряд с ген. Ренненкампфом во главе и затопил в крови движение. *Н. К.*

*** Генерал Меллер-Закомельский прославился своими карательными экспедициями в Прибалтийском крае и в Сибири в 1905—1906 гг. *Н. К.*

Осенью 1912 г., уже когда мы были в Кракове, Курнатовский умер.

Мы передавали нашу квартиру какому-то поляку, краковскому регенту, который брал квартиру с мебелью и усиленно допрашивал Ильича о хозяйственных делах: „А гуси почем? А телятина почем?“. Ильич не знал, что сказать: „Гуси??.. Телятина??..“. Мало имел Ильич отношения к хозяйству, но и я ничего не могла сказать о гусях и телятине, ибо в Париже ни того, ни другого мы не ели, а ценой конины и салата регент не интересовался.

У нашей парижской публики была в то время сильная тяга в Россию: собирались туда Инесса, Сафаров и др. Мы пока перебирались только поближе к России.

КРАКОВ

1912—1914 гг.

Краковская эмиграция не походила на парижскую или швейцарскую. По существу дела это была полуэмиграция. В Кракове мы почти целиком жили интересами русской работы. Связи с Россией установились очень быстро самые тесные. Газеты из Питера приходили на третий день. В России стала в это время выходить „Правда". „А в России *революционный* подъем, не иной какой-либо, а именно революционный",—писал Владимир Ильич Горькому.—„И нам удалось-таки поставить ежедневную „Правду"—между прочим, благодаря именно той (январской) конференции, которую лают дураки" (Соч., т. XXIX, стр. 23). С „Правдой" налажены были самые тесные отношения. Чуть не ежедневно писал Ильич в „Правду" статьи, посылал туда письма, следил за работой „Правды", вербовал для нее сотрудников. Настаивал он всячески, чтобы принимал в ней участие Горький. Писал также регулярно в „Правду" и Зиновьев, и Лилина, которая подбирала для нее интересный заграничный материал. Ни из Парижа, ни из Швейцарии было бы немыслимо наладить такое планомерное сотрудничество. Переписка с Россией была также быстро налажена. Краковские товарищи научили нас, как наиболее конспиративно наладить это дело. Важно, чтобы на письмах не было заграничного штемпеля, тогда на них русская полиция обращала меньше внимания. Крестьянки, приезжавшие на базар из России, за небольшую плату брали наши письма и бросали их в ящик уже в России.

В Кракове жило около 4 тысяч польских эмигрантов.

Когда мы приехали в Краков, нас встретил товарищ Багоцкий—польский эмигрант, политкаторжанин, который сразу же взял шефство над нами и помогал нам во всех житейских и конспиративных делах. Он научил нас, как пользоваться „полупасками" (так назывались проходные свидетельства, по которым ездили жители приграничной полосы и с русской, и с галицийской стороны). „Полупаски" стоили гроши, а самое главное—

менее они до чрезвычайности облегчали переезд через границу нашей нелегальной публике. Мы переправляли по полупаскам многих товарищей. Переправили таким путем Варвару Николаевну Яковлеву. Она перед тем бежала за границу из ссылки, где захворала туберкулезом, чтобы подлечиться и повидаться с братом, который жил в Германии. Обратно она ехала через Краков, надо было условиться о переписке, о работе. Проехала она благополучно. Только недавно я узнала, что при переезде через границу жандармы обратили внимание на то, что у нее большой чемодан, и хотели выяснить, туда ли она едет, куда взят был билет. Но кондуктор предупредил ее об этом и за определенную плату предложил купить ей билет до Варшавы, с которым она благополучно и проследовала дальше. По полупаску переправляли мы раз и Сталина. Надо было, когда на границе вызывают владельца полупасков, во-время откликнуться по-польски и сказать „естем“ („тут“). Помню, как я старалась обучить сей премудрости товарищей. Очень быстро налажен был и нелегальный переход через границу. С русской стороны были налажены явки через т. Крыленко, который жил в это время недалеко от границы—в Люблине. Таким путем можно было переправлять и нелегальную литературу. Надо сказать, что в Кракове полиция не чинила никакой слежки, не просматривала писем и вообще не находилась ни в какой связи с русской полицией. Однажды мы убедились в этом. К нам приехал как-то московский рабочий т. Шумкин за литературой, которую он хотел провезти в панцыре (особо сшитом и набитом литературой жилете). Был он большой конспиратор. Ходил по улице, нахлобучив фуражку на глаза. Мы пошли на митинг, повели и его с собой. Но он не пошел с нами, находя, что это неконспиративно, а пошел следом на известном расстоянии. Своим конспиративным видом он обратил на себя внимание краковской полиции. Пришел на другой день к нам полицейский чиновник и спросил, знаем ли мы приехавшего к нам человека и ручаемся ли за него. Мы сказали, что ручаемся. Шумкин настаивал на том, что он все же возьмет литературу; мы его пробовали отговаривать, но он настоял на своем и проехал благополучно.

Мы приехали летом, и т. Багоцкий присоветовал нам поселиться в краковском предместьи, так называемом Звежинце, где мы поселились в одном доме с Зиновьевыми. Грязь там была невероятная, но близко была река Висла, где можно было великолепно купаться, и километрах в пяти „Вольский ляс“—громадный чудесный лес, куда мы частенько ездили с Ильичем на велосипедах. Осенью мы переехали в другой конец города, во

вновь отстроенный квартал, где поселились и Багоцкий, и Зиновьевы.

Краков Ильичу очень нравился, он напоминал Россию. Новая обстановка, отсутствие эмигрантской сутолоки успокоили немного нервы. Внимательно вглядывался Ильич в мелочи быта краковского населения, его бедноты, его рабочего люда. Мне тоже Краков нравился. Когда-то в раннем детстве, в возрасте от двух до пяти лет, я жила в Польше, кое-что осталось в памяти, и мне милы казались деревянные открытые галлерейки во дворах, напоминали они мне те галлерейки, на ступеньках которых я играла когда-то с польскими и еврейскими ребятами; мне милы казались „огрудки" (садики), в которых продавалось „квасьне млеко с земняками" (кислое молоко с картофелем). Матери моей тоже это напоминало ее молодые годы, а Ильич радовался тому, что вырвался из парижского пленения; он весело шутил, подхваливал и „квасьне млеко", и польскую „моцну старку" (крепкую водку).

Из нас лучше всех польский язык знала Лилина; я знала плоховато, кое-что помнила с детства да в Сибири и Уфе немного занималась польским языком, но говорить сразу же пришлось по хозяйственной линии. С хозяйством дело было много труднее, чем в Париже. Не было газа, надо было топить плиту. Я попробовала было по парижскому обычаю спросить в мясной мяса без костей. Мясник воззрился на меня и заявил: „Господь бог корову сотворил с костями, так разве могу я продавать мясо без костей?" На понедельник булки надо было запасать заранее, потому что в понедельник булочники опохмелялись, и булочные были закрыты и т. д. и т. п. Надо было уметь торговаться. Были лавки польские и были лавки еврейские. В еврейских лавках все можно было купить вдвое дешевле, но надо было уметь торговаться, уходить из лавки, возвращаться и пр., терять на это массу времени.

Евреи жили в особом квартале, ходили в особой одежде. В больнице, в ожидании приема у доктора, ожидающие больные всерьез вели дискуссию о том, еврейское дитя такое же, как польское, или нет, проклято оно или нет. И тут же сидел молча еврейский мальчик и слушал эту дискуссию. Власть католического духовенства—ксендзов—в Кракове была безгранична. Ксендзы оказывали материальную помощь погорельцам, старухам, сиротам, монастыри женские подыскивали места прислуге и защищали ее права перед хозяевами, церковные службы были единственным развлечением забитого, темного населения. В Галиции прочно еще держались крепостнические обычаи, которые като-

лическая церковь поддерживала. Например, барыня в шляпке на базаре нанимает прислугу. Стоит человек десять крестьянок, желающих наняться в прислуги, и все целуют у барыни руку. За все полагалось давать на чай. Получив на чай, столяр или извозчик валятся на колени и кланяются в землю. Но зато и ненависть к барам здоровая жила в массах. Няня, которую взяли Зиновьевы к своему малышу, каждое утро ходила в костел, была прямо прозрачная от постов и молитв, и все же раз, когда разговорилась я с ней как-то, рассказала, что ненавидит она бар, что она жила три года у какой-то офицерши, которая, как и все баре, спала до 11 часов, пила кофе в кровати и заставляла прислугу одевать ее, натягивать чулки, и фанатически богомольная няня говорила, что если будет революция, она первая пойдет на бар с вилами в руках. Нищета, затоптанность крестьян и бедного люда проглядывала во всех мелочах и была еще больше, чем в то время даже у нас в России.

В Кракове Владимир Ильич встретился с т. Ганецким, который был в свое время делегатом от социал-демократии Польши и Литвы на II, а потом на Стокгольмском и на Лондонском съездах нашей партии, был туда делегирован от Главного правления*. От Ганецкого и от других польских товарищей узнал Владимир Ильич подробности раскола, происшедшего среди польской социал-демократии. Главное правление подняло кампанию против Варшавского комитета, который поддерживала вся варшавская организация. Варшавский комитет требовал от Главного правления более принципиальной линии, определенной позиции в отношении к внутрипартийным делам РСДРП. Главное правление распустило Варшавский комитет и стало распространять слухи, что Варшавский комитет имеет связи с охранкой. Владимир Ильич взял сторону Варшавского комитета („розламовцев"), написал в их защиту статью, написал в Международное социалистическое бюро, протестуя против действий Главного правления. Варшавский комитет был крепко связан с массами Варшавы и других рабочих центров (Лодзи и др.). Владимир Ильич не считал, что дело „розламовцев" какое-то чужое дело,—оно было неразрывно связано со всей, такой острой в тот момент, внутрипартийной борьбой, и потому Владимир Ильич не мог остаться в стороне. Но главное внимание его было все же поглощено русскими делами.

В Питер для подготовки избирательной компании из наших заграничников поехали из Парижа близкие товарищи—Сафаров и

---

* ЦК польской с.-д. партии. *Ред.*

Инесса Арманд.

Инесса. Ехали с чужими паспортами. Инесса заезжала к нам в Краков, когда мы жили еще в Звежинце. Два дня прожила у нас, сговорились с ней обо всем, снабдили ее всякими адресами, связями, обсудили они с Ильичем весь план работы. По дороге Инесса должна была заехать к Николаю Васильевичу Крыленко, который жил в Польше неподалеку от галицийской границы, в Люблине, чтобы организовать через него переход через границу для едущих в Краков. Через Инессу и Сафарова знали мы довольно подробно о том, что делается в Питере. Они там, разыскав связи, повели большую массовую работу по ознакомлению рабочих с резолюциями Пражской конференции и теми задачами, которые стоят теперь перед партией. Нарвский район стал их базой. Восстановлен был Петербургский комитет (ПК), а потом образовано Северное областное бюро, куда кроме Инессы и Сафарова вошли Шотман и его товарищи Рахья и Правдин. С ликвидаторами шла в Питере острая борьба. Работа Северного областного бюро подготовила почву для выборов в депутаты от Питера Бадаева—большевика, рабочего-железнодорожника. В рабочих массах Питера ликвидаторы теряли влияние; рабочие видели, что вместо революционной борьбы ликвидаторы становились на путь реформы, по существу дела стали вести линию либеральной рабочей политики. С ликвидаторами необходима была непримиримая борьба. Вот почему Владимира Ильича так волновало, что „Правда“ вначале упорно вычеркивала из его статей полемику с ликвидаторами. Он писал в „Правду“ сердитые письма. Лишь постепенно ввязалась „Правда“ в эту борьбу.

В Петербурге выборы уполномоченных по рабочей курии были назначены на воскресенье 16 сентября. Полиция готовилась к выборам. 14-го были арестованы Инесса и Сафаров. Но не знала еще полиция, что 12-го приехал бежавший из ссылки Сталин. Выборы по рабочей курии прошли с большим успехом, они не дали ни одного правого кандидата, повсюду приняты были резолюции политического характера.

Весь октябрь все внимание было приковано к выборам. Рабочая масса по традиции и в силу отсталости в целом ряде мест относилась еще равнодушно к выборам, не придавала им значения, нужна была широкая агитация. Все же везде прошли в депутаты от рабочих социал-демократы. Выборы во всех рабочих куриях крупнейших промышленных центров дали победу большевикам. Прошли рабочие партийцы, пользовавшиеся большим авторитетом. Большевистских депутатов в Думу попало шесть человек, меньшевиков—семь, но рабочие депутаты-большевики были представителями от миллиона рабочих, меньшевики—

менее чем от $^1/_4$ миллиона. Кроме того, с первых же шагов почувствовалась большая организованность, большая сплоченность большевистских депутатов. Дума открылась 18 октября и сопровождалась рабочими демонстрациями и забастовками. Большевистским депутатам приходилось работать в Думе вместе с меньшевиками. Между тем за последнее время внутрипартийные отношения обострились. В январе состоялась Пражская конференция, которая сыграла крупную роль в организации большевистских сил.

В конце августа 1912 г., по инициативе и при активном участии Троцкого, в Вене была созвана так называемая партийная конференция. Она созывалась под лозунгом объединения всех социал-демократических сил; совершенно не учитывалось, насколько разошлись дороги ликвидаторов и большевиков, как глубоко противоречило партийной линии поведение ликвидаторов. На конференцию были приглашены также и впередовцы. Конференция, как наперед можно было сказать, носила архиликвидаторский характер. В ней не принимали участия большевики, группировавшиеся около ЦК, отказались принимать в ней участие даже меньшевики—плехановцы и большевики—примиренцы, группировавшиеся около издаваемого за границей плехановского журнала „За партию". Не принимали участия и поляки, а приехавший на конференцию от группы „Вперед" Алексинский разоблачал слабый состав конференции. Громадное большинство участников конференции состояло из лиц, проживавших за границей, двое кавказских делегатов посланы были от Кавказского областного бюро, вообще все делегаты были выбраны очень узкими коллективами. Резолюции конференции были самые ликвидаторские. Из избирательной платформы исключен был лозунг демократической республики, лозунг конфискации помещичьей земли был заменен лозунгом „пересмотра аграрного законодательства III Государственной думы".

Борис Гольдман (Горев), один из основных докладчиков, говорил, что старой партии не существует, что данная конференция должна стать „учредительной". Даже Алексинский запротестовал. Августовское объединение, августовский блок, как его стали называть, противопоставлял себя ЦК, старался дискредитировать решения Пражской конференции. Под маской объединения социал-демократических сил было проведено объединение против большевиков.

А в России рабочее движение шло на подъем. Это показали выборы.

Тотчас после выборов к нам приехал т. Муранов, приехал не-

легально, перешел через границу. Ильич так и ахнул. „Вот был бы скандал,—говорил он Муранову,—если бы вы провалились! Вы депутат, обладаете неприкосновенностью, ничего не могло бы вам повредить, если бы вы приехали легально. А так мог бы произойти скандал". Муранов рассказал много интересного о выборах в Харькове, о своей партийной работе, о том, как он распространял листки через жену, как она ходила с ними на базар, и пр. Муранов был заядлым конспиратором, как-то не укладывалось у него в голове понятие „депутатская неприкосновенность". Поговорив с ним о предстоящей думской работе, Ильич стал торопить Муранова ехать обратно. В дальнейшем депутаты приезжали уже открыто.

Первое совещание с депутатами состоялось в конце декабря, начале января.

Первым приехал Малиновский, приехал какой-то очень возбужденный. В первую минуту он мне очень не понравился, глаза показались какими-то неприятными, не понравилась его деланная развязность, но это впечатление стерлось при первом же деловом разговоре. Затем подъехали еще Петровский и Бадаев. Депутаты рассказали о первом месяце своей работы, о своей работе с массами. Я помню, как Баданч, стоя в дверях и размахивая фуражкой, говорил: „Массы, они ведь подросли за эти годы". Малиновский производил впечатление очень развитого, влиятельного рабочего. Бадаев и Петровский, видимо, смущались, но сразу было видно—настоящие, надежные пролетарии, на которых можно положиться. Намечен был на этом совещании план работы, обсужден характер выступлений, характер работы с массами, необходимость самой тесной увязки с работой партии, с ее нелегальной деятельностью. На Бадаева была возложена обязанность заботиться о „Правде". Приезжал тогда с депутатами т. Медведев, рассказывал про свою работу по печатанию листков и пр. Ильич был страшно доволен. „Малиновский, Петровский и Бадаев,—писал он Горькому 1 января 1913 г.,—шлют Вам горячий привет и лучшие пожелания". И добавил: „Краковская база оказалась полезной: вполне „окупился" (с точки зрения дела) наш переезд в Краков" (Соч., т. XVI, стр. 220).

Осенью, в связи с вмешательством в балканские дела „великих держав", очень сильно запахло войной. Международное бюро организовало повсюду митинги протеста. Были они и в Кракове. Но в Кракове митинг протеста был довольно своеобразный. Он гораздо больше был митингом, организующим ненависть масс к России, чем митингом протеста против войны.

Международное социалистическое бюро назначило на 11—12 ноября чрезвычайный конгресс Социалистического Интернационала в Базеле. Представителем от ЦК РСДРП на Базельском конгрессе был Каменев.

Возмутила Владимира Ильича статья Каутского, помещенная в „Neue Zeit", статья насквозь оппортунистическая, в которой говорилось, что было бы ошибкой, если бы рабочие стали организовывать против войны вооруженные восстания или забастовки. Об организующей роли забастовок в революции 1905 г. Владимир Ильич уже тогда много писал. После статьи Каутского еще тщательнее—в ряде статей—стал он освещать этот вопрос. Придавал он забастовкам громадное значение, как и всякому непосредственному активному действию рабочих масс.

На Штутгартском конгрессе 1907 г., за пять лет перед Базельским конгрессом, уже рассматривался вопрос о войне и был решен в духе революционного марксизма. За эти пять лет оппортунизм сделал колоссальные успехи. Статья Каутского была яркой иллюстрацией тому. Однако на Базельском конгрессе принят был еще единогласно манифест против войны, была организована многолюдная антивоенная демонстрация. И лишь 1914 год показал, как насквозь заражен был II Интернационал оппортунизмом.

В краковский период—в годы перед началом империалистской войны—Владимир Ильич уделял очень много внимания национальному вопросу. С ранней молодости привык он ненавидеть всякий национальный гнет. Слова Маркса, что нет большего несчастья для нации, как покорить себе другую нацию, были для него близки и понятны.

Надвигалась война, росли националистические настроения буржуазии, национальную вражду разжигала буржуазия всячески. Надвигавшаяся война несла с собой угнетение слабых национальностей, подавление их самостоятельности. Но война должна будет неминуемо—для Ильича это было несомненно—перерасти в восстание, угнетенные национальности будут отстаивать свою независимость. Это их право. Еще в 1896 г. Лондонский международный конгресс подтвердил это право. В такой момент, как конец 1912 г., начало 1913 г., перед лицом надвигавшейся войны недооценка права наций на самоопределение вызывала у Владимира Ильича негодование. Августовский блок не только не поднялся на ту высоту, которую требовал текущий момент, не только не заострил этого вопроса, а принял постановление, что культурно-национальная автономия*, по поводу которой шли

* Требование культурно-национальной автономии было выдвинутВ в 1905 г. Бундом и формулировано им следующим образом: изъятие из

споры еще в 1903 г. во время II съезда партии и которая тогда была провалена, совместима-де с пунктом программы, говорящим о праве наций на самоопределение. Это была сдача позиций в национальном вопросе, ограничение всей борьбы одной только борьбой за культуру, точно не ясно, что культура тысячью нитей неразрывно связана со всем политическим укладом. Ильич видел в этом оппортунизм, дальше которого нельзя было итти. Но главные споры в вопросе о праве наций на самоопределение шли с поляками. Они утверждали—и Роза Люксембург, и „розламовцы",—что право наций на самоопределение не значит право на отделение. Ильич понимал корни польской настороженности в вопросе права на самоопределение. Ненависть к царизму жила в польских массах—это приходилось наблюдать каждодневно в Кракове: один вспоминал, что пережил его отец, который во время польского восстания еле избежал виселицы; другой вспоминал, как царские власти издевались над могилами его близких, пуская на кладбище свиней, и т. д., и т. п. Русский царизм не просто угнетал, не было границ его издевательствам.

Надвигалась война и рос не только черносотенный национализм, не только шовинизм буржуазии господствующих стран, росли и надежды на освобождение угнетенных национальностей. ППС (Польская партия социалистична) все больше и больше мечтала о независимости Польши. Растущий сепаратизм ППС—партии насквозь мелкобуржуазной—вызывал опасения польской социал-демократии. И польские социал-демократы возражали против отделения. Ильич встречался с польскими пепеэсовцами, несколько раз говорил с одним из их видных работников—Иодко, слышал выступления Дашинского, поэтому он понимал, что̀ вызывает опасения поляков. „Но нельзя же,—говорил он,— подходить к вопросу о праве наций на самоопределение только с польской точки зрения!"

Споры по национальному вопросу, возникшие еще во время II съезда нашей партии, развернулись с особой остротой перед войной в 1913—1914 гг., потом продолжались в 1916 г. в разгар империалистской войны. Ильич в этих спорах играл ведущую роль, четко и твердо ставил вопросы, и эти споры не прошли бесследно. Они дали возможность нашей партии правильно разрешить национальный вопрос в рамках Советского государства,

---

ведения государства и органов местного и областного самоуправления функций, связанных с вопросами культуры (народное образование и пр.) и передача их нации в лице особых учреждений — местных и центральных, избираемых всеми ее членами на основе всеобщего, равного, прямого и тайного голосования. *Н. К.*

создав Союз советских социалистических республик, который не знает неравноправных национальностей, какого-либо суженья их прав. Мы видим в нашей стране быстрый культурный рост национальностей, находившихся раньше под нестерпимым гнетом, мы видим, как все теснее и теснее растет смычка всех национальностей в СССР, объединяющихся на общей социалистической стройке.

Было бы ошибкой, однако, думать, что национальный вопрос заслонял в краковский период у Ильича такие вопросы, как крестьянский вопрос, которому он всегда придавал громадное значение. За краковский период Владимир Ильич написал более 40 статей по крестьянскому вопросу. Для депутата Шагова Ильич написал обстоятельный доклад „К вопросу об аграрной политике (общей) современного правительства", написал доклад для Г. И. Петровского „К вопросу о смете министерства земледелия"; в Кракове начал он большую работу на основе изучения американских данных „Новые данные о законах развития капитализма в земледелии". Америка славится точностью и богатством своей статистики. Эта работа Ильича имела в виду опровергнуть взгляды Гиммера (Гиммер—фамилия столь известного теперь по линии вредительства Суханова). „Гиммер,—пишет Владимир Ильич,—не первый встречный, не случайный автор случайной журнальной статейки, а один из самых видных экономистов, представляющих наиболее демократическое, крайне левое *буржуазное* направление русской и европейской общественной мысли. Именно поэтому взгляды г. Гиммера способны иметь—а среди непролетарских слоев населения уже отчасти имеют—особенно широкое распространение и влияние. Ибо это не его личные взгляды, не его индивидуальные ошибки, а лишь особенно демократизированное, особенно подкрашенное якобы социалистической фразеологией выражение обще-буржуазных взглядов, к которым легче всего приходит в обстановке капиталистического общества и казенный профессор, идущий по проторенной дорожке, и мелкий земледелец, выделяющийся своей сознательностью из миллионов ему подобных.

Теория некапиталистической эволюции земледелия в капиталистическом обществе, защищаемая г. Гиммером, есть в сущности теория громадного большинства буржуазных профессоров, буржуазных демократов и оппортунистов в рабочем движении всего мира" (Соч., т. XVII, стр. 576).

Начатая в Кракове брошюра об американском земледелии была закончена в 1915 г., а напечатана лишь в 1917 году.

Восемь лет спустя, в 1923 г., уже больной, Ильич листовал

записки Суханова о революции и диктовал по поводу них статью („О нашей революции"—названа ее „Правда"). Он говорил в этой статье: „В настоящее время уже нет сомнений, что в основном мы одержали победу" (Соч., т. XXVII, стр. 401). Суханов этого не понял. Ильич диктовал: „Перелистывал эти дни записки Суханова о революции. Бросается особенно в глаза педантство всех наших мелкобуржуазных демократов, как и всех героев II Интернационала. Уже не говоря о том, что они необыкновенно трусливы... бросается в глаза их рабская подражательность прошлому.

— Они все называют себя марксистами, но понимают марксизм до невозможной степени педантски. Решающего в марксизме они совершенно не поняли: именно, его революционной диалектики.

...Во всем своем поведении они обнаруживают себя, как трусливые реформисты, боящиеся отступить от буржуазии, а тем более порвать с ней" (там же, стр. 398). И далее Ильич говорил о том, что мировая империалистическая война создала такие условия, „когда мы могли осуществить именно тот союз „крестьянской войны" с рабочим движением, о котором, как об одной из возможных перспектив, писал такой „марксист", как Маркс, в 1856 г. по отношению к Пруссии" (там же, стр. 400).

Прошло еще восемь лет. Ильича нет уже в живых. Суханов попрежнему не понимает, какие предпосылки для строительства социализма создал Октябрь, активно стремится помешать тому, чтобы вырваны были с корнем остатки капитализма, не видит, как изменилось лицо нашей страны. Крепнут колхозы и совхозы, поднимают целину комбайны, старые не паханные полосыньки уходят в далекое прошлое, по-новому организуется труд, изменился весь облик сельского хозяйства.

В многочисленных своих статьях, писанных за краковский период, Ильич охватывает целый ряд важнейших вопросов, дающих яркую картину положения крестьянского и помещичьего хозяйства, рисующих аграрную программу различных партий, вскрывающих характер правительственных мероприятий, будящих внимание к целому ряду вопросов чрезвычайной важности: тут и переселенческое дело, и наемный труд в сельском хозяйстве, и детский труд, и торговля землей, и мобилизация крестьянских земель и пр. Знал деревню и крестьянские нужды Ильич очень хорошо, и всегда чувствовали, видели это и рабочие, и крестьяне.

Подъем революционного рабочего движения в конце 1912 г.

и та роль, которую играла в этом подъеме „Правда“, был очевиден для всех, в том числе и для впередовцев.

В ноябре 1912 г. Алексинский обратился в редакцию „Правды“ от имени парижской группы впередовцев, предлагая сотрудничество в „Правде“. Алексинский написал ряд статей для „Правды“, а в сборнике впередовцев „На темы дня“ № 3 писал даже о необходимости прекращения борьбы внутри большевиков и блока всех большевиков для борьбы с ликвидаторами. Редакция „Правды“ поместила в список сотрудников не только членов Парижской группы, в которую входил Алексинский, но и Богданова. Об этом Ильич узнал лишь из газет. Особенностью Ильича было то, что он умел отделять принципиальные споры от склоки, от личных обид, и интересы дела умел ставить выше всего. Пусть Плеханов ругал его ругательски, но если с точки зрения дела важно было с ним объединиться, Ильич на это шел. Пусть Алексинский с дракой врывался на заседания группы, всячески безобразил, но если он понял, что надо работать во-всю в „Правде“, пойти против ликвидаторов, стоять за партию, Ильич искренне этому радовался. Таких примеров можно привести десятки. Когда Ильича противник ругал, Ильич кипел, огрызался во-всю, отстаивая свою точку зрения, но когда вставали новые задачи и выяснялось, что с противником можно работать вместе, тогда Ильич умел подойти ко вчерашнему противнику, как к товарищу. И для этого ему не нужно было делать никаких усилий над собой. В этом была громадная сила Ильича. При всей своей принципиальной настороженности он был большой оптимист по отношению к людям. Ошибался он другой раз, но в общем и целом этот оптимизм был для дела очень полезен. Но, если принципиальной спетости не получалось, не было и примирения.

В письме к Горькому Ильич писал: „Вашу радость по поводу возврата впередовцев от всей души готов разделить, *ежели... ежели* верно Ваше предположение, что „махизм, богостроительство и все эти штуки увязли навсегда“, как Вы пишете. Если это так, если это впередовцы поняли или поймут теперь, тогда я к вашей радости по поводу их возврата присоединяюсь горячо. Но я подчеркиваю «*ежели*», ибо это пока еще пожелание больше, чем факт... Не знаю, *способны* ли Богданов, Базаров, Вольский (полуанархист), Луначарский, Алексинский *научиться* из тяжелого опыта 1908—1911 годов? Поняли ли они, что *марксизм* штука посерьезнее, потлубже, чем им казалось, что нельзя над ней глумиться, как делывал Алексинский, или тре-

тировать ее как мертвую вещь, как делали остальные? *Ежели* поняли,—тысячу им приветов, и все личное (неизбежно внесенное острой борьбой) пойдет в минуту на смарку. Ну, а ежели не поняли, не научились, тогда не взыщите: дружба дружбой, а служба службой. За попытки поносить марксизм или путать политику рабочей партии воевать будем, не щадя живота.

Я *очень* рад, что нашлась *дорога* к постепенному возврату впередовцев именно через „Правду", которая непосредственно их не била. Очень рад. Но именно в интересах *прочного* сближения надо теперь итти к нему медленно, *осторожно*. Так я написал и в „Правду". На это должны направить свои усилия и друзья воссоединения впередовцев с нами: осторожный, опытом проверяемый, *возврат* впередовцев *от* махизма, отзовизма, богостроительства может дать чертовски многое. Малейшая неосторожность и „рецидив болезни махистской, отзовистской и пр."—и борьба вспыхнет еще злее... Не читал новой „Философии живого опыта" Богданова: наверное тот же махизм в новом наряде"... (Соч., т. XVI, стр. 221).

Когда читаешь теперь эти строки, так и встает в памяти весь путь борьбы с впередовцами в весь этот период глубочайшего развала с 1908 по 1911 год. Теперь, когда этот период развала был уже позади, когда Ильич жил уже целиком русской работой, был захвачен нарастающим подъемом, он говорил уже более спокойно о впередовцах, только верил он мало или, вернее сказать, вовсе не верил, что Алексинский способен учиться у жизни, что Богданов перестанет быть махистом. Как Ильич ожидал, так и случилось. С Богдановым вышел скоро острый конфликт: под видом популярного разъяснения слова „идеология" он попытался протащить в „Правду" свою философию. Дело кончилось тем, что Богданов перестал числиться сотрудником „Правды".

В краковский период мысли Владимира Ильича шли уже по линии социалистического строительства. Конечно, сказать это можно только очень условно, ибо неясен был в то время даже еще путь социалистической революции в России, и все же без краковского периода полуэмиграции, когда руководство политической борьбой думской фракции наталкивало на все вопросы хозяйственной и культурной жизни во всей их конкретности, трудно было бы в первое время после Октября сразу схватывать все необходимые звенья советского строительства. Краковский период был своеобразной „нулевой группой" (приготовительным классом) социалистического строительства. Конечно, пока это была лишь самая черновая постановка этих

вопросов, но она была так жизненна, что имеет значение и по сию пору.

Очень много в это время Владимир Ильич уделял внимания вопросам культуры. В конце декабря в Питере были аресты и обыски среди учащихся гимназии Витмер. Гимназия Витмер не походила, конечно, на другие гимназии. Заведующая гимназией и ее муж в 90-х годах принимали активное участие в первых марксистских кружках, в 1905—1907 гг. они оказывали разные услуги большевикам. В гимназии Витмер никто не запрещал учащимся заниматься политикой, устраивать кружки и пр. Вот на эту-то гимназию и устроила набег полиция. Относительно арестов учащихся был сделан запрос в Думе. Министр Кассо давал объяснения; большинством голосов его объяснения признаны были неудовлетворительными.

В статье, написанной для 3-го и 4-го номеров „Просвещения" за 1913 г., „Возрастающее несоответствие", в главе 10, Владимир Ильич, отмечая, что Государственная дума в связи с арестом учащихся гимназии Витмер выразила недоверие министру народного просвещения Кассо, пишет, что не только это надо знать народу. „Народу и демократии надо знать *мотивы* недоверия, чтобы *понимать* причины явления, признаваемого ненормальным в политике, и чтобы уметь найти *выход* к нормальному" (там же, стр. 323). И Ильич разбирает формулы перехода к очередным делам различных партий. Разобрав формулу перехода социал-демократов, Владимир Ильич пишет:

„Едва ли можно признать безупречной и эту формулу. Нельзя не пожелать ей более популярного и более обстоятельного изложения, нельзя не пожалеть, что не указана законность занятия политикой и т. д. и т. п.

Но наша критика *всех формул* вовсе не направлена на частности редактирования, а исключительно на *основные политические идеи* авторов. Демократ должен был сказать главное: кружки и беседы *естественны и отрадны*. В этом суть. Всякое осуждение вовлечения в политику, хотя бы и „раннего", есть лицемерие и обскурантизм. Демократ должен был поднять вопрос *от* „объединенного министерства" к государственному строю. Демократ должен был отметить „неразрывную связь", во-первых, „с господством охранной полиции", во-вторых, с господством в экономической жизни класса крупных помещиков феодального типа" (там же, стр. 326). Так учил Владимир Ильич конкретные вопросы культуры связывать с большими политическими вопросами.

Говоря о культуре, Ильич всегда подчеркивал связь культуры с общим политическим и экономическим укладом. Резко выступая против лозунга культурно-национальной автономии, Ильич писал: „Пока разные нации живут в одном государстве, их связывают миллионы и миллиарды нитей экономического, правового и бытового характера. Как же можно вырвать школьное дело из этих связей? Можно и его „изъять из ведения" государства, как гласит классическая, по рельефному подчеркиванию бессмыслицы, бундовская формулировка? Если экономика сплачивает живущие в одном государстве нации, то попытка разделить их раз навсегда для области „культурных" и в особенности школьных вопросов нелепа и реакционна. Напротив, надо добиваться *соединения* наций в школьном деле, чтобы в школе подготовлялось то, что в жизни осуществляется. В данное время мы наблюдаем неравноправие наций и неодинаковость их уровня развития; при таких условиях разделение школьного дела по национальностям *фактически* неминуемо будет *ухудшением* для более отсталых наций. В Америке в южных, бывших рабовладельческих, штатах до сих пор выделяют детей негров в особые школы, тогда как на севере белые и негры учатся вместе" (Соч., т. XVII, стр. 92—93).

В феврале 1913 г. Владимир Ильич написал специальную статью „Русские и негры", в которой стремился показать, как бескультурье, культурная отсталость одной национальности заражает культуру другой национальности, как культурная отсталость одного класса накладывает печать на культуру всей страны.

Чрезвычайно интересно то, что говорил в то время Владимир Ильич о пролетарской политике в школьном деле. Возражая против культурно-национальной автономии, „изъятия из ведения государства" школьного дела, он писал: „Интересы демократии вообще, а интересы рабочего класса в особенности, требуют как раз обратного: надо добиваться *слияния* детей *всех* национальностей в *единых* школах данной местности; надо, чтобы рабочие всех национальностей *сообща* проводили ту пролетарскую политику в школьном деле, которую так хорошо выразил депутат владимирских рабочих Самойлов, от имени российской социал-демократической рабочей фракции Государственной думы". (Самойлов требовал отделения церкви от государства и школы от церкви, требовал полной светскости школы) (Соч., т. XVII, стр. 114). Владимир Ильич говорил также о том, что обслуживание национальных меньшинств в деле изучения учащимися своей культуры легко будет наладить

при действительной демократии, при полном изгнании бюрократизма и „передоновщины“ * из школы.

Для т. Бадаева летом 1913 г. Ильич написал проект речи в Думе „К вопросу о политике министерства народного просвещения“, которую Бадаев и произнес, но председатель не дал ему ее договорить и лишил его слова.

В этом проекте Ильич приводил ряд цифровых данных, рисующих чудовищную культурную отсталость страны, ничтожность средств, отпускаемых на народное образование, показывал, как политика царского правительства заграждает девяти десятым населения путь к образованию. В этом проекте писал Ильич „о бесшабашном, бесстыдном, отвратительном произволе правительства в обращении с учителями“. И опять приводил сравнения с Америкой. В Америке 11% неграмотных, а среди негров 44% неграмотных. „Но американские негры все же *более чем вдвое* лучше поставлены в отношении „народного просвещения“, чем русские крестьяне“ (Соч., т. XVI, стр. 411). Негры потому в 1900 г. были грамотнее русских крестьян, что американский народ полвека тому назад разбил наголову американских рабовладельцев. И русскому народу надо было прогнать свое правительство для того, чтобы стать страной грамотной, культурной.

В речи, написанной для т. Шагова, Ильич писал о том, что только передача помещичьей земли крестьянам может помочь России стать грамотной. В статье, написанной в тот же период: „Что можно сделать для народного образования?“, Ильич подробно описывал постановку библиотечного дела в Америке, писал о необходимости наладить так дело и у нас. В июне же месяце он написал свою статью „Рабочий класс и неомальтузианство“, где писал: „Мы боремся лучше, чем наши отцы. Наши дети будут бороться еще лучше, и *они победят*.

Рабочий класс не гибнет, а растет, крепнет, мужает, сплачивается, просвещается и закаляется в борьбе. Мы—пессимисты насчет крепостничества, капитализма и мелкого производства, но мы—горячие оптимисты насчет рабочего движения и его целей. Мы уже закладываем фундамент нового здания, и наши дети достроят его“ (Соч., т. XVI, стр. 498).

Не только на вопросы культурного строительства обращал

---

* Передонов — учитель гимназии — герой романа Сологуба „Мелкий бес“ — мещанин до мозга костей, пошлый и грязный, одержимый прислужничеством, мелко-злобный, пользующийся случаем, чтобы всем напакостить, бюрократ и самодур. *Н. К.*

внимание Ильич, но и на целый ряд других вопросов, имеющих практическое значение в деле строительства социализма.

Характерны именно для краковского периода такие статьи, как „Одна из великих побед техники", где Владимир Ильич сравнивает роль великих изобретений при капитализме и при социализме. При капитализме изобретения ведут к обогащению кучки миллионеров, для рабочих—к ухудшению общего их положения, к росту безработицы. „При социализме применение способа Рамсэя, освобождая труд миллионов горнорабочих и т. д., позволит сразу сократить *для всех* рабочий день с 8 часов, к примеру, до 7, а то и меньше. „Электрификация" всех фабрик и железных дорог сделает условия труда более гигиеничными, избавит миллионы рабочих от дыма, пыли и грязи, ускорит превращение грязных отвратительных мастерских в чистые, светлые, достойные человека лаборатории. Электрическое освещение и электрическое отопление каждого дома избавит миллионы „домашних рабынь" от необходимости убивать три четверти жизни в смрадной кухне.

Техника капитализма с каждым днем все более и более *перерастает* те общественные условия, которые осуждают трудящихся на наемное рабство" (там же, стр. 369). 18 лет тому назад думал Ильич об „электрификации", семичасовом рабочем дне, фабриках-кухнях, о раскрепощении женщин.

Статья „Одна из молодых отраслей промышленности" показывает, что 18 лет тому назад уже обдумывал Ильич, какое будет иметь значение развитие автомобильного дела при социализме. В статье „Железо в крестьянском хозяйстве" Ильич называл железо—„железным фундаментом культуры страны". „Болтать о культуре, о развитии производительных сил, о поднятии крестьянского хозяйства и т. п.—мы большие мастера и великие любители. Но как только речь зайдет об устранении того камня, который мешает „поднятию" миллионов обнищалого, забитого, голодного, босого, дикого крестьянства,—тут у наших миллионеров прилипает язык к гортани...

Миллионеры нашей промышленности предпочитают делить с Пуришкевичами их средневековые привилегии да вздыхать об избавлении „атечиства" от средневековой антикультурности" (там же, стр. 557—558).

Но особый интерес представляет статья Ильича „Идеи передового капитала". В этой статье он разбирает идеи американского купца—миллионера Филэна, старавшегося уверить массы, что предприниматели должны стать их вождями, потому что они все лучше и лучше учатся понимать общность своих

интересов и интересов массы. Растет демократия, растет сила масс, растет дороговизна жизни. Парламентаризм и ежедневная, в миллионах экземпляров распространяемая печать все обстоятельнее осведомляют массы народа. Одурачить массы, уверить их, что нет противоположности интересов между трудом и капиталом, пойти ради этого на некоторые затраты (привлечение служащих и квалифицированных рабочих к прибылям)—таковы идеи передового капитала. Разобрав суть идей передового капитала, Ильич восклицает: „Почтеннейший г. Филино! Окончательно ли уверены вы в том, что рабочие всего мира совсем уже простофили?“ (там же, стр. 528).

Эти статьи, писанные 18 лет назад, показывают, какие вопросы интересовали тогда Ильича с точки зрения строительства и как потом при советской власти эти вопросы оказывались уже знакомыми, надо было проводить лишь в жизнь то, что было уже продумано.

Еще осенью 1912 г. мы познакомились с Николаем Ивановичем Бухариным. Кроме Багоцкого, с которым мы часто виделись, к нам первое время заходил поляк Казимир Чапинский, работавший в краковской газете „Напшуд“ („Вперед“). Так вот Чапинский много рассказывал о знаменитом краковском курорте Закопане, какие там горы замечательные, и красота какая неописуемая, и между прочим рассказывал, что там живет социал-демократ Орлов, который очень хорошо рисует закопанские горы. Вскоре после того, как мы перебрались из Звежинца в город, смотрим раз в окно и видим—идет какой-то молодяга с огромным холщевым мешком на плече. Это и оказался Орлов, он же Бухарин. Они довольно обстоятельно потолковали тогда с Ильичем. Бухарин жил тогда в Вене. С тех пор установилась у нас с Веной тесная связь. Там же жили и Трояновские. Когда мы стали спрашивать Николая Ивановича о его рисовании, он вытащил из своего холщевого мешка ряд великолепных изданий картин немецких художников, которые мы стали усердно рассматривать. Был там Беклин и ряд других художников. Владимир Ильич любил картины. Помню, как я удивлялась, когда Владимир Ильич забрал как-то у Воровского целый ворох иллюстрированных характеристик разных художников и стал их подолгу по вечерам читать и рассматривать приложенные картины.

В Краков заезжало теперь много народу. Ехавшие в Россию товарищи заезжали условиться о работе. Одно время у нас недели две жил Николай Николаевич Яковлев, брат Варвары Николаевны. Он ехал в Москву налаживать большевистский

„Паш Путь“. Был он твердокаменным надежным большевиком. Ильич очень много с ним разговаривал. Газету Николай Николаевич наладил, но она скоро была закрыта, а Николай Николаевич арестован. Дело немудреное, ибо „помогал“ налаживать „Паш Путь“ Малиновский, депутат от Москвы. Малиновский много рассказывал о своих объездах Московской губернии, о рабочих собраниях, которые он проводил. Помню его рассказ о том, как на одном из собраний присутствовал городовой, очень внимательно слушал и старался услужить. И, рассказывая это, Малиновский смеялся. Малиновский много рассказывал о себе. Между прочим рассказывал и о том, почему он пошел добровольцем в русско-японскую войну, как во время призыва проходила мимо демонстрация, как он не выдержал и сказал из окна речь, как был за это арестован и как потом полковник говорил с ним и сказал, что он его сгноит в тюрьме, в арестанских ротах, если он не пойдет добровольцем на войну. У него, говорил Малиновский, не было иного выхода. Рассказывал также, что жена его была верующей, и когда она узнала, что он—атеист, она чуть не кончила самоубийством, что и сейчас у ней бывают нервные припадки. Странны были рассказы Малиновского. Несомненно, доля правды в них была, он рассказывал о пережитом, очевидно только не все договаривал до конца, опускал существенное, неверно излагал многое.

Я потом думала—может быть, вся эта история во время призыва и была правдой, и, может, она и была причиной, что по возвращении с фронта ему поставили ультиматум или стать провокатором, или итти в тюрьму. Жена его действительно что-то болезненно переживала, покушалась на самоубийство, но, может быть, причина покушения была другая, может быть, причиной было подозрение мужа в провокатуре. Во всяком случае в рассказах Малиновского ложь переплеталась с правдой, что придавало всем его рассказам характер правдоподобности. Вначале и в голову никому не приходило, что Малиновский может быть провокатором.

Кроме Малиновского, правительство постаралось приставить еще провокатора непосредственно к „Правде“. Это был Черномазов. Он жил в Париже и, уезжая в Россию, также заезжал к нам в Краков, ехал работать в „Правду“. Нам Черномазов не понравился, и я даже ночовку ему не стала устраивать, пришлось ему ночь погулять по Кракову. Ильич придавал „Правде“ громадное значение, каждодневно почти посылал туда статьи. Усердно подсчитывал, где какие сборы были произведены на „Правду“, сколько статей на какую тему было на-

писано и т. д. Ужасно радовался, когда „Правда“ помещала удачные статьи, брала правильную линию. Однажды, в конце 1913 г., затребовал Ильич из „Правды“ списки подписчиков „Правды“, и недели две я сидела насквозь все вечера, разрезала вместе с моей матерью листы и подбирала подписчиков по городам, местечкам. Подписчики были на девять десятых рабочие. Попадается какое-нибудь местечко, где много подписчиков,—справишься, оказывается там завод какой-нибудь большой, о котором и не знала. Карта распространения „Правды“ получалась интересная. Только она не была напечатана, должно быть, Черномазов выбросил ее в корзину, а Ильичу она очень понравилась. Но бывали и хуже случаи—иногда, хотя и редко это было, пропадали без вести и статьи Ильича. Иногда статьи его задерживались, не помещались сразу. Ильич тогда нервничал, писал в „Правду“ сердитые письма, но помогало мало.

Не только едущие в Россию заезжали в Краков, приезжали и из России посоветоваться о делах. Помню приезд Николая Васильевича Крыленко вскоре после того, как у него побывала Инесса; он приезжал, чтобы покрепче условиться о сношениях. Помню, как рад был его приезду Ильич. Летом 1913 г. приезжали Гневич и Данский, чтобы условиться об издании „Вопросов Страхования“ в издательстве „Прибой“. Ильич придавал страховой кампании большое значение, считал, что эта кампания укрепит связь с массами.

В половине февраля 1913 г. было в Кракове совещание членов ЦК; приехали наши депутаты, приехал Сталин. Ильич Сталина знал по Таммерфорсской конференции, по Стокгольмскому и Лондонскому съездам. На этот раз Ильич много разговаривал со Сталиным по национальному вопросу, рад был, что встретил человека, интересующегося всерьез этим вопросом, разбирающегося в нем.

Перед этим Сталин месяца два прожил в Вене, занимаясь национальным вопросом, близко познакомился там с нашей венской публикой, с Бухариным, Трояновскими. После совещания Ильич писал Горькому о Сталине: „У нас один чудесный грузин засел и пишет для „Просвещения“ большую статью, собрав *все* австрийские и пр. материалы“ (Соч., т. XVI, стр. 328). Ильич нервничал тогда по поводу „Правды“, нервничал и Сталин. Столковывались, как наладить дело. На это совещание вызывался, кажется, т. Трояновский. Говорили о „Просвещении“, Владимир Ильич возлагал большие надежды на Трояновских. Трояновская, Елена Федоровна (Розмирович),

собиралась в Россию. Говорили о необходимости издания при „Правде“ целой серии брошюр. Планы были широкие.

Только перед этим пришла из дому посылка со всякой рыбиной—семгой, икрой, балыком; я извлекла по этому случаю у мамы кухарскую книгу и соорудила блины. И Владимир Ильич, который любил повкуснее и посытнее угостить товарищей, был архидоволен всей этой мурой. По возвращении в Россию 22 февраля Сталин был арестован в Петербурге.

Когда не было приездов, жизнь наша шла в Кракове довольно однообразно. „Живем, как в Шуше,—писала я матери Владимира Ильича,—почтой больше. До 11 часов стараемся время провести как-нибудь, в 11 часов—первый почтальон, потом 6 часов никак дождаться не можем“. К библиотекам краковским Владимир Ильич плохо приспособился. Начал было кататься на коньках, да пришла весна. Под Пасху мы пошли с ним в „Вольский ляс“. В Кракове хорошая весна, чудесно было ранней весной в лесу, распушились кустарники желтым цветом, налились ветки деревьев по-весеннему. Пьянит весна. Но назад долго плелись мы, пока дошли до города; домой надо было итти через весь город, трамваи не ходили по случаю страстной субботы, а у меня все силы ушли куда-то. Зиму 1913 г. я прохворала, стало скандалить сердце, дрожать руки, а главное напала слабость. Ильич настоял, чтобы я пошла к доктору, доктор сказал: тяжелая болезнь, нервы надорвались, сердце переродилось—базедова болезнь, надо ехать в горы, в Закопане. Пришла домой, рассказываю, что сказал доктор. Жена сапожника, приходившая к нам топить печи и ходить за покупками, возмегодовала: „Разве вы нервная?—это барыни нервные бывают, те тарелками швыряются!“ Тарелками я не швырялась, но для работы в таком состоянии была мало пригодна.

На лето мы, Зиновьевы и Багоцкие со своей знаменитой собакой Жуликом перебрались в Поронин, в 7 километрах от Закопане. Закопане слишком людно было и дорого. Поронин—попроще, подешевле. Наняли дачу большую. Место было высокое—700 метров, предгорье Татр. Воздух был удивительный, хотя был постоянный туман и накрапывал обычно мелкий дождишко, но в промежутки вид на горы был чудесный. Мы взбирались на плоскогорье, которое начиналось от нашей дачи, и смотрели на белоснежные вершины Татр. Красивые они. Ильич ездил иногда с Багоцким в Закопане, и они вместо с закопанской публикой (Вигелевым) делали большие прогулки по горам. Ходить по горам страшно любил Ильич. Горы мне помогали плохо,

я все больше и больше приходила в инвалидное состояние и, посоветовавшись с Багоцким—Багоцкий был врач-невропатолог,—Ильич настоял на поездке в Берн, чтобы оперироваться у Кохера. Поехали в половине июня, по дороге заезжали в Вену, побывали у Бухариных. Жена Николая Ивановича—Надежда Михайловна—лежала в лежку, Николай Иванович занимался хозяйством, сыпал в суп вместо соли сахар и оживленно толковал с Ильичем о вопросах, интересовавших Ильича, рассказывал про венскую публику. Повидали мы некоторых товарищей-венцев, побродили по Вене. Она—своеобразная, большой столичный город, после Кракова нам очень понравилась. В Берне попали под шефство Шкловских, которые с нами всячески возились. Они нанимали особый домик с садом. Ильич шутил с младшими девочками, дразнил Женюрку. Я пробыла около трех недель в больнице, Ильич полдня сидел у меня, а остальное время ходил в библиотеки, много читал, даже перечитал целый ряд медицинских книг по бэдеке, делал выписки по интересовавшим его вопросам. Пока я лежала в больнице, он ездил с рефератами по национальному вопросу в Цюрих, Женеву и Лозанну, читал реферат на эту тему и в Берне. В Берне—уже после моего выхода из больницы—состоялась конференция заграничных групп, где обсуждалось положение дел в партии. Надо было бы после операции еще недели две провести в полулежачем состоянии в горах на Беатенберге, куда посылал Кохер, но из Поронина шли вести, что много спешных, экстренных дел, пришла телеграмма от Зиновьева, и мы двинулись в обратный путь.

Заезжали в Мюнхен. Там жил Борис Книпович—племянник Дяденьки, Лидии Михайловны Книпович, которого я знала с раннего детства, которому рассказывала когда-то сказки. Влезет, бывало, четырехлетний голубоглазый Бориска на колени, обнимет шею и заказывает: „Крупа—сказку об оловянном солдате“. В 1905—1907 гг. Борис был активным организатором гимназических социал-демократических кружков. Летом 1907 г. после Лондонского съезда Ильич жил у Книповичей на даче в Финляндии в Стирсуддене. Борис был тогда лишь гимназистом, но уже интересовался марксизмом, прислушивался к тому, что говорил Ильич, знал, с каким уважением и любовью относится к Ильичу Дяденька.

В 1911 г. Борис был арестован и потом выслан за границу, где учился в Мюнхенском университете. В 1912 г. вышла его первая работа „К вопросу о дифференциации русского крестьянства“. Он послал ее Ильичу. Сохранилось письмо Ильича

к Борису—как-то особенно внимательно к молодому автору и заботливо написанное. „С большим удовольствием прочел я Вашу книгу и очень рад был видеть, что Вы взялись за большую серьезную работу. На такой работе проверить, углубить и закрепить марксистские убеждения, наверное, вполне удастся". И дальше Ильич делает очень осторожно несколько замечаний, дает несколько методических указаний.

Перечитывая это письмо, я вспоминаю отношение Ильича к малоопытным авторам. Смотрел на суть, на основное, обдумывал, как помочь исправить. Но делал он это как-то очень бережно, так, что и не заметит другой автор, что его поправляют. А помогать в работе Ильич здорово умел. Хочет, например, поручить кому-нибудь написать статью, но не уверен, так ли тот напишет, так сначала заведет с ним подробный разговор на эту тему, развьет свои мысли, заинтересует человека, прозондирует его как следует, а потом предложит: „Не напишете ли на эту тему статью?" И автор и не заметит даже, как помогла ему предварительная беседа с Ильичем, не заметит, что вставляет в статью Ильичевы словечки и обороты даже.

Мы хотели заехать в Мюнхен денька на два, посмотреть, каким он стал с того времени, как мы там жили в 1902 г., но так как мы очень торопились, то в Мюнхене пробыли лишь несколько часов—от поезда до поезда. Борис с женой приходили нас встречать, время провели в ресторане, славившемся каким-то особым сортом пива,—Hof-Bräu (Хофбрей) назывался ресторан. На стенах, на пивных кружках везде стоят буквы „Н. В."—„Народная Воля"—смеялась я. В этой-то „Народной Воле" и просидели мы весь вечер с Борей. Ильич похваливал мюнхенское пиво с видом знатока и любителя, поговорили они с Борисом о дифференциации крестьянства, вспоминали мы все вместе Дяденьку, Лидию Михайловну Книпович, которая хворала также тяжело базедкой. Ильич тут же настрочил ей письмо, убеждая поехать за границу и оперироваться у Кохера. Приехали мы в Поронин в начале августа, кажись, 6-го. В Поронине нас встретил привычный поронинский дождь. Лев Борисович Каменев сообщил целый ряд новостей, касающихся России.

На 9-е было назначено совещание членов Центрального комитета. „Правда" была закрыта. Стала выходить „Рабочая Правда", но почти каждый номер арестовывался. Поднималась стачечная волна, бастовали в Питере, Риге, Николаеве, в Баку.

Каменев поселился у нас наверху и по вечерам долго после ужина они с Ильичем засиживались в нашей большой кухне, обсуждая приходящие из России вести.

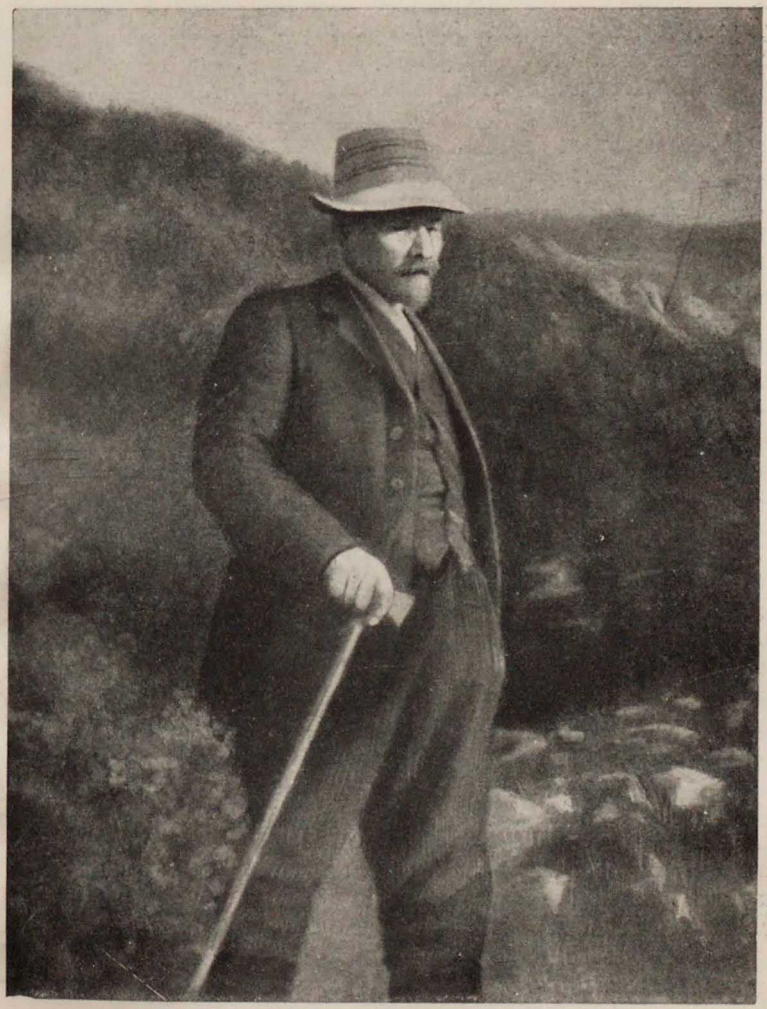
Шла подготовка партийной конференции, так называемого „летнего совещания". Оно состоялось в Поронине 22 сентября—1 октября. Приехали на него все депутаты, кроме Самойлова, двое московских выборщиков, Новожилов и Балашов, Розмирович из Киева, Сима Дерябина — от Урала, Шотман — от Питера и другие. От „Просвещения" был Трояновский, от поляков — Ганецкий и Домский и еще двое розламовцев (влияние розламовцев распространялось тогда на четыре крупнейших промышленных района—Варшавский, Лодзинский, Домбровский и Калишский).

Из депутатов помню только Малиновского. Говорили о газетах, „Рабочей Правде", о московской газете, о „Просвещении", об издательстве „Прибой", о тактике, какой следует держаться на предстоящем кооперативном и приказчичьем съездах, об очередных задачах.

В середине конференции приехала Инесса Арманд. Арестованная в сентябре 1912 г., Инесса сидела по чужому паспорту в очень трудных условиях, порядком подорвавших ее здоровье,— у ней были признаки туберкулеза,— но энергии у ней не убавилось, с еще большей страстностью относилась она ко всем вопросам партийной жизни. Ужасно рады были мы, все краковцы, ее приезду.

Всего на совещании было 22 человека. Решено было поставить вопрос о созыве партийного съезда. Со времен V Лондонского съезда прошло уже шесть лет, очень многое с тех пор изменилось. Рост рабочего движения делал съезд необходимым. На совещании стояли вопросы о стачечном движении, о подготовке всеобщей политической забастовки, о задачах агитации, издании ряда популярных брошюр, о недопустимости урезывания при агитации лозунгов демократической республики, конфискации помещичьих земель, 8-часового рабочего дня. Обсуждался вопрос, как вести работу в легальных обществах, как вести социал-демократическую работу в Думе. Особое значение имели решения о необходимости добиваться равноправия большевистской и меньшевистской групп в социал-демократической фракции, о недопустимости заголосовывания одним голосом большевиков со стороны семерки*, представлявшей

* Социал-демократическая фракция IV Гос. думы состояла из 13 членов (и одного неполноправного — ППС Ягелло), представителей обеих фракций: большевиков („шестерка") и меньшевиков („семерка"). Большевистская часть фракции состояла исключительно из рабочих и представляла широкие массы российского пролетариата, в то время как „семерка" являлась больше представительницей интересов мелкой буржуазии и ра-



В. И. Ленин в Закопане (Галиция).

взгляды лишь незначительного меньшинства рабочих. Другая важная резолюция была принята по национальному вопросу, отражавшая целиком взгляды Владимира Ильича по этому вопросу. Помню споры по этому вопросу в нашей кухне, помню страстность, с какой обсуждался этот вопрос.

На этот раз Малиновский нервничал во-всю. По ночам напивался пьяным, рыдал, говорил, что к нему относятся с недоверием. Я помню, как возмущались его поведением московские выборщики Балашов и Повожилов. Почувствовали они какую-то фальшь, комедию во всех этих объяснениях Малиновского.

После совещания мы прожили в Поронине еще около двух недель, много гуляли, ходили как-то на „Черный Став", горное озеро замечательной красоты, еще куда-то в горы.

Осенью мы все, вся наша краковская группа, очень сблизились с Инессой. В ней много было какой-то жизнерадостности и горячности. Мы знали Инессу по Парижу, но там была большая колония, в Кракове жили небольшим товарищеским замкнутым кружком. Инесса наняла комнату у той же хозяйки, где жил Каменев. К Инессе очень привязалась моя мать, к которой Инесса заходила часто поговорить, посидеть с ней, покурить. Уютнее, веселее становилось, когда приходила Инесса.

Вся наша жизнь была заполнена партийными заботами и делами, больше походила на студенческую, чем на семейную жизнь, и мы рады были Инессе. Она много рассказывала мне в этот приезд о своей жизни, о своих детях, показывала их письма, и каким-то теплом веяло от ее рассказов. Мы с Ильичем и Инессой много ходили гулять. Зиновьев и Каменев прозвали нас „партией прогулистов". Ходили на край города, на луг (луг по-польски — „блонь"). Инесса даже псевдоним себе с этих пор взяла — Блонина. Инесса была хорошая музыкантша, сагитировала сходить всех на концерты Бетховена, сама очень хорошо играла многие вещи Бетховена. Ильич особенно любил „Sonate pathétique", просил ее постоянно играть,—он любил музыку. Потом, уже в советские времена, ходил он к Цюрупе слушать, как играл эту сонату какой-то знаменитый музыкант. Много говорили о беллетристике. „Без чего мы прямо тут голо-

---

дикальной интеллигенции. Пользуясь своим формальным численным перевесом, меньшевики проводили по всем основным принципиальным вопросам свои резолюции от имени с.-д. фракции. „Шестерка" потребовала признания за собой равноправия в решении всех думских вопросов. Меньшевики ответили отказом. Тогда „шестерка" вышла из единой с.-д. фракции и образовала самостоятельную „российскую с.-д. фракцию". *Н. К.*

даем — это без беллетристики, — писала я матери Владимира Ильича.—Володя чуть не наизусть выучил Надсона и Некрасова, разрозненный томик „Анны Карениной“ перечитывал в сотый раз. Мы беллетристику нашу (ничтожную часть того, что было в Питере) оставили в Париже, а тут негде достать русской книжки. Иногда с завистью читаем объявления букинистов о 28 томах Успенского, 10 томах Пушкина и пр., и пр. Володя что-то стал, как нарочно, большим „беллетристом“. И националист отчаянный. На польских художников его калачом не заманишь, а подобрал, напр., у знакомых выброшенный ими каталог Третьяковской галлереи и погружался в него неоднократно“ („Письма к родным“, Гиз, 1931 г., стр. 395—396).

Сначала предполагалось, что Инесса останется жить в Кракове, выпишет к себе детей из России; я ходила с ней искать квартиру даже, но краковская жизнь была очень замкнутая, напоминала немного ссылку. Не на чем было в Кракове развернуть Инессе свою энергию, которой у ней в этот период было особенно много. Решила она объехать сначала наши заграничные группы, прочесть там ряд рефератов, а потом поселиться в Париже, там налаживать работу нашего комитета заграничных организаций. Перед отъездом ее мы много говорили о женской работе. Инесса горячо настаивала на широкой постановке пропаганды среди работниц, на издании в Питере специального женского журнала для работниц, и Ильич писал Анне Ильинишне о необходимости издавать такой журнал, который вскоре и начал выходить. Инесса очень много сделала в дальнейшем для развития работы среди работниц, отдала этому делу не мало сил.

В январе 1914 г. приехал в Краков Малиновский, и они вместе с Владимиром Ильичем поехали в Париж, а оттуда в Брюссель, чтобы присутствовать на IV съезде социал-демократии Латышского края, который открылся 13 января.

В Париже Малиновский сделал очень удачный — по словам Ильича — доклад о работе думской фракции, а Ильич делал большой открытый доклад по национальному вопросу, выступал на митинге, посвященном 9 января, а в группе парижских большевиков выступал по поводу желания Международного социалистического бюро вмешаться в русские дела с целью примирения и речи Каутского на декабрьском совещании Международного бюро о том, что социал-демократическая партия в России умерла. Это вмешательство Международного социалистического бюро в русские дела очень волновало Ильича, который ждал от этого вмешательства лишь тормоза для все

усиливающегося влияния большевиков в России. Ильич послал Гюисмансу доклад о положении дел внутри партии. Четвертый съезд социал-демократии Латышского края дал победу большевикам. На съезде были тт. Берзин, Лацис, Герман, ряд других латышских большевиков. Ильич выступил на съезде с докладом, призывая латышей примкнуть к Центральному комитету. В письме к матери Владимир Ильич писал, что эта поездка в Париж освежила его.

„Париж—город очень неудобный для жизни при скромных средствах и очень утомительный. Но побывать ненадолго, навестить, прокатиться—нет лучше и веселее города. Встряхнулся хорошо“ („Письма к родным“, Гиз., 1931 г., стр. 399—400).

Зимой, вскоре по возвращении Владимира Ильича из Парижа, решено было отправить в Россию Каменева для руководства „Правдой“ и работы с думской фракцией. И газете, и думской фракции была нужна подмога. За Каменевым приехали жена с маленьким сынишкой.

Сынишка Каменева и зиновьевский Степа очень серьезно спорили между собой, что такое Петербург—город или Россия. Начались сборы в Россию. Ходили мы все провожать их на вокзал. Был зимний холодный вечер. Говорили мало, только сынишка Каменева что-то толковал. Настроение было у всех сосредоточенное. Думалось, долго ли удастся Каменеву продержаться? Когда теперь придется встретиться? Когда-то и мы поедем в Россию? Каждый втайне мечтал о России, тянуло туда неудержимо. Мне по ночам все снилась Невская застава. Говорить на эту тему мы избегали, а про себя каждый об этом думал.

8 марта 1914 г. вышел в Питере первый номер „Работницы“—популярного журнала. Стоил номер—4 копейки. Петербургский комитет выпустил листовки о женском дне. В журнал „Работница“ писали из Парижа Инесса и Сталь, из Кракова—Лилина и я. Вышло семь номеров. В восьмом предполагалось дать статьи в связи с предстоящим женским социалистическим конгрессом в Вене, но выйти он не успел—пришла война.

Партийный съезд ладили устроить во время международного конгресса, который намечался в августе в Вене. Предполагалось, что часть публики сможет проехать легально. Затем через краковских рабочих—типографщиков—намечена была организация массового перехода через границу под видом экскурсантов.

В мае мы переехали опять в Поронин.

Для проведения подготовительной кампании к съезду в Пи-

тере были мобилизованы Киселев, Глебов-Авилов, Аня Никифорова. Они приехали в Поронин условиться обо всем с Ильичем. В первый день долго сидели мы на горке около нашей „дачи", и публика рассказывала про русскую работу. Публика молодая, полная энергии, очень понравилась Ильичу. Глебов-Авилов был в свое время учеником Болонской школы, теперь был твердым ленинцем. Ильич посоветовал приехавшим сходить в горы, но самому ему что-то нездоровилось, так что публика отправилась одна. Смеясь, они рассказывали, как и куда они лазили,—лазили на очень крутую вершину,—как мешали им мешки, как они несли их по очереди, и когда дошла очередь до Ани, все встречные смеялись и советовали взвалить себе на плечи еще и своих спутников. Условились о характере агитации за съезд. Получив все необходимые установки, Киселев поехал в Прибалтийский край, а Глебов-Авилов и Аня Никифорова на Украину.

Приезжал из Москвы и Аля, бывший ученик Каприйской школы, ставший провокатором. Не помню уж, под каким предлогом он приезжал, разговор шел о предполагавшемся съезде: надо же было охранке иметь возможно более точные сведения о предстоящем съезде.

Инесса на лето выписала детей из России и жила в Триесте у моря. Она готовила доклад к Международному женскому конгрессу, который должен был состояться в Вене одновременно с конгрессом Интернационала. Пришлось ей еще работать по другой линии. В половине июня Международное социалистическое бюро наметило созвать в Брюсселе совещание представителей 11 организаций РСДРП всех направлений и организовать там обмен мнений между этими организациями в целях установления единства. Несомненно, однако, было, что этим дело не ограничится, что ликвидаторы, троцкисты, бундовцы и пр. используют этот случай, чтобы ограничить деятельность большевиков, связать их рядом постановлений. В России влияние большевиков росло. Как указывает т. Бадаев в своей книжке „Большевики в Государственной думе", к лету 1914 г. в правлениях 14 профессиональных союзов из 18 существовавших в Петербурге большинство состояло из большевиков... На стороне большевиков были все наиболее крупные союзы, в том числе и союз металлистов, самый многочисленный и самый мощный из всех профессиональных организаций. Такое же соотношение наблюдалось и среди рабочей группы страховых учреждений. В состав столичных страховых органов уполномоченными от рабочих было избрано 37 большевиков и всего

7 меньшевиков, а во всероссийские страховые учреждения— 47 большевиков и 10 меньшевиков.

Широко организовались выборы на Международный конгресс в Вене. Большинство рабочих организаций мандаты на Международный социалистический конгресс передавало большевикам.

Успешно развивалась и подготовка к съезду партии. Начиная с весны, все подготовительные работы, связанные с созывом съезда, непрерывно усиливались. „Стоявшая перед нами задача,—пишет Бадаев,—в предсъездовский период укрепить и расширить местные партийные ячейки—была в значительной мере разрешена огромным подъемом в эти месяцы революционного движения в стране. Среди рабочих масс усилилась тяга к партии, в партийные организации вступали новые кадры революционно настроенных рабочих, работа руководящих коллективов партии все время шла на повышение. В связи с этим будущему съезду и стоявшим на его повестке вопросам было обеспечено большое внимание со стороны партийной рабочей массы“ (А. Е. Бадаев, „Большевики в Госуд. думе“, Гиз, 1932 г., стр. 293—294). К Бадаеву поступали довольно значительные денежные суммы, собранные в фонд по организации съезда. Он получил уже целый ряд мандатов, резолюций по вопросам, стоящим на съезде, наказов и т. п.

Тов. Бадаев дает яркую картину того, как во всей деятельности легальная деятельность переплеталась с нелегальной. „Летнее время,—пишет он,—способствовало организации нелегальных собраний за городом, в лесах, где мы были в сравнительной безопасности от набегов полиции. В случае необходимости созывать более или менее расширенные собрания они устраивались в виде загородных экскурсий от имени какого-либо просветительного общества. Отъехав за пару десятков верст от Петербурга, мы отправлялись „на прогулку“ в глубь леса и там, выставив дозоры, указывавшие дорогу по условленному паролю, устраивали собрания... Шпики в огромном количестве вились вокруг всех рабочих организаций, особенно уделяя внимание заведомым центрам партийной работы, каковыми были редакция „Правды“ и помещения нашей фракции. Но наряду с усилением деятельности охранки, усиливалась наша конспиративная техника. Конечно, аресты отдельных товарищей имели место, но больших провалов не было“ (А. Е. Бадаев, „Большевики в Госуд. думе“, Гиз, 1932 г., стр. 294—295).

Таким образом, линия, взятая ЦК на развертывание легальной печати, придание ей определенных установок, на развитие думской и внедумской работы фракции, на четкую постановку

всех вопросов, на соединение легальной работы с нелегальной, целиком себя оправдывала.

Попытка через Международное социалистическое бюро сорвать эту линию, затормозить работу приводила Ильича в бешенство. Сам он решил на брюссельскую объединительную конференцию не ехать. Поехать должна была Инесса. Она владела французским языком (французский язык был ее родным), не терялась, у ней был твердый характер. Можно было на нее положиться, что она не сдаст. Инесса жила в Триесте, и Ильич послал туда доклад ЦК, составленный им, послал целый ряд указаний, как держаться в том или другом случае, обдумывал все детали. В делегацию ЦК кроме Инессы входили еще М. Ф. Владимирский и Н. Ф. Попов. Доклад ЦК огласила Инесса на французском языке. Как и следовало ожидать, дело не ограничилось обменом мнений. Каутский от имени Исполнительного бюро внес резолюцию, осуждающую раскол, утверждающую, что коренных разногласий нет. За резолюции голосовали все, кроме делегации ЦК и латышей, которые отказались принять участие в голосовании, несмотря на угрозы секретаря Международного бюро Гюисманса доложить съезду в Вене, что неголосующие берут на себя ответственность за срыв попыток к единству.

Ликвидаторы, троцкисты, впередовцы, плехановцы, кавказская областная организация на частном совещании в Брюсселе заключили „блок" против большевиков, который решил использовать создавшуюся ситуацию и понажать на большевиков.

Одновременно с брюссельской объединительной канителью внимание Ильича было летом 1914 г. поглощено другим крайне тяжелым делом—делом Малиновского.

Когда товарищем министра внутренних дел назначен был генерал Джунковский и когда он узнал о провокаторской роли Малиновского, он сообщил об этом председателю Государственной думы Родзянко и заговорил о необходимости ликвидировать это дело во избежание громадного политического скандала.

8 мая Малиновский подал Родзянко заявление об уходе своем из числа членов Думы, и уехал за границу. Местные и центральные учреждения осудили анархический, дезорганизаторский поступок Малиновского и исключили его из партии. Но что касается провокатуры, то обвинение в ней Малиновского казалось настолько чудовищным, что ЦК назначил особую комиссию под председательством Ганецкого, куда вошли Ленин и Зиновьев.

Слухи о провокатуре Малиновского ползли уже давно: шли они из меньшевистских кругов, были серьезные подозрения у Елены Федоровны Розмирович в связи с ее арестом—она работала при думской фракции, жандармы оказались осведомлены о таких деталях, которые иначе, как путем провокации, нельзя было им узнать. Были какие-то сведения у Бухарина. Владимир Ильич считал совершенно невероятным, чтобы Малиновский был провокатором. Раз только у него мелькнуло сомнение. Помню как-то в Поронине, когда мы возвращались от Зиновьевых и говорили о ползущих слухах, Ильич вдруг остановился на мостике и сказал: „А вдруг правда?“ И лицо его было полно тревоги. „Ну, что ты“,—ответила я. И Ильич успокоился, принялся ругательски ругать меньшевиков за то, что те никакими средствами не брезгуют в борьбе с большевиками. Больше у него не было никаких колебаний в этом вопросе.

Расследовав все слухи о провокатуре Малиновского, получив заявление Бурцева, что тот считает провокатуру Малиновского невероятной, заслушав Бухарина, Розмирович, комиссия все же не могла установить факт провокатуры Малиновского.

Совершенно выбитый из колеи, растерянный Малиновский околачивался в Поронине. Аллах ведает, что переживал он в это время. Куда он делся из Поронина—никто не знал. Февральская революция разоблачила его.

После Октябрьской революции он добровольно вернулся в Россию, отдался в руки советской власти и был расстрелян по приговору Верховного трибунала.

В России тем временем борьба обострялась—росло забастовочное движение, особенно сильно вспыхнувшее в Баку, рабочий класс поддерживал бакинских забастовщиков, в митинг путиловцев в 12 тысяч человек стреляла полиция, схватки с полицией становились все ожесточеннее, депутаты превращались в вождей восстающего пролетариата. Шла массовая забастовка.

7 июля в Питере бастовало 130 тысяч. Пролетариат готовился к бою. Забастовка не ослабевала, а росла, на улицах красного Питера строились баррикады.

Но пришла война.

1 августа Германия объявила войну России, 3 августа—Франции, 4 августа—Бельгии, в тот же день Англия объявила войну Германии, 6 августа Австро-Венгрия объявила войну России, 11 августа Франция и Англия объявили войну Австро-Венгрии.

Началась мировая война, которая остановила на время нарастающее революционное движение в России, перевернула весь мир, породила ряд глубочайших кризисов, по-новому, гораздо более остро поставила важнейшие вопросы революционной борьбы, подчеркнула роль пролетариата как вождя всех трудящихся, подняла на борьбу новые пласты, сделала победу пролетариата вопросом жизни или смерти для России.

Дом в д. Поронино (Галиция), где жил В. И. Ленин в 1914 г.

ГОДЫ ВОЙНЫ

КРАКОВ

1914 г.

Хотя давно уже все пахло войной, но когда война была объявлена,—это как-то ошарашило всех. Надо было выбираться из Поронина, но куда можно было ехать—было еще совершенно неясно. В это время была тяжело больна Лилина, и Зиновьев все равно никуда не мог двинуться. Жили они в это время в Закопане, где были доктора. Мы решили поэтому пока что сидеть в Поронине. Ильич написал в Копенгаген Кобецкому, просил информировать, завязать связь со Стокгольмом и пр. Местное гуральское (горное) население совершенно было подавлено, когда началась мобилизация. С кем война, из-за чего война, никто ничего не понимал, никакого воодушевления не было, шли, как на убой. Наша хозяйка, владелица дачи, крестьянка, была совершенно убита горем—у нее взяли на войну мужа. Ксендз с амвона старался разжечь патриотические чувства. Поползли всякие слухи, и шестилетний соседский мальчонка из бедняцкой семьи, постоянно околачивавшийся у нас, таинственно сообщил мне, что русские—ксендз это говорил—сыплют яд в колодцы.

7 августа к нам на дачу пришел поронинский жандармский вахмистр с понятым—местным крестьянином с ружьем—делать обыск. Чего искать, вахмистр хорошенько не знал, порылся в шкапу, нашел незаряженный браунинг, взял несколько тетрадок по аграрному вопросу с цифирью, предложил несколько незначащих вопросов. Понятой смущенно сидел на краешке стула и недоуменно осматривался, а вахмистр над ним издевался. Показывал на банку с клеем и уверял, что это бомба. Затем сказал, что на Владимира Ильича имеется донос, и он должен был бы его арестовать, но так как завтра утром все равно придется везти его в Новый Тарг (ближайшее местечко, где были военные власти), то пусть лучше Владимир Ильич

придет завтра сам к утреннему шестичасовому поезду. Ясно было—грозит арест, а в военное время, в первые дни войны, легко могли мимоходом укокошить. Владимир Ильич съездил к Ганецкому, жившему также в Поронине, рассказал о случившемся. Ганецкий не медля дал телеграмму социал-демократическому депутату Мареку, Владимир Ильич дал телеграмму в краковскую полицию, которая его знала как эмигранта. Ильича беспокоило, как мы вдвоем с матерью останемся в Поронине, одни в большом доме, и он сговорился с т. Тихомирновым, что тот пока поселится у нас в верхней комнате. Тихомирнов недавно вернулся из олонецкой ссылки, и редакция „Правды" послала его в Поронин отдохнуть, привести в порядок разгулявшиеся в ссылке нервы, да кстати помочь Ильичу в деле составления сводок по проводившимся кампаниям за рабочую печать и др.—на основании материалов, помещенных в „Правде".

Мы с Ильичем просидели всю ночь, не могли заснуть, больно было тревожно. Утром проводила его, вернулась в опустевшую комнату. В тот же день Ганецкий нанял какую-то арбу и в ней добрался до Нового Тарга, добился свидания с окружным начальником—императорско-королевским старостой, наскандалил там, рассказал, что Ильич—член Международного социалистического бюро, человек за которого будут заступаться, за жизнь которого придется отвечать, видел судебного следователя, рассказал ему также, кто Ильич, и заполучил для меня разрешение на свидание на другой же день. Вместе с Ганецким, по его приезде из Нового Тарга, сочинили мы в Вену письмо члену Международного бюро, австрийскому депутату социал-демократу Виктору Адлеру. В Новом Тарге я получила свидание с Ильичем. Нас оставили с ним вдвоем, но Ильич мало говорил—была еще полная неясность положения. Краковская полиция дала телеграмму, что заподазривать Ульянова в шпионаже нет основания, дал такую же телеграмму Марек из Закопане, ездил в Новый Тарг один известный польский писатель заступаться за Ильича. Узнав об аресте Ильича, живший в Закопане Зиновьев тотчас же, несмотря на проливной дождь, поехал на велосипеде к старому народовольцу—поляку д-ру Длусскому, жившему в 10 верстах от Закопане, Длусский сейчас же нанял фаэтон и поехал в Закопане, стал телеграфировать, писать письма, куда-то пошел для переговоров. Мне давали свидание каждый день. Рано утром с шестичасовым поездом выезжала я в Новый Тарг,—езды там час, — потом часов до одиннадцати болталась по вокзалу, почте, базару, потом было часовое свидание с Владимиром Ильичем. Ильич рассказывал

о своих тюремных сожителях. Сидело много местных крестьян,—кто за то, что паспорт просрочен, кто за то, что налог не внес, кто за препирательство с местной властью; сидел какой-то француз, какой-то чиновник-поляк, ради дешевизны, проехавшийся по чужому полупаску, какой-то цыган, который через стену тюремного двора перекликался с приходившей к стенам тюрьмы женой. Ильич вспомнил свою шушенскую юридическую практику среди крестьян, которых вызволял из всяких затруднительных положений, и устроил в тюрьме своеобразную юридическую консультацию, писал заявления и т. п. Его сожители по тюрьме называли Ильича „бычий хлоп", что значит „крепкий мужик". „Бычий хлоп" постепенно акклиматизировался в тюрьме Нового Тарга и приходил на свидание более спокойным и оживленным. В этой уголовной тюрьме по ночам, когда засыпало ее население, он обдумывал, что сейчас должна делать партия, какие шаги надо предпринять для того, чтобы превратить разразившуюся мировую войну в мировую схватку пролетариата с буржуазией. Я передавала Ильичу те новости о войне, которые удавалось добыть.

Не передала следующего. Как-то, возвращаясь с вокзала, я слышала, как шедшие из костела крестьянки громко—очевидно, мне на поучение—толковали о том, что они сами сумеют расправиться со шпионами. Если начальство даже выпустит ненароком шпиона, они выколют ему глаза, вырежут язык и т. д. Ясно было—оставаться в Поронине, когда выпустят Владимира Ильича, нельзя будет. Я стала укладываться, отбирать то, что надо обязательно будет взять с собой, что придется оставить в Поронине. Хозяйство у нас совсем расстроилось. Домашнюю работницу, которую пришлось взять на лето в виду болезни матери и которая рассказывала соседям всякие небылицы про нас, про наши связи с Россией, я постаралась сплавить поскорее в Краков, куда она стремилась, выдав ей деньги на проезд и жалованье вперед. Помогала нам топить русскую печь, ходить за продуктами девочка соседки. Моя мать—ей было уже 72 года—очень плохо себя чувствовала, видела, что что-то случилось, но неясно сознавала, что именно; хотя я ей сказала, что Владимира Ильича арестовали, но временами она толковала, что его мобилизовали на войну; она волновалась, когда я уезжала из дому, ей казалось, что и я куда-то исчезну, как исчез Владимир Ильич. Наш сожитель—Тихомирнов—задумчиво покуривал, разбирал и укладывал книги. Раз надо мне было получить какое-то удостоверение от того крестьянина-понятого, над которым издевался жандарм во время обыска,

я ходила к нему куда-то на край села, и долго мы разговаривали с ним в его избе,—типичной избе бедняка—что это за война, кто за что воюет, кто заинтересован в войне, и он дружески провожал меня потом.

Наконец, нажим со стороны венского депутата Виктора Адлера и львовского депутата Диаманда, которые поручились за Владимира Ильича, подействовал, и 19 августа Владимира Ильича выпустили из тюрьмы. С утра я по обыкновению была в Новом Тарге, на этот раз меня даже пустили в тюрьму помочь взять вещи; мы наняли арбу и поехали в Поронин. Пришлось там прожить около недели, пока удалось получить разрешение перебраться в Краков. В Кракове мы пошли к той хозяйке, у которой нанимали раньше комнаты Каменев и Инесса. Квартира наполовину была занята санитарным пунктом, но все же хозяйка дала нам какой-то угол. Ей было, впрочем, не до нас. Только что произошла первая битва под Красником, в которой участвовали два ее сына, пошедшие добровольцами на войну, и она не знала, что с ними.

На другой день из окна гостиницы, куда мы перебрались, мы наблюдали жуткую картину. Приехал поезд из Красника, привез убитых и раненых. За носилками бежали родственники тех, кто принимал участие в битве под Красником, и заглядывали в лица мертвых и умирающих с боязнью узнать в них своих близких. Те, кто был ранен более легко, с перевязанными головами, руками медленно двигались от вокзала. Встречавшие поезд помогали им нести вещи, предлагали им пиво в кружках, взятых в соседних ресторанах, предлагали пищу. Невольно думалось: вот она, война!—а это была еще первая битва.

В Кракове удалось довольно быстро получить право выехать за границу в нейтральную страну—Швейцарию. Надо было устроить кое-какие дела. Незадолго перед тем моя мать стала „капиталисткой". У ней умерла сестра в Новочеркасске, классная дама, и завещала ей свое имущество—серебряные ложки, иконы, оставшиеся платья да четыре тысячи рублей, скопленных за 30 лет ее педагогической деятельности. Деньги эти были положены в краковский банк. Чтобы вызволить их, надо было пойти на сделку с каким-то маклером в Вене, который раздобыл их, взяв за услуги ровно половину этих денег. На оставшиеся деньги мы и жили главным образом во время войны, так экономя, что в 1917 г., когда мы возвращались в Россию, сохранилась от них некоторая сумма, удостоверение в наличности которой было взято в июльские дни 1917 г. в Петербурге во время обыска в качестве доказательства того,

что Владимир Ильич получал деньги за шпионаж от немецкого правительства.

Ехали мы из Кракова до швейцарской границы целую неделю. Долго стояли на станциях, пропуская военные поезда. Наблюдали шовинистскую агитацию, которую вели монахини и группировавшийся около них женский актив. На вокзалах они раздавали солдатам какие-то образки, молитвы и т. п. Ходила по вокзалам вылощенная военщина. Вагоны были испещрены разными надписями-директивами, что делать с французами, англичанами, русскими: „Jedem Russ ein Schuss!“ (каждого русского пристрели!). На одном запасном пути стояло несколько вагонов с порошком от блох; вагоны эти отправлялись куда-то на фронт.

В Вене останавливались мы на день, чтобы получить нужные удостоверения, устроить дело с деньгами, телеграфировать в Швейцарию, чтобы получить чье-либо поручительство, без чего не пустили бы в Швейцарию. Поручился Грейлих, старейший член социал-демократической партии Швейцарии. В Вене Рязанов возил Владимира Ильича к В. Адлеру, который помог вызволить Ильича из-под ареста. Адлер рассказывал, как он разговаривал с министром. Тот спросил: „Уверены ли вы, что Ульянов враг царского правительства?“—„О, да!—ответил Адлер,—более заклятый враг, чем ваше превосходительство“. От Вены до швейцарской границы доехали довольно скоро.

БЕРН

1914—1915 гг.

5 сентября въехали наконец в Швейцарию, направились в Берн.

Мы еще не решили окончательно, где будем жить—в Женеве или Берне. Ильича тянуло на старое пепелище, в привычное место в Женеву, где хорошо работалось в прежнее время в „Société de Lecture“ (общество чтения), где была хорошая русская библиотека и т. д. Но берцы утверждали, что Женева здорово изменилась, что туда наехало много эмигрантов из других городов, из Франции, что там теперь невероятная эмигрантская сутолока. Не решив вопрос окончательно, пока сняли комнату в Берне.

Немедленно же Ильич стал списываться с Женевой о том, есть ли там едущие в Россию,—их надо было использовать для завязывания связи с Россией, выяснял, сохранилась ли русская типография, можно ли там будет издавать русские листки и т. д.

На другой день по приезде из Галиции собрались все, кто был тогда из большевиков в Берне,—Шкловский, Сафаровы, депутат Думы Самойлов, Гоберман и др., и устроили в лесу совещание, где Ильич развил свою точку зрения на происходящие события. В результате была принята резолюция, в которой давалась характеристика происходящей войны как империалистской, грабительской, и оценивалось поведение вождей II Интернационала, голосовавших за военные кредиты, как измена делу пролетариата; в резолюции говорилось, что: „С точки зрения рабочего класса и трудящихся масс всех народов России наименьшим злом было бы поражение царской монархии и ее войск, угнетающих Польшу, Украину и целый ряд народов России“ (Соч., т. XVIII, стр. 46). Резолюция, выдвигая лозунг пропаганды во всех странах социалистической революции, гражданской войны, беспощадной борьбы с шовинизмом и патриотизмом всех без исключения стран, намечала в то же время программу действий для России: борьбу с монархией, проповедь

Бернский народный дом.

революции, борьбу за республику, за освобождение угнетенных великоруссами народностей, за конфискацию помещичьих земель и за восьмичасовой рабочий день.

Бернская резолюция была по существу дела вызовом всему капиталистическому миру. Бернская резолюция писалась, конечно, не для того, чтобы храниться под спудом. Прежде всего она была разослана по заграничным секциям большевиков. Затем тезисы взял с собой Самойлов для обсуждения и с русской частью ЦК и думской фракцией. Неизвестно еще было, какую позицию они заняли. Сношения с Россией были прерваны. Лишь позднее стало известно, что русская часть ЦК и большевистская часть думской фракции сразу взяли верный тон. Для передовых рабочих нашей страны, для нашей партийной организации резолюции международных конгрессов о войне не были просто клочком бумаги, они были руководством к действию.

В первые же дни войны, когда только что была объявлена мобилизация, ЦК выпустил листок с призывом: „Долой войну! Война войне!“ Ряд предприятий в Питере бастовал в день мобилизации запасных, была даже попытка организовать демонстрацию. Однако война вызвала такой разгул бешеного черносотенного патриотизма, так укрепила военную реакцию, что сделать много не удалось. Наша думская фракция твердо вела линию борьбы с войной, линию продолжения борьбы с царской властью. Эта твердость произвела впечатление даже и на меньшевиков, и всей социал-демократической фракцией в целом была принята общая резолюция, оглашенная с думской трибуны. Резолюция была написана в очень осторожных выражениях, много было в ней недоговоренного, но это была все же резолюция протеста, вызвавшая общее негодование всех членов Думы. Негодование это возросло, когда социал-демократическая фракция (пока еще вся в целом) не приняла участия в голосовании военных кредитов и в знак протеста покинула зал заседания. Большевистская организация быстро ушла в глубокое подполье, стала выпускать листки, в которых давались указания, как использовать войну в интересах развертывания и углубления революционной борьбы. Началась антивоенная пропаганда и в провинции. Сообщения с мест говорят о том, что эта пропаганда находит поддержку среди революционно настроенных рабочих. Обо всем этом мы за границей узнали много позднее.

В наших заграничных группах, которые не переживали революционного подъема последних месяцев в России и истомились в эмигрантщине, из которой так хотелось многим во что бы то ни стало вырваться, не было той твердости, которая была

у наших депутатов и у русских большевистских организаций. Вопрос для многих был неясен, толковали о том больше, какая сторона нападающая.

В Париже в конце концов большинство группы высказалось против войны и волонтерства, но часть товарищей—Сапожков (Кузнецов), Казаков (Бритман, Свиягин), Миша Эдишеров (Давыдов), Моисеев (Илья, Зефир) и др.—пошла в волонтеры во французскую армию. Волонтеры, меньшевики, часть большевиков, социалисты-революционеры (всего около 80 человек) приняли декларацию от имени „русских республиканцев", которую опубликовали во французской печати. Перед уходом волонтеров из Парижа Плеханов сказал им напутственную речь.

Большинство Парижской группы осудило добровольчество. Но и в других группах вопрос был выяснен не до конца. Владимир Ильич понимал, что в такой серьезнейший момент имеет особое значение, чтобы каждый большевик отдал себе полный отчет в значении имевших место событий, нужен был товарищеский обмен мнений, нецелесообразно было фиксировать сразу же на первых порах каждый оттенок, надо было до конца сговориться. Вот почему, отвечая т. Карпинскому на его письмо, где тот излагал точку зрения женевской секции, Ильич писал: „„Критика" и моя „антикритика" может быть лучше составят предмет беседы?"

Ильич знал, что в товарищеской беседе лучше можно сговориться, чем путем переписки. Но, конечно, время было не такое, чтобы можно было долго ограничиваться товарищескими беседами внутри узкого круга большевиков.

В начале октября выяснилось, что вернувшийся из Парижа Плеханов выступал уже в Женеве и собирается читать реферат в Лозанне.

Позиция Плеханова очень волновала Владимира Ильича. Он верил и не верил, что Плеханов стал оборонцем. „Не верится просто",—говорил он.—„Верно сказалось военное прошлое Плеханова",—задумчиво прибавлял он. Когда пришла 10 октября телеграмма из Лозанны о том, что реферат назначен на завтра, на 11-е, Ильич засел за подготовку к реферату, а я старалась уж уберечь его от всяких дел, сговориться с публикой нашей—кто поедет из Берна и т. д. Мы уже окончательно обосновались в Берне. В это время в Берне жили уже Зиновьевы, недели на две приехавшие позже нас, жила в Берне и Инесса.

Я на реферат поехать не могла, потом наши подробно рассказывали мне о нем. Но, прочитав в „Записках Института Ленина" воспоминания Ф. Ильина об этом реферате и зная, что

тогда переживал Ильич, я вижу его, как живого. Подробно рассказывала потом об этом реферате и Инесса. Стянулась на реферат наша публика с разных концов. Из Берна—Зиновьев, Инесса, Шкловский, из Божи над Клараном—Розмирович, Крыленко, Бухарин и товарищи-лозанцы.

Ильичу стало страшно, что не удастся попасть на плехановский реферат и сказать все накипевшее, что не пустят меньшевики столько большевиков. Я представляю себе, как не хотелось ему в этот момент разговаривать с публикой о всякой всячине, и понятны его наивные хитрости, имевшие целью остаться одному. Ясно представляется, как среди суетни с кормежкой, которая происходила у Мовшовичей, ушел Ильич в себя, волновался так, что не мог куска проглотить. Понятна немного натянутая шутка, сказанная вполголоса близ сидящим товарищам по поводу вступительного слова Плеханова, заявившего, что он не подготовился к выступлению на таком большом собрании. „Жулябия",—бросил Ильич, а потом ушел весь целиком в слушание того, что говорил Плеханов. С первой частью реферата, где Плеханов крыл немцев, Ильич был согласен и аплодировал Плеханову. Во второй части Плеханов развивал оборонческую точку зрения. Уже не могло быть места никаким сомнениям. Записался говорить один Ильич, никто больше не записался. С кружкой пива в руках подошел он к столу. Говорил он спокойно, и только бледность лица выдавала его волнение. Ильич говорил о том, что разразившаяся война не случайность, что она подготовлена всем характером развития буржуазного общества. Международные конгрессы—Штутгартский, Копенгагенский, Базельский—определили, каково должно быть отношение социалистов к предстоящей войне. Только тогда социал-демократы исполняют свой долг, когда борются с шовинистическим угаром своей страны. Надо превратить начавшуюся войну в решительное столкновение пролетариата с правящими классами.

У Ильича было только десять минут. Он сказал лишь основное. Плеханов с обычными остротами возражал ему. Меньшевики—их было подавляющее большинство—бешено аплодировали ему. Создалось впечатление, что Плеханов победил.

14 октября, через три дня,—в том же помещении, где читал доклад Плеханов—в Maison du Peuple (в Народном доме),—был назначен доклад Ильича. Зал был битком набит. Доклад вышел очень удачным, Ильич был в приподнятом, боевом настроении. Он развил полностью свой взгляд на войну как на войну империалистскую. В докладе Владимир Ильич отметил, что в России уже вышел листок ЦК против войны, что такой

же листок выпустила кавказская организация и некоторые другие. Ильич в докладе указывал на то, что сейчас лучшей социалистической газетой в Европе является „Голос", где писал Мартов. „Чем чаще и сильней расходился я с Мартовым,— говорил Ильич,—тем определеннее я должен сказать, что этот писатель делает теперь именно то, что должен делать социал-демократ. Он критикует свое правительство, он разоблачает свою буржуазию, он ругает своих министров".

В частных разговорах Ильич не раз говорил, как бы хорошо было, если бы Мартов совсем перешел к нам. Но Ильич плохо верил, что Мартов удержится на занятой им позиции. Он знал, как поддается Мартов чужим влияниям. „Это пока он один, он так пишет",—добавлял Ильич. Реферат Ильича имел громадный успех. Тот же реферат „Пролетариат и война" он читал в Женеве.

По приезде с рефератной поездки Ильич застал письмо Шляпникова, где тот сообщал из Стокгольма о русской работе, о телеграмме Вандервельде думской фракции и об ответе Вандервельде депутатов, меньшевиков и большевиков. Эмиль Вандервельде—бельгийский депутат в Международном социалистическом бюро,—когда была объявлена война, занял в бельгийском правительстве пост министра. Незадолго до войны он был в России и видел ту борьбу, которую рабочие России вели с самодержавием, но он не понял ее глубины. Вандервельде дал телеграмму обеим частям социал-демократической фракции Думы. Он призывал социал-демократическую фракцию содействовать тому, чтобы русское правительство повело решительную войну с Германией—на стороне Антанты.

Меньшевистские депутаты, в первый момент отказавшиеся голосовать военные кредиты, сильно поколебались, узнав о том, какую позицию заняло большинство социалистических партий, и потому их ответ Вандервельде носил уже совершенно другой характер; они заявляли, что не будут противодействовать войне. Большевистская фракция послала ответ, где решительно отметала всякую возможность поддержки войны и прекращения борьбы с царским правительством. Много оставалось в этом ответе еще недоговоренного, но основная линия была ею взята правильно. Чувствовалось, как важна связь между заграницей и Россией, и Ильич сугубо настаивал, чтобы Шляпников оставался в Стокгольме и укреплял связи с думской фракцией и вообще с россиянами. Через Стокгольм это дело лучше всего было наладить.

Как только Ильич приехал в Берн из Кракова, он сейчас же написал Карпинскому, справляясь, можно ли издать в Же-

неве листок. Тезисы, принятые в первые дни приезда в Берн, месяц спустя решено было выпустить, переработав их в манифест. И Ильич вновь списывается с Карпинским об издании, посылая письмо с оказией, наводя сугубую конспирацию. В то время неясно было еще, как отнесется швейцарская власть к антимилитаристской пропаганде.

На другой день после получения первого письма Шляпникова Владимир Ильич писал Карпинскому: „Дорогой К.! Как раз во время моего пребывания в Женеве получились о т р а д н ы е вести из России. Пришел и текст ответа русских социал-демократов Вандервельду. Мы решили поэтому вместо отдельного манифеста выпустить газету „Социал-Демократа" ЦО... К понедельнику пришлем вам небольшие поправки к манифесту и и з м е н е н н у ю подпись (ибо после сношения с Россией мы уже официальнее выступаем)" (Соч., т. XXIX, стр. 134).

В конце октября Ильич опять поехал с рефератами сначала в Монтре, потом в Цюрих. В Цюрихе на его реферате выступал Троцкий, который возмущался, что Ильич называл Каутского „предателем". А Ильич нарочно ставил очень остро все вопросы, чтобы создать ясность в отношении того, кто какую линию занимает. Борьба с оборонцами шла во-всю.

Борьба, которая шла, не носила внутрипартийного характера, касалась не только русских дел, она носила международный характер.

„II Интернационал умер, побежденный оппортунизмом",— утверждал Владимир Ильич. Надо было собирать силы для нового, для III Интернационала, очищенного от оппортунизма.

На какие силы можно было опираться?

Не голосовали военных кредитов, кроме русских социал-демократов, только сербские социал-демократы. Их было в Скупщине (в сербском парламенте) всего двое. В Германии в начале войны за военные кредиты голосовали все, но уже 10 сентября Карл Либкнехт, Ф. Меринг, Роза Люксембург и Клара Цеткин составили заявление, в котором они протестовали против позиции, занятой большинством немецкой социал-демократии. Это заявление лишь в конце октября им удалось опубликовать в швейцарских газетах, в немецких этого не удалось сделать. Из немецких газет наиболее левую позицию с самого начала войны заняла „Бременская Гражданская Газета", 23 августа заявившая о том, что „пролетарский интернационал" разрушен. Во Франции социалистическая партия, с Гэдом и Вайяном во главе, скатилась к шовинизму. Но в партийных низах было довольно широкое настроение против войны. Для бельгийской

партии характерно было поведение Вандервельде. В Англии отпор шовинизму Гайндмана и всей Британской социалистической партии давали Макдональд и Кейр-Гарди из оппортунистической Независимой рабочей партии. В нейтральных странах существовали настроения против войны, но они носили по преимуществу пацифистский характер. Революционнее других была Итальянская социалистическая партия с газетой „Avanti" („Вперед") во главе; она боролась с шовинизмом, разоблачала корыстную подоплеку призывов к войне. Она находила поддержку со стороны громадного большинства передовых рабочих. 27 сентября в Лугано состоялась итало-швейцарская социалистическая конференция. На конференцию были посланы наши тезисы о войне. Конференция характеризовала войну как империалистскую и требовала борьбы международного пролетариата за мир.

В общем голоса против шовинизма, голоса интернационалистические,—звучали еще очень слабо, разрозненно, неуверенно, но Ильич не сомневался, что они будут все крепнуть. Всю осень у него было приподнятое, боевое настроение.

Воспоминание об этой осени у меня переплетается с осенней картиной бернского леса. Осень в тот год стояла чудесная. В Берне мы жили на Дистельвег—маленькой, чистенькой, тихой улочке, примыкавшей к бернскому лесу, тянувшемуся на несколько километров. Наискосок от нас жила Инесса, в пяти минутах ходьбы—Зиновьевы, в десяти минутах—Шкловские. Мы часами бродили по лесным дорогам, усеянным осыпавшимися желтыми листьями. Большею частью ходили втроем—Владимир Ильич и мы с Инессой. Владимир Ильич развивал свои планы борьбы по международной линии. Инесса все это горячо принимала к сердцу. В этой развертывавшейся борьбе она стала принимать самое непосредственное участие: вела переписку, переводила на французский и английский языки разные наши документы, подбирала материалы, говорила с людьми и пр. Иногда мы часами сидели на солнечном откосе горы, покрытой кустарниками. Ильич набрасывал конспекты своих речей и статей, оттачивал формулировки, я изучала по Туссену итальянский язык, Инесса шила какую-то юбку и грелась с наслаждением на осеннем солнышке—она еще не до конца оправилась после тюрьмы. Вечером все собирались в комнатушке Григория (они втроем—Григорий, Лилина и их мальчонка Степа жили в одной комнате), и, пошутив с засыпающим Степой, Ильич уже вносил ряд конкретных предложений.

Сжато и точно формулированы основные пункты линии борьбы у Ильича в письме к Шляпникову от 17 октября.

„...Каутский теперь *вреднее всех*. До того опасна и подла его софистика, прикрывающая самыми гладкими и прилизанными фразами пакости оппортунистов (в „Neue Zeit“). Оппортунисты—зло явное. „Центр“ немецкий с Каутским во главе—зло прикрытое, дипломатически подкрашенное, засоряющее глаза, ум и совесть рабочих, опасное всего более. Наша задача теперь—безусловная и открытая борьба с оппортунизмом международным и с его прикрывателями (Каутский). Это мы и будем делать в ЦО, который выпустим вскоре (2 странички, вероятно). Надо изо всех сил поддержать теперь законную ненависть сознательных рабочих к поганому поведению немцев и сделать из этой ненависти политический вывод *против* оппортунизма и всякой поблажки ему. Это—международная задача. Лежит она на нас, больше некому. Отступать от нее нельзя. Неверен лозунг „простого“ возобновления Интернационала (ибо опасность гнилой примирительной резолюции по линии Каутский—Вандервельде очень и очень велика!). Неверен лозунг „мира“—лозунгом должно быть превращение национальной войны в гражданскую войну. (Это превращение может быть долгим, может потребовать и потребует ряда предварительных условий, но всю работу надо вести *по линии* именно *такого* превращения, в духе и направлении его.) Не саботаж войны, не отдельные индивидуальные выступления в таком духе, а массовая пропаганда (не только среди „штатских“), ведущая к превращению войны в гражданскую войну.

В России шовинизм прячется за фразы о „belle France“ [о „прекрасной Франции“] и о несчастной Бельгии (а Украина? и т. д.) или за „народную“ ненависть к немцам (и к „кайзеризму“). Поэтому наша безусловная обязанность—борьба с этими софизмами. А чтобы борьба шла по точной и ясной линии, нужен обобщающий ее лозунг. Этот лозунг: для нас, *русских*, с точки зрения интересов трудящихся масс и рабочего класса *России*, не может подлежать ни малейшему, абсолютно никакому сомнению, что *наименьшим* злом было бы теперь и тотчас—*поражение* царизма в данной войне. Ибо царизм во сто раз хуже кайзеризма. Не саботаж войны, а борьба с шовинизмом и устремление всей пропаганды и агитации на международное сплочение (сближение, солидаризирование, сговор selon les circonstances [сообразно обстоятельствам]) пролетариата в целях гражданской войны. Ошибочно было бы и призывать к *индивидуальным* актам стрельбы в офицеров etc. и допускать аргументы вроде того, что-де не хотим помогать кайзеризму. Первое—уклон к анархизму, второе—к оппортунизму. Мы же

должны готовить массовое (или по крайней мере коллективное) выступление в войске не одной только нации, и *всю* пропагандистско-агитационную работу вести в этом направлении. Направление работы (упорной, систематической, долгой может быть) в духе превращения национальной войны в гражданскую—вот вся суть. Момент этого превращения—вопрос иной, сейчас еще неясный. Надо дать назреть этому моменту и „заставлять его назревать" систематически.

Лозунг мира, по-моему, неправилен в данный момент. Это—обывательский, поповский лозунг. Пролетарский лозунг должен быть: гражданская война.

Объективно—из коренной перемены в положении Европы вытекает такой лозунг для эпохи массовой войны. Из базельской резолюции вытекает тот же лозунг.

Мы не можем ни „обещать" гражданской войны, ни „декретировать" ее, но вести работу—при надобности и очень долгую—в *этом направлении* мы обязаны. Из статьи в ЦО вы увидите подробности" (Соч., т. XVIII, стр. 54—56).

Два с половиной месяца спустя после начала войны у Ильича уже выковалась ясная, четкая линия борьбы. Эта линия окрашивала всю его дальнейшую деятельность. Международный размах придал новые тона и всей работе Ильича над строительством русской работы, придал ей новую силу, новые краски. Без долгих лет предшествовавшей трудной работы над строительством партии, над организацией рабочего класса России не мог бы Ильич так быстро и твердо взять правильную линию в отношении новых задач, выдвинутых империалистской войной. Без пребывания в гуще международной борьбы не мог бы Ильич так твердо повести русский пролетариат к октябрьской победе.

№ 33 „Социал-Демократа" вышел 1 ноября 1914 года. Сначала было напечатано лишь 500 экземпляров, потом понадобилось прибавить еще 1000. 14 ноября Ильич с радостью извещал Карпинского, что ЦО доставлен в один из пунктов недалеко от границы и скоро будет переправлен дальше.

Через Нэна и Грабера удалось поместить 13 ноября сокращенное изложение манифеста в швейцарской газете „La sentinelle" („Часовой"), выходивший на французском языке в невшательском рабочем центре Шо-де-Фон (Chaux-de-Fond). Ильич торжествовал. Мы послали перевод манифеста во французские, английские и немецкие газеты.

В целях развертывания пропаганды среди французов Владимир Ильич списывался с Карпинским об устройстве в Женеве, на французском языке, реферата Инессы. С Шляпниковым

списывался о его выступлении на шведском конгрессе. Шляпников выступал, и выступал очень удачно. Так понемногу развертывалась „международная акция“ большевиков.

Со связями с Россией было хуже. Для № 34 ЦО Шляпников прислал интересный материал из Питера. Но наряду с ним пришлось помещать в № 34 сообщение об аресте пяти большевистских депутатов. Связь с Россией опять слабела.

Развертывая страстную борьбу против измены делу пролетариата со стороны II Интернационала, Ильич в то же время тотчас же по приезде в Берн засел за составление для Энциклопедического словаря Граната статьи „Карл Маркс“, где, говоря об учении Маркса, начал с очерка его миросозерцания, с разделов „философский материализм“ и „диалектика“ и далее, изложив экономическое учение Маркса, осветил, как Маркс подходил к вопросу о социализме и тактике классовой борьбы пролетариата.

Так учение Маркса обычно не излагалось. В связи с писанием глав о философском материализме и диалектике Ильич стал опять усердно перечитывать Гегеля и других философов и не бросил эту работу и после того, как окончил работу о Марксе. Цель его работы по философии была овладеть методом, как превратить философию в конкретное руководство к действию. Его короткие замечания о диалектическом подходе ко всем явлениям, сделанные в 1921 г. во время споров с Троцким и Бухариным о профессиональных союзах, как нельзя лучше характеризуют, как много дали в этом отношении Ильичу его занятия по философии, начатые им по приезде в Берн и явившиеся продолжением того, что он проделал в деле изучения философии в 1908—1909 гг., когда боролся с махистами.

Борьба и учеба, учеба и научная работа, всегда связывались у Ильича в один крепкий узел, всегда между ними была самая глубокая, непосредственная связь, хотя на первый взгляд и могло показаться, что это просто параллельная работа.

В начале 1915 г. продолжалась усиленная работа по сплочению заграничных большевистских групп. Определенная сговоренность уже была, но время было такое, что сплоченность нужна была больше, чем когда-либо. До войны центр большевистских групп, так называемый КЗО (Комитет заграничных организаций) находился в Париже. Теперь центр надо было перенести в Швейцарию, в нейтральную страну, в Берн, где находилась и редакция Центрального органа. Нужно было сговориться до конца обо всем—об оценке войны, о тех новых задачах, которые встали перед партией, о путях их разрешения, нужно было уточнить

работу групп. Божийцы (Крыленко, Бухарин, Розмирович), например, решили издавать свой заграничный орган „Звезду“ и так скоропалительно принялись за его организацию, что не сговорились даже с Центральным органом. Узнали мы о всем плане от Инессы. А между тем такое издание было мало целесообразно. Не было денег на издание ЦО, разногласий пока что не было, но они легко могли вырасти. Какая-нибудь неосторожная фраза могла быть подхвачена противниками и раздута всячески. Нужно было итти в ногу. Время такое было. В конце февраля была созвана в Берне конференция заграничных групп. Кроме швейцарских групп была еще парижская; от парижан приехал Гриша Беленький, подробно рассказал про парижские оборонческие настроения, охватившие в начале войны Парижскую группу. Лондонцы приехать не смогли, передоверили свой мандат. Божийцы долго колебались—ехать им или не ехать, и приехали только к концу. Вместе с ними приехали „японцы“. Так прозвали мы киевлян—тт. Пятакова и Бош (сестру Е. Ф. Розмирович), которые бежали из сибирской ссылки через Японию и Америку. Это было время, когда мы судорожно хватались за каждого нового единомышленника. Японцы нам понравились. Их приезд несомненно укреплял наши заграничные силы.

На конференции приняли четкую резолюцию о войне, поспорили о лозунге Соединенных Штатов Европы (против чего особо горячо возражала Инесса), наметили характер работы заграничных групп, божийскую газету решили не издавать, выбрали новый КЗО из берлинцев: Шкловского, Каспарова, Инессы Арманд, Лилиной, Крупской.

Перед войной, в 1913 г. Каспаров жил в Берлине. О нем знал Ильич от наших бакинцев—Енукидзе, Шаумяна и др. В этот период внимание Ильича было особенно приковано к национальному вопросу, и он стремился потеснее связаться с теми, кто интересовался этим вопросом и правильно подходил к нему.

Летом 1913 г. Каспаров написал статью для „Просвещения“ по национальному вопросу. Ильич ему ответил: „Получил и прочел вашу статью. Тема, по-моему, взята хорошо и разработана верно,—но недостаточно литературно отделана. Есть много чересчур—как бы это сказать?—„агитации“, не подходящей в статье по *теоретическому* вопросу. Либо Вам самим, по-моему, следует переделать, либо мы попробуем“ (Соч., т. XXIX, стр. 93). Выбор темы по национальному вопросу, правильное освещение значат очень много, и Ильич сразу же накручивает Каспарову ряд дел по работе над собиранием материала по национальному вопросу, конкретизируя уже, что ему

интересно, уверенный, что Каспаров заметит самое важное, самое существенное. Собираясь в январе 1914 г. ненадолго в Берлин, Ильич пишет Каспарову о необходимости повидаться, указывая, как это сделать.

Моменты острой борьбы, моменты подъема сближают. В июле 1914 г. в Питере рабочее движение стало быстро развиваться, пришло письмо о поднимающейся революционной волне. До сих пор Ильич, когда писал Каспарову, всегда начинал письмо с обращения: „Дорогой товарищ", а тут пишет уже иначе, зная, что Каспаров переживает революционный подъем с таким же волнением, как и мы: „Дорогой друг!—пишет Ильич,— очень прошу Вас взять на себя труд информировать нас в *течение революционных дней в России.* Сидим без газет. Прошу вас"... („Ленинский сборник", XIII, стр. 241). И далее дается целая программа сношений.

Когда разразилась война, Каспарову пришлось из Германии перебраться в Берн. Встретились как друзья. В Берне виделись каждый день, и скоро стал Каспаров одним из самых близких товарищей в нашей группе. Вот и втянули его в КЗО.

На очереди дня стояло собирание сил в международном масштабе. Какая это была трудная задача—наглядно показала состоявшаяся 14 февраля 1915 г. Лондонская конференция социалистических партий стран Согласия (Англии, Бельгии, Франции, России). Созвана эта конференция была Вандервельде, но организовывала ее английская Независимая рабочая партия с Кейр-Гарди и Макдональдом во главе. Они были до конференции против войны, за международное объединение. Вначале Независимая рабочая партия думала пригласить делегатов из Германии и Австрии, но французы заявили, что не будут тогда принимать участия в конференции. От Англии было 11 делегатов, от Франции—16, от Бельгии—3. От России было трое социалистов-революционеров. Был делегат от меньшевистского Организационного комитета. От нас там должен был выступить Литвинов. Наперед было ясно, что это будет за конференция, какие результаты она даст, а потому было условлено, что Литвинов прочтет лишь декларацию Центрального комитета. Ильич составил для Литвинова наметку этой декларации. В ней выставлялось требование, чтобы Вандервельде, Гэд и Самба немедленно вышли из буржуазных министерств Бельгии и Франции, чтобы все социалистические партии поддержали русских рабочих в их борьбе с царизмом. В декларации говорилось, что социал-демократы Германии и Австрии совершили чудовищное преступление по отношению к социализму и Интернационалу,

вотируя военные кредиты и заключив „гражданский мир“ с юнкерами, попами и буржуазией, но бельгийские и французские социалисты поступили нисколько не лучше. „Рабочие России товарищески протягивают руку социалистам, которые действуют как Карл Либкнехт, как социалисты Сербии и Италии, как британские товарищи из Независимой рабочей партии и некоторые члены Британской социалистической партии, как арестованные товарищи наши из Российской социал-демократической рабочей партии.

На этот путь зовем мы вас, на путь социализма. Долой шовинизм, губящий пролетарское дело! Да здравствует международный социализм!“ (там же, стр. 123). Этими словами кончалась декларация. Эту декларацию подписал, кроме ЦК, еще представитель латышских социал-демократов Берзин. Председатель не дал Литвинову возможности прочесть до конца декларацию. Литвинов передал декларацию председателю, а сам покинул заседание, заявив, что РСДРП не участвует в конференции. После ухода Литвинова конференция приняла резолюцию за „освободительную войну“ вплоть до победы над Германией; за это подали голос и Кейр-Гарди и Макдональд.

Тем временем шла подготовка международной женской конференции. Важно было, конечно, не только то, чтобы такая конференция состоялась, но и то, чтобы она не носила пацифистского характера, а заняла определенно революционную позицию. Нужна была поэтому очень большая предварительная работа. Она легла главным образом на Инессу. Помогая редакции ЦО в переводе всяких документов, будучи участницей развертывающейся борьбы с оборончеством с первых же шагов ее, Инесса была как нельзя лучше подготовлена к этой работе. Кроме того, она знала языки. Инесса переписывается с Кларой Цеткин, Балабановой, Коллонтай, англичанками, крепит первые нити международной связи. Нити до невероятности слабы, постепенно рвутся, но вновь и вновь начинает Инесса работу. В Париже жила Сталь, через нее ведет Инесса переписку с французскими товарищами. С Балабановой было сноситься всего проще — она работала в Италии, принимала участие в работе „Avanti“. Это был период, когда Итальянская социалистическая партия была настроена наиболее революционно. В Германии антиоборонческое настроение разрасталось. 2 декабря К. Либкнехт голосовал против военных кредитов. Женскую международную конференцию созывала Клара Цеткин. Она была секретарем Интернационального бюро женщин-социалисток. Вместе с К. Либкнехтом, Розой Люксембург, Ф. Мерингом боролась она

против шовинистического большинства Германской социал-демократической партии. С ней сносилась Инесса. Что касается Коллонтай, то она к этому времени отошла от меньшевиков. В январе она написала Владимиру Ильичу и мне, прислала листок. „Уважаемый и дорогой товарищ!—писал ей Владимир Ильич.—Очень благодарен Вам за присылку листка (я могу пока только передать его здешним членам редакции „Работницы“,—они послали уже письмо Цеткиной однородного, видимо, с Вашим содержания)“ („Ленинский сборник“, II, стр. 221). И дальше Владимир Ильич переходит к выяснению позиции большевиков. „Вы соглашаетесь с лозунгом гражданской войны, повидимому, не вполне, а отводя ему, так сказать, подчиненное (и пожалуй даже: условное) место позади лозунга мира. И Вы подчеркиваете, что „нам надо выдвигать такой лозунг, который *объединял* бы всех“. Скажу откровенно, что я все более боюсь в настоящее время такого огульного объединительства, которое, по моему убеждению, наиболее опасно и наиболее вредно для пролетариата“ (там же). На фоне ильичевской установки и вела переписку о конференции с А. Коллонтай Инесса. На конференцию Коллонтай не удалось приехать.

Бернская международная конференция состоялась 26—28 марта. Самая большая и организованная делегация была германская с Кларой Цеткин во главе. От русского ЦК делегатками были Арманд, Лилина, Равич, Крупская, Розмирович. От поляков-„розламовцев“—Каменская (Домская), которая держалась вместе с делегацией Центрального комитета. Из русских были еще две делегатки от Организационного комитета. Балабанова была от Италии. Луиза Сомано—француженка—сильно подпала под влияние Балабановой. Чисто пацифистское настроение было у голландок. Ролланд-Гольст, принадлежавшая тогда к левому крылу, приехать не могла, приехала делегатка из партии Трульстра, насквозь шовинистической. Английские делегатки принадлежали к оппортунистической Независимой рабочей партии, пацифистский уклон был и у швейцарок. Этот уклон преобладал. Конечно, если вспомнить имевшую место полтора месяца перед тем Лондонскую конференцию,—шаг вперед был не малый, имел значение уже самый тот факт, что на конференцию собрались социалистки воюющих между собой стран.

Немки в своем большинстве принадлежали к группе К. Либкнехта—Розы Люксембург. Эта группа уже начала размежевываться со своими шовинистами, бороться со своим правительством—уже арестована была Роза Люксембург. Но это в своей стране. А на международной трибуне—им казалось—они должны

проявить максимум уступчивости,—они ведь были делегацией страны, которая в этот момент побеждала на фронтах. Если бы конференция, созванная с таким трудом, распалась, всю ответственность возложили бы на них, распаду конференции были бы рады шовинисты всех стран, в первую очередь социал-патриоты Германии. И поэтому Клара Цеткин шла на уступки пацифистам, что означало выхолащивание революционного содержания резолюций. Наша делегация—делегация ЦК РСДРП—стояла на точке зрения Ильича, изложенной в письме к Коллонтай. Дело не в огульном объединении, дело в объединении для революционной борьбы с шовинизмом, для непримиримой революционной борьбы пролетариата с господствующим классом. Осуждения шовинизма не было в резолюции, выработанной комиссией из немок, англичанок и голландок. Мы выступили со своей особой декларацией. Ее защищала Инесса. С защитой ее выступила и представительница поляков—Каменская. Мы остались одни. Все осуждали нашу „раскольническую" политику. Однако жизнь скоро подтвердила правильность нашей позиции. Добренький пацифизм англичанок и голландок ни на шаг не сдвинул вперед международную акцию. Роль в скорейшем окончании войны сыграла революционная борьба и размежевание с шовинистами.

Со всей страстностью отдался Ильич собиранию сил для борьбы на международном фронте. „Не беда, что нас единицы,—сказал он как-то,—с нами будут миллионы". Он составлял и нашу резолюцию для Бернской женской конференции, следил за всей ее работой. Но чувствовалось, как трудно ему оставаться в роли какого-то закулисного руководителя в деле громадной важности, которое делалось тут же, под боком, и принять в котором непосредственное участие хотелось ему всем своим существом.

Остался в памяти такой момент: сидим мы с Инессой в больнице у Абрама Сковно, которому делали какую-то операцию. Приходит Ильич и начинает убеждать Инессу немедля пойти к Цеткин, убедить ее в правильности нашей позиции, она ведь должна понять, не может не понять, что в данный момент нельзя скатываться к пацифизму, надо заострить все вопросы. И Ильич приводит все новые и новые аргументы, которые должны убедить Цеткин. Инессе не хотелось итти, она считала, что из разговора ничего не выйдет. Ильич настаивал, и такая горячая просьба звучала в его словах. Разговора с Цеткин у Инессы тогда не вышло.

17 апреля в Берне состоялась вторая международная кон-

Елизавета Васильевна Крупская — мать Н. К. Крупской

ференция—конференция социалистической молодежи. В Швейцарии в это время сосредоточилось довольно много молодежи, рефрактеров разных воюющих стран, не хотевших итти на фронт и принимать участие в империалистской войне; они эмигрировали в нейтральную страну—Швейцарию. У этой молодежи, само собой, настроение было революционное. Не случайность, что вслед за женской конференцией следующей международной конференцией была конференция социалистической молодежи. От имени ЦК нашей партии на ней выступали Инесса и Сафаров.

В марте у меня умерла мать. Была она близким товарищем, помогавшим во всей работе. В России во время обыска прятала нелегальщину, носила товарищам в тюрьму передачи, передавала поручения; она жила с нами и в Сибири, и за границей, вела хозяйство, охаживала приезжавших и приходящих к нам товарищей, шила панцыри, зашивая туда нелегальную литературу, писала „скелеты“ для химических писем и пр. Товарищи ее любили. Последняя зима была для нее очень тяжела. Все силы ушли. Тянуло ее в Россию, но там не было у нас никого, кто бы о ней заботился. Они часто спорили с Владимиром Ильичем, но мама всегда заботилась о нем, Владимир был к ней тоже внимателен. Раз как-то сидит мать унылая. Была она отчаянной курильщицей, а тут забыла купить папирос, а был праздник, нигде нельзя было достать табаку. Увидал это Ильич. „Эка беда, сейчас я достану“, и пошел разыскивать папиросы по кафе, отыскал, принес матери. Как-то незадолго уже до смерти говорит мне мать: „Нет, уж что, одна я в Россию не поеду, вместе с вами уж поеду“. Другой раз заговорила о религии. Она считала себя верующей, но в церковь не ходила годами, не постилась, не молилась и вообще никакой роли религия в ее жизни не играла, но не любила она разговоров на эту тему, а тут говорит: „Верила я в молодости, а как пожила, узнала жизнь, увидела: такие это все пустяки“. Не раз заказывала она, чтобы, когда она умрет, ее сожгли. Домишко, где мы жили, был около самого бернского леса. И когда стало греть весеннее солнце, потянуло мать в лес. Пошли мы с ней, посидели на лавочке с полчаса, а потом еле дошла она домой, и на другой день началась у ней уже агония. Мы так и сделали, как она хотела, сожгли ее в бернском крематории.

Сидели с Владимиром Ильичем на кладбище, часа через два принес нам сторож жестяную кружку с теплым еще пеплом и указал, где зарыть пепел в землю.

Еще более студенческой стала наша семейная жизнь. Квартирная хозяйка—религиозно-верующая старуха-гладильщица—попросила нас подыскать себе другую комнату, она-де желает, чтобы у ней комнату снимали люди верующие. Переехали в другую комнату.

10 февраля состоялся суд над думской пятеркой: все депутаты-большевики—Петровский, Муранов, Бадаев, Самойлов, Шагов,—а также Л. Б. Каменев были приговорены к ссылке на поселение.

В статье от 24 марта 1915 г. „Что доказал суд над РСДР фракцией?“ Ильич писал: „Факты говорят, что первые же месяцы после войны сознательный авангард рабочих России *на деле* сплотился вокруг ЦК и Центрального органа. Как бы ни был неприятен тем или иным „фракциям“ этот факт,—он неопровержим. Цитируемые в обвинительном акте слова: „Необходимо направить оружие не против своих братьев, наемных рабов других стран, а против реакции буржуазных правительств и партий всех стран“—эти слова, благодаря суду, разнесут и разнесли уже по России призыв к пролетарскому интернационализму, к пролетарской революции. Классовый лозунг авангарда рабочих России дошел теперь до самых широких масс благодаря суду.

Повальный шовинизм буржуазии и одной части мелкой буржуазии, колебания другой части и такой призыв рабочего класса—вот фактическая, объективная картина наших политических делений. С этой фактической картиной, а не с благопожеланиями интеллигентов и основателей группок, надо сочетать свои „виды“, надежды, лозунги.

Правдистские газеты и работа „мурановского типа“ * создали единство $^4/_5$ сознательных рабочих России. Около 40 тысяч рабочих покупали „Правду“, много больше читало ее. Пусть даже впятеро и вдесятеро разобьет их война, тюрьма, Сибирь, каторга. Уничтожить этого слоя *нельзя*. Он жив. Он проникнут революционностью и антишовинизмом. Он *один* стоит среди народных масс и в самой глубине их, как проповедник интернационализма трудящихся, эксплуатируемых, угнетенных. Он *один* устоял в общем развале. Он *один* ведет полупролетарские слои *от* социал-шовинизма кадетов, трудовиков, Плеханова, „Нашей Зари“ *к* социализму. Его существование, его идеи, его

---

* Муранов на суде сделал заявление, что он организовал рабочих вокруг партии под лозунгами ЦК партии и развернул картину использования парламента в революционных целях. *Ред.*

Арестованные большевистские депутаты: М. К. Муранов, Н. Р. Шагов, Г. И. Петровский, Ф. Н. Самойлов, А. Е. Бадаев, Л. Б. Каменев.

работу, его обращение к „братству наемных рабов других стран“ показал всей России суд над РСДР фракцией.

С этим слоем надо работать, его единство против социал-шовинистов надо отстоять, по этому единственному пути может развиваться рабочее движение России в направлении к социальной революции, а не к национально-либеральному „европейскому“ типу“ (там же, стр. 132—133).

Жизнь очень скоро показала, как прав был Ленин. Ильич, не покладая рук, работал над делом пропаганды идей интернационализма, над разоблачением социал-шовинизма во всех его многообразных формах.

После смерти матери у меня сделался рецидив базедовой болезни, и доктора направили меня в горы. Ильич разыскал по публикации дешевый пансион в немодной местности, у подножия Ротхорна, в Сёренберге, в отеле „Мариенталь“, и мы прожили там все лето.

Незадолго до отъезда приехали в Берн „японцы“ (тт. Бош и Пятаков) с проектом создать за границей толстый нелегальный журнал, где можно было бы обстоятельно обсуждать все наиболее важные вопросы. „Коммунист“ должен был выходить под редакцией ЦО, дополненной П. и Н. Киевскими (тт. Бош и Пятаковым). На этом сговорились. Летом Ильич написал для „Коммуниста“ большую статью „Крах II Интернационала“, летом же в связи с подготовкой конференции интернационалистов Ильич вместе с Зиновьевым подготовили брошюру „Социализм и война“.

В Сёренберге устроились мы очень хорошо, кругом был лес, высокие горы, наверху Ротхорна даже лежал снег. Почта ходила со швейцарской точностью. Оказалось, в такой глухой горной деревушке, как Сёренберг, можно было бесплатно получать любую книжку из бернских или цюрихских библиотек. Пошлешь открытку в библиотеку с адресом и просьбой прислать такую-то книгу. Никто не спрашивает тебя ни о чем, никаких удостоверений, никаких поручительств о том, что ты книгу не зажилишь,—полная противоположность бюрократической Франции. Книжку, обернутую в папку, получаешь через два дня, бечевкой привязан билет из папки, на одной его стороне надписан адрес запросившего книгу, на другой—адрес библиотеки, пославшей книгу. Это создавало возможность заниматься в самой глуши. Ильич всячески выхваливал швейцарскую культуру. В Сёренберге заниматься было очень хорошо. Через некоторое время к нам туда приехала Инесса. Вставали рано и до обеда, который давался, как во всей Швейцарии, в 12 ча-

сов, занимался каждый из нас в своем углу в саду. Инесса часто играла в эти часы на рояли, и особенно хорошо занималось под звуки доносившейся музыки. После обеда уходили иногда на весь день в горы. Ильич очень любил горы,—любил под вечер забираться на отроги Ротхорна, когда наверху чудесный вид, а под ногами розовеющий туман, или бродить по Шраттенфлу—такая гора была километрах в двух от нас—„проклятые шаги"—переводили мы. Нельзя было никак взобраться на ее плоскую широкую вершину—гора вся была покрыта какими-то изъеденными весенними ручьями камнями. На Ротхорн взбирались редко, хотя оттуда открывался чудесный вид на Альпы. Ложились спать с петухами, набирали альпийских роз, ягод, все были отчаянными грибниками—грибов белых была уйма, но наряду с ними много всякой другой грибной поросли, и мы так азартно спорили, определяя сорта, что можно было подумать—дело идет о какой-нибудь принципиальной резолюции.

В Германии начала разгораться борьба. В апреле вышел журнал, основанный Розой Люксембург и Францем Мерингом, „Интернационал", и тотчас же был закрыт. Вышла брошюра Юниуса (Розы Люксембург) „Кризис германской социал-демократии". Вышло воззвание германских левых социал-демократов, написанное Карлом Либкнехтом,—„Главный враг в собственной стране", а в начале июня К. Либкнехтом и Дункером было составлено „Открытое письмо Центральному комитету социал-демократической партии и фракции рейхстага" с протестом против отношения социал-демократического большинства к войне. Это „Открытое письмо" было подписано тысячью должностных лиц партии.

Видя рост влияния левых социал-демократов, Центральный комитет социал-демократической партии Германии решил пойти на перерез и, с одной стороны, выпустил манифест за подписями Каутского, Гаазе и Бернштейна против аннексий и с призывом к единству партии, а с другой—выступил от своего имени и имени фракции рейхстага против левой оппозиции.

В Швейцарии Роберт Гримм созвал на 11 июля в Берне предварительное совещание по вопросу о подготовке международной конференции левых. На совещании было 7 человек (Гримм, Зиновьев, П. Б. Аксельрод, Варский, Валецкий, Балабанова, Моргари). По существу дела, кроме Зиновьева, настоящих левых на этом предварительном совещании не было, и впечатление от всех разговоров получалось такое, что всерьез никто из участников не хотел созывать конференции левых.

Владимир Ильич очень волновался и усиленно писал во все концы—Зиновьеву, Радеку, Берзину, Коллонтай, лозаннским товарищам, заботясь о том, чтобы на предстоящей конференции были обеспечены места подлинно левым, заботясь о том, чтобы между левыми было как можно больше сплоченности. К половине августа у большевиков были составлены уже: 1) манифест, 2) резолюции, 3) проект декларации, которые посылались наиболее левым товарищам на обсуждение. К октябрю была переведена уже на немецкий язык брошюра Ленина и Зиновьева „Социализм и война".

Конференция состоялась 5—8 сентября в Циммервальде; на ней были делегаты от 11 стран (всего 38 человек). К так называемой Циммервальдской левой примыкали только 9 человек (Ленин, Зиновьев, Берзин, Хеглунд, Нерман, Радек, Борхард, Платтен, после конференции примкнула Ролланд-Гольст). На конференции от русских были еще Троцкий, Аксельрод, Ю. Мартов, Натансон, Чернов, один бундовец. Троцкий к левым циммервальдистам не примыкал.

Владимир Ильич поехал на конференцию раньше и 4-го сделал на частном совещании доклад о характере войны и о тактике, которая должна быть применяема международной конференцией. Споры шли вокруг вопроса о „манифесте". Левые внесли свой проект манифеста и проект резолюции о войне и задачах социал-демократов. Большинство отклонило проект левых и приняло гораздо более расплывчатый, гораздо менее боевой „манифест". Левые подписали общий манифест. В статье „Первый шаг" Владимир Ильич дает оценку Циммервальду: „Следовало ли нашему ЦК подписывать страдающий непоследовательностью и робостью манифест?—спрашивает Ильич и отвечает:—Мы думаем, что да. О нашем несогласии,—о несогласии не только ЦК, но всей левой, международной революционно-марксистской части конференции,—сказано открыто и в особой резолюции, и в особом проекте манифеста, и в особом заявлении по поводу голосования за компромиссный манифест. Мы не скрыли ни ноты из своих взглядов, лозунгов, тактики. На конференции было роздано немецкое издание брошюры: „Социализм и война". Мы распространили, распространяем и будем распространять наши взгляды не менее, чем будет распространяться манифест. Что этот манифест делает *шаг вперед* к действительной борьбе с оппортунизмом, к разрыву и расколу с ним, это факт. Было бы сектантством отказываться сделать этот шаг вперед *вместе* с меньшинством немцев, французов, шведов, норвежцев, швейцарцев, когда мы сохраняем полную

свободу и полную возможность критиковать непоследовательность и добиваться большего" (там же, стр. 300). На Циммервальдской конференции левые организовали свое бюро и вообще оформились как особая группа.

Хоть и писал Владимир Ильич перед Циммервальдской конференцией, что надо преподнести каутскианцам наш проект резолюции: „Голландцы + мы + левые немцы + 0 и то не беда, а будет потом не ноль, а все!", но все же темпы продвижения вперед были очень уже медленны, и плохо мирился с этим Ильич. Статья „Первый шаг" начинается именно подчеркиванием медленного темпа развития революционного движения: „Медленно движется вперед развитие интернационального социалистического движения в эпоху неимоверно тяжелого кризиса, вызванного войной" (там же, стр. 297). И приехал поэтому Ильич с Циммервальдской конференции порядочно-таки нервным.

На другой день по приезде Ильича из Циммервальда полезли мы на Ротхорн. Лезли с „великоторжественным аппетитом", но когда влезли наверх, Ильич вдруг лег на землю, как-то очень неудобно, чуть не на снег, и заснул. Набежали тучи, потом прорвались, чудесный вид на Альпы раскрылся с Ротхорна, а Ильич спит, как убитый, не шевельнется, больше часу проспал. Циммервальд, видно, здорово ему нервы потрепал, отнял порядочно сил.

Надо было несколько дней ходьбы по горам и сёренбургской обстановки, чтобы Ильич пришел в себя. Коллонтай ехала в Америку, и Ильич писал ей о необходимости сделать все возможное, чтобы сплотить американские левые интернационалистские элементы. В начале октября мы вернулись в Берн. Ильич ездил с рефератом о Циммервальдской конференции в Женеву, продолжал списываться с Коллонтай об американцах и т. д.

Осень была душноватая. Берн—город административно-учебного характера по преимуществу. В нем много хороших библиотек, много ученых сил, но вся жизнь насквозь пропитана каким-то мелкобуржуазным духом. Берн очень „демократичен"—жена главного должностного лица республики трясет каждый день с балкончика ковры, но эти ковры, домашний уют засасывают бернскую женщину до последних пределов. Мы наняли было осенью комнату с электричеством и перевезли туда свой чемодан, книги, и когда в день переезда зашли к нам Шкловские, я стала показывать, как электричество чудесно горит, но ушли Шкловские, и к нам с шумом влетела хозяйка и по-

требовала, чтобы мы на другой же день съехали с квартиры, так как она не позволит у себя в квартире днем зажигать электричество. Мы решили, что у ней не все дома, наняли другую комнату, поскромнее, без электричества, куда и переехали на другой день. В Швейцарии повсюду царило ярко выраженное мещанство. Приехала как-то в Берн русская труппа, игравшая на немецком языке; ставили пьесу Л. Толстого „Живой труп". Мы тоже пошли. Играли очень хорошо. Ильича, который ненавидел до глубины души всякое мещанство, условность, эта пьеса чрезвычайно разволновала. Потом он хотел еще раз пойти ее смотреть. Вообще русским она очень нравилась. Пьеса понравилась и швейцарцам. Но чем понравилась пьеса им—им ужасно жаль было жены Протасова, они принимали к сердцу ее участь. „Такой непутевый муж ей попался, а ведь люди они были богатые, с положением, как счастливо могли бы жить. Бедная Лиза!"

Осень 1915 г. мы усерднее, чем когда-либо, сидели в библиотеках, ходили по обыкновению гулять, но все это не могло стереть ощущения запертости в этой мещанской демократической клетке. Там где-то нарастает революционная борьба, кипит жизнь, но все это далеко.

В Берне можно было сделать очень мало для завязывания непосредственных связей с левыми. Помню, как Инесса ездила во французскую Швейцарию завязывать связи с швейцарскими левыми, Нэном и Грабером. Никак не могла добиться с ними свидания, все оказывалось то Нэн рыбу удит, то Грабер занят домашними делами. „Отец сегодня занят, у нас стирка, он белье развешивает",—почтительно сообщила маленькая дочь Грабера Инессе. Удить рыбу, развешивать белье—дело не плохое, и Ильич не раз кастрюлю с молоком сторожил, чтобы молоко не убежало, но когда белье и удочки мешали поговорить о самом нужном, об организации левых, не очень это было ладно. Теперь Инесса достала себе чужой паспорт и поехала в Париж. Вернувшись из Циммервальда, Мерргейм и Бурдерон основали в Париже Комитет по восстановлению международных связей; от большевиков туда входила Инесса. Ей много пришлось бороться там за левую линию, которая в конце концов победила. Инесса подробно писала о своей работе Владимиру Ильичу:

„Дорогой Владимир Ильич,—пишет Инесса в открытке от 25 января 1916 г.,—спасибо Вам за письмецо—оно меня очень успокоило и ободрило. Я как раз была в этот день расстроена неудачей с Мерргеймом. Теперь, когда вы пишете об отказе Троцкого участвовать в голландском журнале, я лучше объ-

ясняю себе и отказ Мерргейма принимать в нем участие—очевидно одно связано с другим. Ваше письмо еще потому было как нельзя более кстати, что оно окончательно укрепило ту точку зрения, которую и я себе составила о характере работы, но немного колебалась. В общем, живу здесь хорошо. Устаю, правда, здорово, утомляют дела, и, например, сегодня ждала свиданья 4 часа. Зато добилась наконец билета в национальную библиотеку и получила еще много сведений о том, как там находить в каталогах, и прочие необходимые сведения. Ну, всего лучшего. Жму руку".

Одновременно с этим письмом в корешке книги Инесса посылает подробное описание своей дальнейшей работы. Вот оно: „Дорогие друзья, посылаю только несколько слов, так как очень мало времени. С тех пор, как писала, было два собрания „комитета действия"—на одном обсуждался призыв (о том, что „меньшинство" французской партии идет с немецким „меньшинством", а не с „большинством", о восстановлении интернационала). Проект Троцкого был отвергнут и заменен проектом Мерргейма, в котором не сказано о восстановлении, а сказано лишь, что „Интернационал должен базироваться на классовой борьбе, на борьбе против империализма, на борьбе за мир. К такому интернационалу мы присоединяемся". Затем сказано, что Интернационал, который не зиждился бы на этих базисах, был бы обманом пролетариата. Я предлагаю несколько поправок—о борьбе против социал-шовинистов (мне ответили, что вставят в конце), о том, что Интернационал борется против империализма (было принято) и, наконец, высказалась против: „мы присоединимся к подобному Интернационалу", предлагала сказать „мы перестроим Интернационал на базисе и т. д.". За это „перестроим" на меня обрушились Мерргейм и Бурдерон. Мерргейм мне сказал, что мы—гэдисты (старые приемы), что мы мыслим отвлеченно, не считаемся с обстоятельствами, что во Франции социалисты не хотят слышать о расколе и т. д. Я ему ответила, что гэдист старой манеры был вовсе не так уж плох, что сейчас именно наша тактика жива и жизненна, так как можно объединить вокруг себя пролетарские силы только тем, что ярко и определенно противопоставить свою точку зрения точке зрения шовинистов; что измена вождей вызвала недоверие и разочарование; что многие рабочие на фабриках,—читая нашу брошюру, говорили: „Это очень хорошо, но социалистов больше нет"; что мы должны нести в массы добрую весть, что социалисты есть, мы можем это сделать, только порвав окончательно с шовинистами".

Далее Инесса рассказывает в письме о работе с молодежью, о плане издания листков, о связях с механиками, портными, землекопами и другими секциями синдикалистов (профсоюзов) и т. д. Много работала Инесса и в нашей Парижской группе, виделась с членом группы Сапожковым, ушедшим сначала добровольцем на фронт, а теперь разделявшим взгляды большевиков и начавшим пропаганду среди французских солдат.

Тов. Шкловский организовал небольшую химическую лабораторию, и наша публика, Каспаров, Зиновьев, работали там для заработка. Зиновьев задумчиво поглядывал на трубки и колбы, которые теперь появились во всех квартирах.

В Берне работа возможна была главным образом теоретическая. За год войны очень многое стало яснее. Очень характерна, например, была постановка вопроса о Соединенных Штатах Европы. В декларации ЦК, напечатанной 1 ноября 1914 г. в ЦО, говорилось: „Ближайшим политическим лозунгом социал-демократии Европы должно быть образование республиканских Соединенных Штатов Европы, причем в отличие от буржуазии, которая готова „обещать" что угодно, лишь бы вовлечь пролетариат в общий поток шовинизма, социал-демократы будут разъяснять всю лживость и бессмысленность этого лозунга без революционного низвержения монархий германской, австрийской и русской" (там же, стр. 65). В марте, во время конференции заграничных секций, этот лозунг вызвал уже большие споры. В отчете о конференции сказано: „...По вопросу о лозунге „Соединенных Штатов Европы" дискуссия приняла односторонне политический характер, и вопрос решено было отложить до обсуждения в печати *экономической* стороны дела" (там же, стр. 124).

Вопрос об империализме, его экономической сущности, об эксплоатации мощными капиталистическими государствами более слабых, об эксплоатации колоний встал во весь рост. Поэтому ЦО пришел к выводу: „С точки зрения экономических условий империализма, т. е. вывоза капитала и раздела мира „передовыми" и „цивилизованными" колониальными державами, Соединенные Штаты Европы, при капитализме, либо невозможны, либо реакционны... Соединенные Штаты Европы, при капитализме, равняются соглашению о дележе колоний" (там же, стр. 231).

Но, может быть, можно было выставить другой лозунг, лозунг Соединенных Штатов Мира? Вот что писал по этому поводу Ильич: „Соединенные Штаты Мира (а не Европы) являются той государственной формой объединения и свободы

наций, которую мы связываем с социализмом,—пока полная победа коммунизма не приведет к окончательному исчезновению всякого, в том числе и демократического, государства. Как самостоятельный лозунг, лозунг Соединенные Штаты Мира был бы однако едва ли правилен, во-первых, потому, что он сливается с социализмом; во-вторых, потому, что он мог бы породить неправильное толкование о невозможности победы социализма в одной стране и об отношении такой страны к остальным" (там же, стр. 232). Эта статья очень хорошо вскрывает ход мыслей Ильича в конце 1915 года. Ясно, что мысль его была направлена по линии все более глубокого изучения экономических корней мировой войны, т. е. империализма, с одной стороны, с другой стороны—по линии выявления путей, по которым пойдет мировая борьба за социализм.

Над этими вопросами и работал Владимир Ильич конец 1915 и 1916 гг., собирая материал для своей брошюры „Империализм, как высшая стадия капитализма" и вновь и вновь перечитывая Маркса и Энгельса, чтобы яснее представить себе эпоху социалистической революции, ее пути и развитие.

ЦЮРИХ

1916 г.

С января 1916 г. Владимир Ильич взялся за писание брошюры об империализме для книгоиздательства „Парус“. Этому вопросу Ильич придавал громадное значение, считая, что настоящей глубокой оценки происходящей войны нельзя дать, не выяснив до конца сущности империализма как с его экономической, так и политической стороны. Поэтому он охотно взялся за эту работу. В половине февраля Ильичу понадобилось поработать в цюрихских библиотеках, и мы поехали туда на пару недель, а потом все откладывали да откладывали свое возвращение в Берн да так и остались жить в Цюрихе, который был поживее Берна. В Цюрихе было много иностранной революционно настроенной молодежи, была рабочая публика, социал-демократическая партия была более лево настроена и как-то меньше чувствовался дух мещанства.

Пошли нанимать комнату. Зашли к некоей фрау Прелог, скорее напоминавшей жительницу Вены, чем швейцарку, что объяснялось тем, что она долго служила поварихой в какой-то венской гостинице. Устроились было мы у ней, но на другой день выяснилось, что возвращается прежний жилец. Ему кто-то пробил голову и он лежал в больнице, а теперь выздоровел. Фрау Прелог попросила нас найти себе другую комнату, но предложила нам приходить к ней кормиться за довольно дешевую плату. Мы кормились, должно быть, там месяца два; кормили нас просто, но сытно. Ильичу нравилось, что все было просто, что кофе давали в чашке с отбитой ручкой, что кормились в кухне, что разговоры были простые,—не о еде, не о том, что столько-то картошек надо класть в такой-то суп, а о делах, интересовавших столовников фрау Прелог. Правда, их было не очень много и они часто менялись. Очень скоро мы почувствовали, что попали в очень своеобразную среду, в самое что ни на есть цюрихское „дно“. Одно время обедала у Прелог какая-то проститутка, которая не скрываючи говорила

о своей профессии, но которую гораздо больше, чем ее профессия, занимало, то здоровье ее матери, то какую работу найдет ее сестра. Столовалась несколько дней какая-то сиделка, стали появляться еще какие-то столовники. Жилец фрау Прелог больше помалкивал, но из отдельных фраз явствовало, что это тип почти что уголовный. Нас никто не стеснялся, и надо сказать в разговорах этой публики было гораздо более „человеческого", живого, чем в чинных столовых какого-нибудь приличного отеля, где собирались состоятельные люди.

Я торопила Ильича перейти на домашний стол, ибо публика была такая, что легко можно было влипнуть в какую-нибудь дикую историю. Все же некоторые черты цюрихского „дна" были небезынтересны.

Потом, когда я читала сборник Джона Рида „Дочь революции", мне особенно понравилось, что Рид рисовал проституток не с точки зрения их профессии или вопросов любви, а с точки зрения других их интересов. Обычно, когда рисуют „дно", мало обращают внимание на быт.

Когда мы потом в России смотрели с Ильичем постановку „На дне" Горького в Художественном театре,—а Владимиру Ильичу очень хотелось посмотреть эту пьесу—ему ужасно не понравилась „театральность" постановки, отсутствие тех бытовых мелочей, которые, как говорится, „делают музыку", рисуют обстановку во всей ее конкретности.

Потом все время, встречаясь на улице с фрау Прелог, Ильич всегда ее дружески приветствовал. А встречались мы с ней хронически, ибо поселились неподалеку, в узком переулочке, в семье сапожника Каммерера. Комната была не очень целесообразная. Старый мрачный дом, стройки чуть ли не XVI века, двор вонючий. Можно было за те же деньги получить гораздо лучшую комнату, но мы дорожили хозяевами. Семья была рабочая, они были революционно настроены, осуждали империалистскую войну. Квартира была поистине „интернациональная": в двух комнатах жили хозяева, в одной—жена немецкого солдата-булочника с детьми, в другой—какой-то итальянец, в третьей—австрийские актеры с изумительной рыжей кошкой, в четвертой,—мы, россияне. Никаким шовинизмом не пахло, и однажды когда около газовой плиты собрался целый женский интернационал, фрау Каммерер возмущенно воскликнула: „Солдатам нужно обратить оружие против своих правительств!" После этого Ильич и слышать не хотел о том, чтобы менять комнату. От фрау Каммерер я многому научилась: как дешево, с минимальной затратой времени сытно варить обед и ужин. Училась

и другому. Однажды в газетах было объявлено, что Швейцария испытывает затруднение во ввозе мяса, и потому правительство обращается к гражданам с призывом два раза в неделю не потреблять мяса. Мясные лавки продолжали торговать в „постные“ дни. Я закупила к обеду мясо, как всегда, и, стоя у газовки, стала расспрашивать фрау Каммерер, как же проверяют, выполняют ли граждане призыв,—контролеры что ли какие по домам ходят? „Зачем же проверять?—удивилась фрау Каммерер.—Раз опубликовано, что существуют затруднения, какой же рабочий человек станет есть мясо в „постные“ дни, разве буржуй какой?“ И, видя мое смущение, она мягко добавила: „К иностранцам это не относится“. Этот пролетарский сознательный подход чрезвычайно пленил Ильича.

Просматривая свои письма к Шляпникову за этот период, я нашла письмо от 8 апреля 1915 года. Оно характеризует тогдашние настроения. „Дорогой друг,—писала я,—пришло Ваше письмо от 3 апреля и немножко отлегло, а то тяжело как-то было читать Ваши раздраженные письма с обещанием уехать в Америку, с готовностью обвинить невесть в чем. Переписка—отвратительная вещь, недоразумения так и нарастают одно за другим... В пропавшем письме я писала подробно, почему нельзя тащить Григория ни в Россию, ни в Ваши края. Он очень близко принял к сердцу Ваш упрек, что он не переехал в Стокгольм. Нельзя разорять редакцию ЦО и вообще заграничную базу. Сейчас более, чем когда-нибудь, ЦО зубами отвоевал не одну позицию во время войны. Его редакция сыграла не малую роль в Интернационале. Это уже приходится прямо сказать, откинув в сторону излишнюю скромность. „Коммунист“ тоже не вышел бы без редакции Центрального органа. Стоил он не мало разговоров, забот, треволнений. Еще больше—„Vorbote“ (орган Циммервальдской левой). Если разорить редакцию, некому вести будет работу. Подобрать новую редакцию—не так-то легко. Вон, Николая Ивановича тянули всячески, говорили о его переезде в Краков, потом в Берн. Ничего нельзя было сделать. И двух-то человек мало, а Вы хотите одного взять. Разорите заграничную базу—и переправлять нечего будет. Иногда Григорию до чорта надоедает заграничное житье, и он начинает метаться. А Вы подливаете масла в огонь своими упреками. Если смотреть на дело с точки зрения полезности всей работы в целом, Григория нельзя трогать. Стоял вопрос о переезде всей редакции, но встал вопрос о деньгах, о международном влиянии, о полицейских соображениях. О деньгах ставили японцам прямо вопрос, они сказали: у них нет. В Стокгольме жизнь гораздо дороже;

тут Григорий служит в лаборатории, есть библиотеки и следовательно возможность хоть кое-что заработать литературно. В ближайшем будущем для всех нас и тут вопрос о заработке встанет очень остро".

„Насчет увлечения Ильича эмигрантскими делами упрек неоснователен. Эмигрантскими делами он совершенно не занимается. Приходится заниматься интернациональными делами больше, чем раньше, но это необходимо. Увлечен он, правда, теперь очень „самоопределением наций". И по-моему, если хотеть его хорошенько „использовать", надо настоять на том, чтобы он написал популярную брошюру на эту тему. Вопрос этот менее всего академичен в настоящее время. Вопрос этот очень запутан в международной социал-демократии, но из-за этого его нельзя отодвигать. Этой зимой тут были дискуссии на эту тему с Радеком. Мне лично они очень много дали"—и дальше я на нескольких страницах излагаю содержание этих дискуссий, излагаю точку зрения Ильича.

Жили мы в Цюрихе, как выражался Ильич в одном из писем домой, „потихоньку", немного в стороне от местной колонии, регулярно и много занимаясь в библиотеках. После обеда каждодневно забегал к нам на полчасика возвращавшийся из эмигрантской столовой молодой товарищ Гриша Усиевич, погибший в 1919 г. во время гражданской войны. По утрам одно время к нам стал приходить племянник Землячки, сошедший с ума на почве голода. Он ходил до такой степени оборванным и забрызганным грязью, что его перестали пускать в швейцарские библиотеки. Он старался запопасть Ильича до его ухода в библиотеку, утверждая, что ему нужно обсудить с Ильичем какие-то принципиальные вопросы, и порядком трепал нервы Ильичу.

Мы стали уходить из дому пораньше, чтобы походить до библиотеки еще вдоль озера и поразговаривать немного. Ильич рассказывал о своей работе, которую он писал, и о разных своих мыслях.

Из Цюрихской группы мы чаще всего виделись с Усиевичем и Харитоновым. Помню еще „Дядю Ваню"—Авдеева, рабочего-металлиста, и Туркина, уральского рабочего, Бойцова, который потом работал в Главполитпросвете. Помню также (фамилию забыла) рабочего-болгарина. Большинство товарищей из нашей Цюрихской группы работало на заводах; все были очень заняты, собрания группы были сравнительно редки. Зато у членов нашей группы были хорошие связи с цюрихскими рабочими; они стояли ближе к местной жизни рабочих, чем это было в

других швейцарских городах (за исключением Шо-де-Фон, где наша группа еще теснее была связана с рабочей массой).

Во главе цюрихского швейцарского движения стоял Фриц Платтен; он был секретарем партии. Он примыкал к Циммервальдской левой, был сыном рабочего, был простым горячим парнем, пользовался большим влиянием в массах. Примкнул к Циммервальдской левой и редактор партийной цюрихской газеты „Volksrecht“ („Право Народа“) Нобс. Рабочая эмигрантская молодежь—ее было много в Цюрихе—во главе с Вилле Мюнценбергом была очень активна, поддерживала левых. Все это создавало известную близость к швейцарскому рабочему движению. Некоторым товарищам, не бывшим в эмиграции, кажется теперь, что Ленин возлагал особые надежды на швейцарское движение и считал, что Швейцария может стать чуть ли не центром грядущей социальной революции.

Это, конечно, не так. В Швейцарии не было сильного рабочего класса, это—страна курортная по преимуществу, страна—маленькая, питающаяся от крох сильных капиталистических стран. Рабочие в Швейцарии были в общем и целом мало революционны. Демократизм и удачное разрешение национального вопроса не были еще условием, достаточным для того, чтобы Швейцария стала очагом социальной революции.

Конечно, из этого не следовало, что не надо было вести в Швейцарии интернациональную пропаганду, помогать революционизированию швейцарского рабочего движения и партии, ибо если бы Швейцария оказалась втянутой в войну, ситуация быстро могла бы измениться.

Ильич читал перед швейцарскими рабочими рефераты, держал тесную связь с Платтеном, Нобсом, Мюнценбергом. Наша Цюрихская группа плюс несколько поляков (тогда в Цюрихе жил т. Бронский) задумала устраивать совместные заседания с цюрихской швейцарской организацией. Стали собираться в небольшом кафе „Zum Adler“, неподалеку от нашего дома. На первое собрание пришло что-то около 40 человек. Ильич говорил о текущем моменте, ставил вопросы со всей остротой. Хотя собрались все интернационалисты, швейцарцев очень смутила резкая постановка вопроса. Помню речь одного представителя швейцарской молодежи, говорившего на тему, что лбом стену не пробьешь. Факт тот, что наши собрания стали таять, и на четвертое собрание явились только русские и поляки, пошутили и разошлись по домам.

Первые месяцы нашего житья в Цюрихе Владимир Ильич работал главным образом над брошюрой об империализме. Он был

очень увлечен этой работой, делал очень много выписок. Особо его интересовали колонии; у него был собран богатейший материал, помню и меня он засадил за какие-то переводы с английского о каких-то африканских колониях. Он много рассказывал очень интересного. Потом, когда я перечитывала его „Империализм", он мне показался гораздо суше, чем были его рассказы. Изучил он экономическую жизнь Европы, Америки и пр. что говорится на ять. Но интересовал его, конечно, не только экономический уклад, но и те политические формы, которые соответствовали этому укладу, влияние их на массы. К июлю брошюра была кончена. 24—30 апреля 1916 г. состоялась II Циммервальдская (так называемая Кинтальская) конференция. Восемь месяцев прошло за время, протекшее с первой конференции, восемь месяцев все шире и шире развертывавшейся империалистской войны, но лицо Кинтальской конференции не так уже разительно отличалось от I Циммервальдской конференции. Публика стала немного радикальнее. Циммервальдская левая имела не 8, а 12 делегатов, резолюции конференции представляли известный шаг вперед. Конференция решительно осудила Международное социалистическое бюро; она приняла резолюцию о мире, в которой говорилось: „На почве капиталистического общества невозможно установить прочного мира; условия, необходимые для его осуществления, создает *социализм*. Устранив капиталистическую частную собственность и тем самым эксплоатацию народных масс имущими классами и национальный гнет, социализм устранит и причины войн. *Поэтому борьба за прочный мир может заключаться лишь в борьбе за осуществление социализма*" (Соч., т. XIX, Прилож., стр. 434). За распространение этого манифеста в траншеях в мае было расстреляно в Германии 3 офицера и 32 солдата. Германское правительство больше всего боялось революционизирования масс.

В своих предложениях Кинтальской конференции ЦК РСДРП обращал внимание именно на необходимость революционизирования масс. Там говорилось: „Недостаточно того, что циммервальдский манифест намекает на революцию, говоря, что рабочие должны нести жертвы ради своего, а не чужого дела. Необходимо ясно и определенно указать массам их путь. Надо, чтобы массы знали, куда и зачем итти. Что массовые революционные действия во время войны, при условии их успешного развития, могут привести лишь к превращению империалистской войны в гражданскую войну за социализм, это очевидно, и скрывать это от масс вредно. Напротив, эту цель надо указать ясно, как бы трудно ни казалось достижение ее, когда мы

находимся только в начале пути. Недостаточно сказать, как сказано в циммервальдском манифесте, что „капиталисты лгут, говоря о защите отечества“ в данной войне, и что рабочие в революционной борьбе не должны считаться с военным положением своей страны; надо сказать ясно то, что здесь выражено намеком, именно, что не только капиталисты, но и социал-шовинисты и каутскианцы лгут, когда допускают применение понятия защиты отечества в данной, империалистской войне;— что революционные действия во время войны невозможны без угрозы поражением „своему“ правительству, и что всякое поражение правительства в реакционной войне облегчает революцию, которая одна в состоянии принести прочный и демократический мир. Необходимо наконец сказать массам, что без создания ими самими нелегальных организаций и свободной от военной цензуры, т. е. нелегальной, печати немыслима серьезная поддержка начинающейся революционной борьбы, ее развитие, критика ее отдельных шагов, исправление ее ошибок, систематическое расширение и обострение ее“ (там же, стр. 61—62).

В этом предложении ЦК очень ярко выражено отношение большевиков и Ильича к массам—массам надо всегда говорить всю правду до конца, правду неприкрашенную, не боясь того, что эта правда отпугнет их. На массы возлагали большевики все свои надежды, массы—и только они—добьются социализма.

В письме к Шляпникову от 1 июня я писала: „Пасчет Кинталя Григорий увлекается очень. Конечно, могу судить только по рассказам, но много словесности очень уж и нет внутреннего единства, того единства, которое служило бы порукой прочности дела. Видно, что с низов еще не „прет“, как выражался Баданч, разве вот у немцев это несколько чувствуется“.

Изучение экономики империализма, разбор всех составных частей этого „ящика скоростей“, охват всей мировой картины идущего к гибели империализма—этой последней ступени капитализма—дали возможность Ильичу по-новому поставить целый ряд политических вопросов, гораздо глубже подойти к вопросу о том, в каких формах будет протекать борьба за социализм вообще и в России в частности. Многое хотелось Ильичу додумать до конца, дать своим мыслям дозреть, и потому мы решили поехать в горы, да и мне было необходимо это, потому, что никак не могла утихомириться моя базедка. Одна управа была на нее—горы. Мы поехали на шесть недель в кантон Сен-Галлен, неподалеку от Цюриха, в дикие горы, в дом отдыха Чудивизе, очень высоко, совсем близко к снеговым вершинам. Дом отдыха был самый дешевый, 2½ франка в день с человека.

Правда, это был „молочный“ дом отдыха—утром давали кофе с молоком и хлеб с маслом и сыром, но без сахара, в обед—молочный суп, что-нибудь из творога и молока на третье, в 4 часа опять кофе с молоком, вечером еще что-то молочное. Первые дни мы прямо взвыли от этого молочного лечения, но потом дополняли его едой малины и черники, которые росли кругом в громадном количестве. Комната наша была чиста, освещенная электричеством, безобстановочная, убирать ее надо было самим и сапоги надо было чистить самим. Последнюю функцию взял на себя, подражая швейцарцам, Владимир Ильич, и каждое утро забирал мои и свои горные сапоги и отправлялся с ними под навес, где полагалось чистить сапоги, пересмеивался с другими чистильщиками и так усердствовал, что раз даже при общем хохоте смахнул стоявшую тут же плетеную корзину с целой кучей пустых пивных бутылок. Публика была демократическая. В доме отдыха, где цена за содержание $2\frac{1}{2}$ франка с человека, „порядочная“ публика не селилась. В некотором отношении этот дом отдыха напоминал французский Бонбон, но публика была попроще, победнее, с швейцарским демократическим налетом. По вечерам хозяйский сын играл на гармонии, и отдыхающие плясали во-всю, часов до одиннадцати раздавался топот пляшущих. Чудивизе было километрах в восьми от станции, сообщение возможно было лишь на ослах, дорога шла тропинками по горам, все ходили пешком, и вот почти каждое утро, часов в шесть утра, начинал названивать колокол, собиралась публика провожать уходящих и пели какую-то прощальную песню про кукушку какую-то. Каждый куплет кончался словами: „Прощай, кукушка“. Владимир Ильич, любивший утром поспать, ворчал и плотнее закутывался в одеяло с головой. Публика была архиаполитична. Даже на тему о войне никогда не заходили разговоры. В числе отдыхающих был солдат. У него были не особенно крепкие легкие, и потому начальство послало его на казенный счет лечиться в молочную санаторию. В Швейцарии военные власти очень заботятся о солдатах (в Швейцарии не постоянное войско, а милиция). Парень был довольно славный. Владимир Ильич ходил около него, как кот около сала, заводил с ним несколько раз разговор о грабительском характере происходящей войны, парень не возражал, но явно не клевало. Видно было, что его весьма мало интересуют политические вопросы, гораздо больше—времяпрепровождение в Чудивизе.

В Чудивизе к нам никто не приезжал, русских там никаких не жило, и мы жили оторванные от всех дел, шатались по горам

целыми днями. В Чудивизе Ильич не занимался вовсе. Гуляя по горам, он много говорил о занимавших его вопросах, о роли демократии, о положительных и отрицательных сторонах швейцарской демократии, говорил часто повторяя одну и ту же мысль отдельными фразами; видно было, что эти вопросы сугубо занимали его. Вторую половину июля и август мы прожили в горах. Когда мы уезжали, и нас санаторы провожали, как всех, пением: „Прощай, кукушка". Спускаясь вниз через лес, Владимир Ильич вдруг увидел белые грибы и, несмотря на то, что шел дождь, принялся с азартом за их сбор, точно левых циммервальдцев вербовал. Мы вымокли до костей, но грибов набрали целый мешок. Запоздали, конечно, к поезду, и пришлось часа два сидеть на станции в ожидании следующего поезда.

По приезде в Цюрих мы опять поселились у тех же хозяев, на Шпигельгассе.

За время пребывания в Чудивизе Владимир Ильич со всех сторон обдумал план работы на ближайшее время. Первое, что важно было, особенно в данный момент, это—теоретическая спевка, установление четкой теоретической линии. Были разногласия с Розой Люксембург, Радеком, голландцами, с Бухариным, Пятаковым, отчасти с Коллонтай. Наиболее резкие разногласия были с Пятаковым (П. Киевским), который написал в августе статью „Пролетариат и право наций на самоопределение". Прочитав ее в рукописи, Ильич засел сейчас же строчить ему ответ—целую брошюру „О карикатуре на марксизм и об „империалистическом экономизме". Брошюра написана в очень сердитых тонах и именно потому, что к этому времени у Ильича уже вырабатывался очень ясный, определенный взгляд на соотношение между экономикой и политикой в эпоху борьбы за социализм. Недооценку политической борьбы в эту эпоху он характеризовал как империалистический экономизм. „Капитализм победил,—писал Ильич,—*поэтому* не нужно думать над политическими вопросами, рассуждали старые „экономисты" в 1894—1901 гг., доходя до отрицания политической борьбы в России. Империализм победил—*поэтому* не нужно думать о вопросах политической демократии, рассуждают современные „империалистические экономисты" (там же, стр. 195).

Игнорирование роли демократии в борьбе за социализм было недопустимо. „Социализм невозможен без демократии в двух смыслах,—писал Владимир Ильич в той же брошюре:—1) нельзя пролетариату совершить социалистическую революцию, если он не подготовляется к ней борьбой за демократию; 2) нельзя победившему социализму удержать своей победы и привести чело-

вещество к отмиранию государства без осуществления полностью демократии" (там же, стр. 233—234).

Эти слова Владимира Ильича полностью оправдались вскоре на русском опыте. Февральская революция и последующая борьба за демократию подготовили Октябрь. Неустанное расширение и укрепление Советов, советской системы реорганизует и самое демократию, постоянно углубляя содержание этого понятия.

В 1915—1916 гг. Владимир Ильич уже глубоко продумал вопрос о демократии, подходил к этому вопросу с точки зрения строительства социализма. Еще в ноябре 1915 г., возражая на статью Радека („Парабеллума"), напечатанную в „Berner Tagewacht" в октябре 1915 г., Ильич писал: „У т. Парабеллума выходит так, что *во имя* социалистической революции он с пренебрежением отбрасывает последовательно революционную программу в демократической области. Это неправильно. Пролетариат не может победить иначе, как через демократию, т. е. осуществляя демократию полностью и связывая с каждым шагом своей борьбы демократические требования в самой решительной их формулировке. Нелепо *противопоставлять* социалистическую революцию и революционную борьбу против капитализма *одному* из вопросов демократии, в данном случае национальному. Мы должны *соединить* революционную борьбу против капитализма с революционной программой и тактикой по отношению ко *всем* демократическим требованиям: и республики, и милиции, и выбора чиновников народом, и равноправия женщин, и самоопределения наций и т. д. Пока существует капитализм, все эти требования осуществимы лишь в виде исключения и притом в неполном, искаженном виде. Опираясь на осуществленный уже демократизм, разоблачая его неполноту при капитализме, мы требуем свержения капитализма, экспроприации буржуазии, как необходимой базы и для уничтожения нищеты масс и для *полного* и *всестороннего* проведения *всех* демократических преобразований. Одни из этих преобразований будут начаты до свержения буржуазии, другие *в ходе* этого свержения, третьи после него. Социальная революция не одна битва, а эпоха целого ряда битв по всем и всяческим вопросам экономических и демократических преобразований, завершаемых лишь экспроприацией буржуазии. Как раз во имя этой конечной цели мы должны дать последовательно революционную формулировку *каждого* из наших демократических требований. Вполне мыслимо, что рабочие какой-либо определенной страны свергнут буржуазию *до* осуществления хотя бы одного коренного демократического преобразования полностью. Но совершенно немыслимо, чтобы пролетариат, как исто-

рический класс, мог победить буржуазию, если он не будет подготовлен к этому воспитанием в духе самого последовательного и революционно-решительного демократизма" (Соч., т. XVIII, стр. 323—324).

Я привожу такие длинные цитаты потому, что они очень ярко выражают то, о чем очень усиленно думал Владимир Ильич в конце 1915 и в 1916 гг. и что наложило печать на дальнейшие его высказывания. Большинство его статей, касающихся вопросов роли демократии в деле борьбы за социализм, были напечатаны много позже: статья против Парабеллума—в 1927 г., брошюра „Карикатура на марксизм"—в 1924 году. Они мало известны потому, что печатались в сборниках, выходящих не очень большими тиражами, а между тем без этих статей непонятна и вся та горячность, которую проявлял Владимир Ильич в спорах о праве наций на самоопределение. Горячность эта становится понятной, если взять этот вопрос в связи с общей оценкой Ильичом демократизма. Надо отдать себе отчет в том, что отношение к вопросу о самоопределении было для Владимира Ильича оселком, на котором проверялось умение правильно подходить к демократическим требованиям вообще. Все споры по этой линии и с Розой Люксембург и с Радеком, и с голландцами, и с Киевским, и с рядом других товарищей шли именно под этим углом зрения. В брошюре против Киевского он писал: „Все нации придут к социализму, это неизбежно, но все придут не совсем одинаково, каждая внесет своеобразие в ту или иную форму демократии, в ту или иную разновидность диктатуры пролетариата, в тот или иной темп социалистических преобразований разных сторон общественной жизни. Нет ничего более убогого теоретически и более смешного практически, как „во имя исторического материализма" рисовать себе будущее *в этом* отношении одноцветной сероватой краской: это было бы суздальской мазней, не более того" (Соч., т. XIX, стр. 230).

Строительство социализма—не только строительство хозяйственное; экономика—только база строительства социализма, основа, предпосылка, а гвоздь строительства социализма—перестройка по-новому всей общественной ткани, перестройка на основе социалистического революционного демократизма.

Это, пожалуй, то, что всего глубже разделяло все время Ленина и Троцкого. Троцкий не понимал демократического духа, демократических основ строительства социализма, процесса переорганизации всего жизненного уклада масс. Тогда же, в 1916 г., уже в зародыше были и позднейшие разногласия Ильича с Бухариным. Бухарин в заметке „Nota Bene" в № 6 „Jugend-

Internationale“ („Интернационал Молодежи“) в конце августа написал статью, в которой видна была недооценка роли государства, недооценка роли диктатуры пролетариата. Ильич в заметке „Интернационал Молодежи“ отметил эту ошибку Бухарина. Диктатура пролетариата, обеспечивающая ведущую роль пролетариата в перестройке всей общественной ткани, вот что интересовало особенно Владимира Ильича во второй половине 1916 года.

Демократические требования входят в программу-минимум— и вот в первом письме к Шляпникову, которое Владимир Ильич написал по возвращении из Чудивизе, он ругает Базарова за статью в „Летописи“, где тот высказался за упразднение программы-минимум. Он спорит с Бухариным, который недооценивает роли государства, роли диктатуры пролетариата и т. д. Он негодует на Киевского, что тот не понимает ведущей роли пролетариата. „Не пренебрегайте,—писал Ильич Шляпникову,—теоретической спевкой: ей-ей, она необходима для работы в такое трудное время“ (Соч., т. XIX, стр. 274).

Владимир Ильич стал усиленно перечитывать все, что писали Маркс и Энгельс о государстве, делать оттуда выписки. Эта работа вооружала его особо глубоким пониманием характера грядущей революции, дала ему серьезнейшую подготовку в деле понимания конкретных задач этой революции.

30 ноября было совещание швейцарских левых об отношении к войне. А. Шмид из Винтертура говорил о том, что необходимо использовать демократическое устройство Швейцарии в антимилитаристических целях. На другой день Ленин написал А. Шмиду письмо, в котором предлагал „поставить на референдум (т. е. на всеобщее голосование. *И. К.*) вопрос таким образом: за экспроприацию крупных капиталистических предприятий в промышленности и сельском хозяйстве, *как единственный путь* к полному устранению милитаризма, или против экспроприации?

В этом случае мы в нашей практической политике будем говорить то же самое,—писал Ильич А. Шмиду,—что мы все признаем теоретически, а именно, что полное устранение милитаризма может мыслиться и осуществиться только в связи с устранением капитализма“ (Соч., т. XXIX, стр. 315). В письме, написанном в декабре 1916 г. и опубликованном лишь 15 лет спустя в „Ленинском сборнике“, XVII, Ленин пишет по поводу этого: „Вы, может быть, думаете, что я так наивен, что верую, будто „посредством уговаривания“ можно решать такие вопросы, как вопрос о социалистической революции?

Нет. Я хочу только дать *иллюстрацию* и притом только к

одному *частному вопросу:* какое *изменение* должно произойти во всей пропаганде партии, если бы захотели с действительной серьезностью отнестись к вопросу *об отклонении защиты отечества!* Это *только* иллюстрация *только* к частному вопросу— на большее и не претендую" („Ленинский сборник", XVII, стр. 123).

Вопросы диалектического подхода ко всем событиям в этот период также особо занимали Ильича. Он прямо вцепляется во фразу Энгельса в критике проекта Эрфуртской программы: „Подобная политика может лишь, в конце концов, привести партию на ложный путь. На первый план выдвигают общие, абстрактные политические вопросы и таким образом прикрывают ближайшие конкретные вопросы, которые сами собою становятся порядок дня при первых же крупных событиях, при первом критическом кризисе". Выписав этот абзац, Ильич пишет крупными буквами, беря свои слова в двойные скобки: „((абстрактное на первый план, конкретное затушевать!!)) Nota bene! прелесть! главное взято! NB".

„Марксова диалектика требует конкретного анализа каждой особой исторической ситуации"(Соч., т. XIX, стр. 187),—пишет Владимир Ильич в отзыве на брошюру Юниуса. Все брать во всех связях и опосредствованиях особо стремился в этот период Ильич. И к вопросу о демократии, и к вопросу о праве наций на самоопределение подходил он с этой точки зрения.

Осенью 1916 и в начале 1917 гг. Ильич с головой ушел в теоретическую работу. Он старался использовать все время, пока была открыта библиотека: шел туда ровно к 9 часам, сидел там до 12, домой приходил ровно в 12 часов 10 минут (от 12 до 1 часу библиотека не работала), после обеда вновь шел в библиотеку и оставался там до 6 часов. Дома было работать не очень удобно. Хотя комната у нас была светлая, но выходила во двор, где стояла невыносимая вонь, ибо во двор выходила колбасная фабрика. Только поздно ночью открывали мы окно. По четвергам после обеда, когда библиотека закрывалась, мы уходили на гору, на Цюрихберг. Идя из библиотеки, Ильич обычно покупал две голубые плитки шоколада с каленными орехами по 15 сантимов, после обеда мы забирали этот шоколад и книги и шли на гору. Было у нас там излюбленное место в самой чаще, где не бывало публики, и там, лежа на траве, Ильич усердно читал.

В то время мы наводили сугубую экономию в личной жизни. Ильич всюду усиленно искал заработка—писал об этом Гранату, Горькому, родным, раз даже развивал Марку Тимофеевичу,

мужу Анны Ильиничны, целый фантастический план издания „Педагогической энциклопедии", над которой я буду работать. Я в это время много работала над изучением вопросов педагогики, знакомилась с практической постановкой школ в Цюрихе. Причем, развивая этот фантастический план, Ильич до того увлекся, что писал о том, что важно, чтобы кто-нибудь не перехватил эту идею.

Насчет литературных заработков дело подвигалось медленно, и потому я решила искать работу в Цюрихе. В Цюрихе было бюро эмигрантских касс, во главе которого стоял Феликс Яковлевич Кон. Я стала секретарем бюро и стала помогать Феликсу Яковлевичу в его работе.

Правда, заработок это был полумифический, но дело было нужное, надо было помогать товарищам по подысканию работы, по устройству всяких предприятий и по помощи в лечении. Денег в кассе в то время имелось очень мало, так что больше было проектов, чем реальной помощи. Помню был проект создать санаторию на самоокупаемости; у швейцарцев есть такие санатории: больные занимаются по несколько часов в день огородничеством и садоводством или плетением стульев на открытом воздухе, чем значительно удешевляется их содержание. Процент больных туберкулезом среди эмигрантской публики был очень велик.

Так жили мы в Цюрихе, помаленьку да потихоньку, а ситуация становилась уже гораздо более революционной. Наряду с работой в теоретической области Ильич считал чрезвычайно важным выработку правильной тактической линии. Он считал, что назрел раскол в международном масштабе, что надо порвать со II Интернационалом, с Международным социалистическим бюро, надо навсегда порвать с Каутским и К°, начать силами Циммервальдской левой строить III Интернационал. В России надо не медля рвать с Чхеидзе и Скобелевым, с окистами*, с теми, кто, как Троцкий, не понимает, что сейчас недопустимы никакие примиренчество и объединенчество. Необходимо вести революционную борьбу за социализм и разоблачать самым беспощадным образом оппортунистов, у которых слова расходятся с делом, которые на деле служат буржуазии, предают дело пролетариата. Никогда, кажется, не был так непримиримо настроен Владимир Ильич, как в последние месяцы 1916 и первые месяцы 1917 годов. Он был глубоко уверен в том, что надвигается революция.

---

* Окисты — сторонники ОК (Организационного комитета), избранного Августовским блоком. *Ред.*

ПОСЛЕДНИЕ МЕСЯЦЫ В ЭМИГРАЦИИ

1917 г.

22 января 1917 г. Владимир Ильич выступил на собрании молодежи, организованном в Цюрихском народном доме. Он говорил о революции 1905 года. В Цюрихе в это время было не мало революционно настроенной молодежи из других стран—из Германии, Италии и пр., не хотевших принимать участия в империалистской войне, и Владимир Ильич хотел для этой молодежи осветить как можно полнее опыт революционной борьбы рабочих, показать значение Московского восстания; он считал революцию 1905 г. прологом грядущей европейской революции. „Несомненно,—говорил он,—что эта грядущая революция может быть только пролетарской революцией и притом в еще более глубоком значении этого слова: пролетарской, социалистической и по своему содержанию. Эта грядущая революция покажет еще в большей мере, с одной стороны, что только суровые бои, именно гражданские войны, могут освободить человечество от ига капитала, а с другой стороны, что только сознательные в классовом отношении пролетарии могут выступить и выступят в качестве вождей огромного большинства эксплуатируемых". (там же, стр. 357). Что таковы перспективы, Ильич ни минуты не сомневался. Но как скоро придет эта грядущая революция—знать этого он, конечно, не мог. „Мы, старики, может быть, не доживем до решающих битв этой грядущей революции" (там же),—с затаенной грустью сказал он в заключительной фразе. И все же только об этой грядущей революции и думал Ильич, для нее работал.

ФЕВРАЛЬСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ

ОТЪЕЗД В РОССИЮ

Однажды, когда Ильич уже собрался после обеда уходить в библиотеку, а я кончила убирать посуду, пришел Бронский со словами: „Вы ничего не знаете?! В России революция!“—и он рассказал нам, что было в вышедших экстренным выпуском телеграммах. Когда ушел Бронский, мы пошли к озеру, там на берегу под навесом вывешивались все газеты тотчас по выходе.

Перечитали телеграммы несколько раз. В России действительно была революция. Усиленно заработала мысль Ильича. Не помню уж, как прошли конец дня и ночь. На другой день получились вторые правительственные телеграммы о Февральской революции, и Ильич пишет уже Коллонтай в Стокгольм: *„Ни за что* снова по типу II Интернационала! *Ни за что* с Каутским! Непременно *более революционная* программа и тактика“. И далее: *„...попрежнему* революционная пропаганда, агитация и борьба с целью *международной* пролетарской революции и завоевания власти „советами рабочих депутатов“ (а не кадетскими жуликами)“ (Соч., т. XX, стр. 5—6).

Линию Ильич сразу брал четкую, непримиримую, но размаха революции он еще не ощутил, он еще мерил на размах революции 1905 г., говоря, что важнейшей задачей в данный момент является это соединение легальной работы с нелегальной.

На другой день, в ответ на телеграмму Коллонтай о необходимости директив, он уже пишет иначе, конкретнее, он уже не говорит о завоевании власти Советами рабочих депутатов в перспективе, а говорит уже о конкретной подготовке к завоеванию власти, о вооружении масс, о борьбе за хлеб, мир и свободу. „Вширь! Новые слои поднять! Новую инициативу будить, новые организации во всех слоях и им *доказать*, что *мир* даст лишь вооруженный совет рабочих депутатов, если он возьмет власть“ (там же, стр. 8). Вместе с Зиновьевым засел Ильич за составление резолюции о Февральской революции.

С первых же минут, как только пришла весть о Февральской революции, Ильич стал рваться в Россию.

Англия и Франция ни за что бы не пропустили в Россию большевиков. Для Ильича это было ясно. „Мы боимся,—писал он Коллонтай,—что выехать из проклятой Швейцарии не скоро удастся“ (там же, стр. 8). И, рассчитывая на это, он в письмах от 16 и 17 марта к Коллонтай уславливается о том, как лучше наладить сношения с Питером.

Надо ехать нелегально, легальных путей нет. Но как? Сон пропал у Ильича с того момента, когда пришли вести о революции, и вот по ночам строились самые невероятные планы. Можно перелететь на аэроплане. Но об этом можно было думать только в ночном полубреду. Стоило это сказать вслух, как ясно становилась неосуществимость, нереальность этого плана. Надо достать паспорт какого-нибудь иностранца из нейтральной страны, лучше всего шведа: швед вызовет меньше всего подозрений. Паспорт шведа можно достать через шведских товарищей, но мешает незнание языка. Может быть немого? Но легко проговориться. „Заснешь, увидишь во сне меньшевиков и станешь ругаться: сволочи, сволочи! Вот и пропадет вся конспирация“,—смеялась я.

Все же Ильич запросил Ганецкого, нельзя ли перебраться как-нибудь контрабандой через Германию.

В день памяти Парижской коммуны—18 марта—Ильич ездил в Шо-де-Фон—крупный швейцарский рабочий центр. Охотно поехал туда Ильич, там жил Абрамович, молодой товарищ, работал там на заводе, принимал активное участие в швейцарском рабочем движении. О Парижской коммуне, о том, как применить опыт ее к начавшемуся русскому революционному движению, как не повторять ее ошибок—об этом много думал Ильич в последние дни, и потому реферат этот вышел у него очень удачным, и сам он был доволен им. На наших товарищей реферат произвел громадное впечатление, швейцарцам он показался чем-то мало реальным—далеки были даже рабочие швейцарские центры от понимания происходивших в России событий.

19 марта состоялось совещание различных политических групп русских эмигрантов-интернационалистов, проживавших в Швейцарии, о том, как пробраться в Россию. Мартов выдвинул проект—добиться пропуска эмигрантов через Германию в обмен на интернированных в России германских и австрийских пленных. Однако никто на это не шел. Только Ленин ухватился за этот план. Его надо было проводить осторожно. Лучше всего было начать переговоры по инициативе швейцарского правительства. Переговоры со швейцарским правительством поручено было вести

Гримму. Из них ничего не вышло. На посланные в Россию телеграммы ответов не получалось. Ильич мучился. „Какая это пытка для всех нас сидеть здесь в такое время!"—писал он в Стокгольм Ганецкому. Но он уже держал себя в руках.

18 марта стала выходить в Питере „Правда", и Ильич стал, начиная с 20-го числа, писать туда „Письма из далека". Их было пять („Первый этап первой революции", „Новое правительство и пролетариат", „О пролетарской милиции", „Как добиться мира?", „Задачи революционного пролетарского государственного устройства"). Напечатано было только первое письмо в день приезда Ленина в Питер, остальные лежали в редакции, а пятое не было даже послано в „Правду". Начато оно было накануне отъезда в Россию.

В этих письмах отразилось особо ярко, о чем думал Ильич в последнее время перед отъездом. Особо запомнилось то, что говорил тогда Ильич о милиции. Этому вопросу посвящено третье письмо из далека „О пролетарской милиции". Оно было напечатано лишь после смерти Ильича, в 1924 году. В нем излагал Ильич свои мысли о пролетарском государстве. Тот, кто хочет до конца понять книжку Ленина „Государство и революция", непременно должен прочесть это письмо „Из далека". Вся статья эта дышит чрезвычайной конкретностью. Нового типа милиция, состоящая из поголовно вооруженных граждан, из всех взрослых граждан *обоего* пола,—вот о чем писал Ильич в этой статье. Эта милиция, кроме своих военных обязанностей, должна осуществлять правильно и быстро разверстку хлеба и других припасов, осуществлять санитарный надзор, следить за тем, чтобы всякая семья имела хлеб, чтобы всякий ребенок имел бутылку хорошего молока и чтобы ни один взрослый в богатой семье не смел взять лишнего молока, пока не обеспечены дети, чтобы дворцы и богатые квартиры не стояли зря, а дали приют бескровным и неимущим. „Кто может осуществить эти меры кроме всенародной милиции с непременным участием женщин наравне с мужчинами?

Такие меры *еще не* социализм. Они касаются разверстки потребления, а не переорганизации производства",—писал Ильич в этой статье. „Не в том дело сейчас, как их теоретически классифицировать. Было бы величайшей ошибкой, если бы мы стали укладывать сложные, насущные, быстро развивающиеся практические задачи революции в прокрустово ложе узко-понятой „теории" вместо того, чтобы видеть в теории прежде всего и больше всего *руководство к действию*" (там же, стр. 38—39). Пролетарская милиция осуществляла бы настоящее *воспитание масс* для

участия *во всех* государственных делах. „Такая милиция втянула бы подростков в политическую жизнь, уча их не только словом, но и делом, *работой*“ (там же, стр. 38). „На очереди дня *организационная* задача, но никоим образом не в шаблонном смысле работы над шаблонными только организациями, а в смысле привлечения невидано-широких масс угнетенных классов в организацию и воплощения самой этой организацией задач военных, обще-государственных и народно-хозяйственных“ (там же, стр. 39). Когда сейчас, много лет спустя, перечитываешь это письмо Ильича, так и встает он весь перед глазами—с одной стороны, необычайная трезвость мысли, ясное сознание необходимости непримиримой вооруженной борьбы, недопустимости в тот момент никаких уступок, никаких колебаний, а с другой—громадное внимание к массовому движению, к организации поновому широчайших масс, внимание к их конкретным нуждам, к немедленному улучшению их положения. Обо всем этом много говорил Ильич зимой 1916—1917 гг. и особенно последнее время перед Февральской революцией.

Переговоры затягивались, Временное правительство явно не желало пропускать в Россию интернационалистов, а вести, приходившие из России, говорили о некоторых колебаниях среди товарищей. Все это заставляло торопиться с отъездом. Ильич послал телеграмму Ганецкому, которую тот получил лишь 25 марта. „У нас непонятная задержка. Меньшевики требуют санкции Совета Рабочих Депутатов. Пошлите немедленно в Финляндию или Петроград кого-нибудь договориться с Чхеидзе насколько это возможно. Желательно мнение Беленина“ (Соч., т. XXIX, стр. 350). Под Беленином подразумевалось Бюро Центрального комитета, 18 марта приехала в Россию Коллонтай, рассказала, как обстоит дело с приездом Ильича, получились письма от Ганецкого. Бюро ЦК дало через Ганецкого директиву: „Ульянов должен тотчас же приехать“ („Ленинский сборник“, XIII, стр. 270). Эту телеграмму Ганецкий перетелеграфировал Ленину. Владимир Ильич настоял на том, чтобы начать переговоры при посредстве Фрица Платтена, швейцарского социалиста-интернационалиста. Платтен заключил точное письменное условие с германским послом в Швейцарии. Главные пункты условия были: 1) Едут все эмигранты без различия взглядов на войну. 2) В вагон, в котором следуют эмигранты, никто не имеет права входить без разрешения Платтена. Никакого контроля ни паспортов, ни багажа. 3) Едущие обязуются агитировать в России за обмен пропущенных эмигрантов на соответствующее число австро-германских интернированных. Ильич стал энергич-

но подготовлять отъезд списываться с Берном, Женевой, с рядом товарищей. Впередовцы, с которыми вел переговоры Ильич, ехать отказались. Приходилось оставлять двоих близких товарищей, Карла и Каспарова, тяжело больных, умиравших в Давосе. Ильич написал им прощальный привет.

Собственно говоря, это была лишь приписка к моему длинному письму. Писала я подробно, кто едет, как собираемся, какие планы. Ильич написал лишь пару слов, но из них видно, как понимал он, что переживают остающиеся товарищи, как им тяжело, и сказал самое важное:

„Дорогой Каспаров! Крепко, крепко жму руку Вам и Карлу, желаю бодрости. Потерпеть надо. Надеюсь, в Питере встретимся и скоро. Еще раз лучшие приветы обоим. Ваш Ленин“ („Ленинский сборник“, XIII, стр. 272).

„Желаю бодрости. Потерпеть надо“... Да, в этом было дело. Встретиться больше не пришлось. И Каспаров и Карл умерли вскоре.

Для Цюрихской газеты „Volksrecht“ Ильич написал „О задачах РСДРП в русской революции“, написал „Прощальное письмо к швейцарским рабочим“, кончавшееся словами: „Да здравствует *начинающаяся* пролетарская революция в Европе!“ (Соч., т. XX, стр. 70). Написал Ильич письмо и к „Товарищам, томящимся в плену“, где рассказывал им о происшедшей революции и о предстоящей борьбе. Нельзя было не написать им. Еще когда мы жили в Берне, начата была и довольно широко поставлена переписка с русскими пленными, томившимися в немецких лагерях. Материальная помощь, конечно, не могла быть очень велика, но мы помогали чем могли, писали им письма, посылали литературу. Завязался ряд очень тесных сношений. После нашего отъезда из Берна работу продолжали Сафаровы. В плен мы посылали нелегальную литературу, переслали брошюру Коллонтай о войне, которая имела громадный успех, ряд листовок и пр.

За несколько месяцев до нашего отъезда в Цюрихе появились двое пленных: один—воронежский крестьянин Михалев, другой—одесский рабочий. Они бежали из немецкого плена, переплыв Боденское озеро. Заявились они в нашу Цюрихскую группу. Ильич много с ними толковал. Особенно много интересного рассказывал про плен Михалев. Он рассказывал, как сначала украинцев-пленных направили в Галицию, как вели среди них украинофильскую агитацию, натравливая против России, потом перебросили его в Германию и использовали как рабочую силу в богатых крестьянских хозяйствах. „Как у них все налажено, ни одна корка даром не пропадает! Вот вернусь к себе

на село—так же хозяйничать буду!"—восклицал Михалев. Был он из староверов, дедушка и бабушка поэтому запретили ему грамоте учиться: печать-де дьявола. В плену уж выучился он грамоте. В плен посылали ему бабка да дедка пшено и сало и немцы с удивлением смотрели, как варил он и ел пшенную кашу. В Цюрихе рассчитывал Михалев поступить в университет народный и все возмущался, что не водится в Цюрихе народных университетов. Его интернировали. Он стал на какие-то земляные работы и все удивлялся на забитость швейцарского рабочего люда. „Иду я,—рассказывал он,—в контору получать деньги за работу, смотрю—стоят рабочие швейцарские и войти в контору не решаются, жмутся к стенке, в окно заглядывают. Какой забитый народ! Я пришел, сразу дверь отворяю, в контору иду, за свой труд деньги брать иду!" Только что выучившийся грамоте крестьянин ЦЧО, толкующий о забитости швейцарского рабочего люда, очень заинтересовал Ильича. Рассказывал еще Михалев, как, когда он был в плену, приезжал туда русский священник. Не захотели его слушать солдаты, кричать стали, ругаться. Подошел один пленный к попу, поцеловал ему руку и говорит: „Уезжайте, батюшка, не место вам тут". Просились Михалев и его товарищи, чтобы мы взяли их с собой в Россию, да не знали мы, что с нами будет,—могли ведь всех перearестовать. После нашего отъезда Михалев перебрался во Францию, сначала в Париже жил, потом работал где-то на тракторном заводе, потом где-то на востоке Франции, где было много польских эмигрантов. В 1918 г. (или в 1919 г., не помню точно) вернулся Михалев в Россию. Ильич с ним видался. Рассказывал Михалев, как в Париже его и еще нескольких бежавших из немецкого плена солдат вызвали в русское посольство и предлагали подписать воззвание о необходимости продолжать войну до победного конца. И хоть говорили с солдатами важные чиновники, украшенные орденами, но не подписали солдаты воззвания. „Встал я и сказал, что войну кончать надо, и пошел. Потихоньку вышли и другие". Рассказывал Михалев, какую агитацию против войны развернула в том французском городке, где он жил, молодежь. Сам Михалев уж не походил ни в малейшей мере на воронежского крестьянина: на голове—французская кепка, ноги обмотаны обмотками защитного цвета, лицо тщательно выбрито. Ильич устроил Михалева на работу где-то на заводе. Но все мысли Михалева неслись к родному селу. Село его переходило из рук в руки, от красных к белым и обратно, середина села вся была спалена белыми, но дом их уцелел, и бабка и дедка живы были. Михалев заходил ко мне в Главполит-

просвет и рассказывал про все это и про себя, что собирается домой. „Что ж не едете?“—спрашиваю. Жду, борода когда отрастет, а то увидят меня бритого бабка с дедкой, помрут от горя!“ В этом году я получила письмо от Михалева. Он работает где-то в Средней Азии на железной дороге, пишет, что в дни памяти Ильича рассказывал он, как видел в 1917 г. Ильича в Цюрихе, о нашей жизни за границей рассказывал в рабочем клубе. Слушали его с интересом все, а потом усомнились, могло ли это быть, и просил Михалев меня подтвердить, что был он у Ильича в Цюрихе.

Михалев был куском живой жизни. Таким же куском были и письма пленных, присылаемые в нашу комиссию помощи пленным.

Не мог уехать Ильич в Россию, не написав им о том, что больше всего волновало его в эту минуту.

Когда пришло письмо из Берна, что переговоры Платтена пришли к благополучному концу, что надо только подписать протокол и можно уже двигаться в Россию, Ильич моментально сорвался: „Поедем с первым поездом“. До поезда оставалось два часа. За два часа надо было ликвидировать все наше „хозяйство“, расплатиться с хозяйкой, отнести книги в библиотеку, уложиться и пр. „Поезжай один, я приеду завтра“. Но Ильич настаивал: „Нет, едем вместе“. В течение двух часов все было сделано: уложены книги, уничтожены письма, отобрана необходимая одежда, вещи, ликвидированы все дела. Мы уехали с первым поездом в Берн.

В бернский Народный дом стали съезжаться едущие в Россию товарищи. Ехали мы, Зиновьевы, Усиевичи, Инесса Арманд, Сафаровы, Ольга Равич, Абрамович из Шо-де-Фон, Гребельская, Харитонов, Линде, Розенблюм, Бойцов, Миха Цхакая, Мариенгофы, Сокольников. Под видом россиянина ехал Радек. Всего ехало 30 человек, если не считать четырехлетнего сынишки бундовки, ехавшей с нами,—кудрявого Роберта.

Сопровождал нас Фриц Платтен.

Оборонцы подняли тогда невероятный вой по поводу того, что большевики едут через Германию. Конечно, германское правительство, давая пропуск, исходило из тех соображений, что революция—величайшее несчастье для страны, и считало, что, пропуская эмигрантов-интернационалистов на родину, они помогут развертыванию революции в России. Большевики же считали своей обязанностью развернуть в России революционную агитацию, победоносную пролетарскую революцию ставили они целью своей деятельности. Их очень мало интересовало,

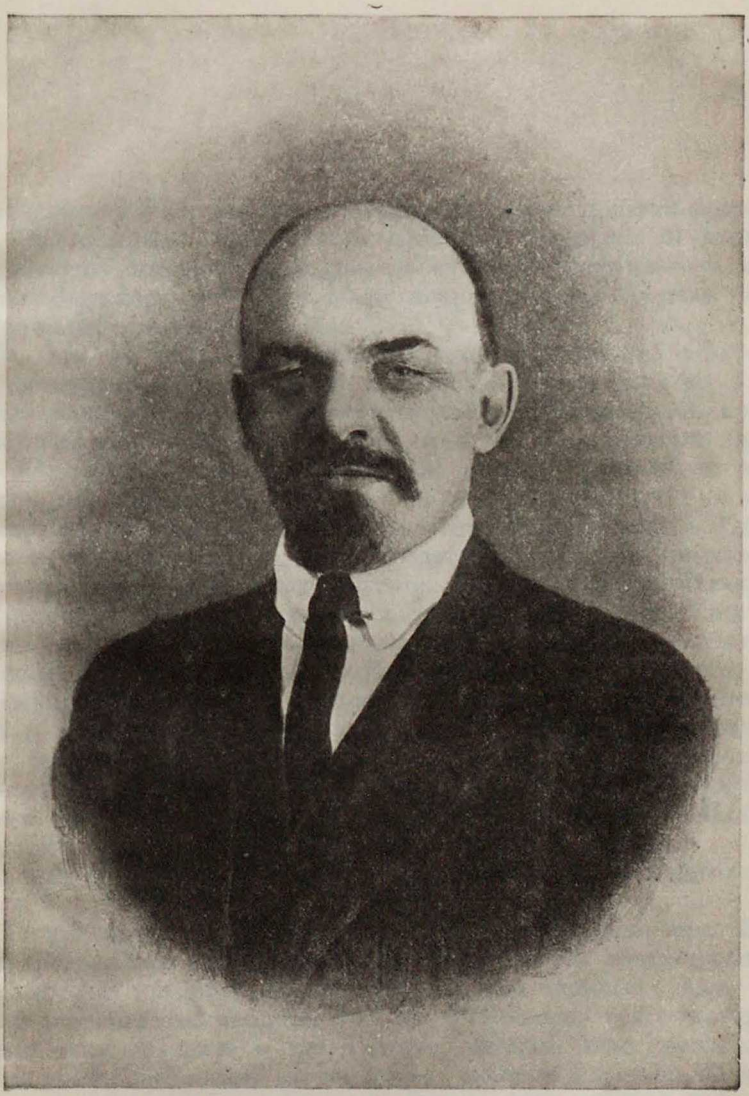
что думает буржуазное германское правительство. Они знали, что оборонцы будут обливать их грязью, но что массы в конце концов пойдут за ними. Тогда, 27 марта, рискнули ехать лишь большевики, а месяц спустя тем же путем через Германию проехало свыше 200 эмигрантов, в том числе Л. Мартов и другие меньшевики.

Ни вещей у нас при посадке не спрашивали, ни паспортов. Ильич весь ушел в себя, мыслью был уже в России. Дорогой говорили больше о мелочах. По вагону раздавался веселый голосок Роберта, который особой симпатией воспылал к Сокольникову и не желал разговаривать с женским полом. Немцы старались показать, что у них всего много, повар подавал исключительно сытные обеды, к которым наша эмигрантская братия не очень-то была привычна. Мы смотрели в окна вагона, поражало полное отсутствие взрослых мужчин: одни женщины, подростки и дети были видны на станциях, на полях, на улицах города. Эта картина вспоминалась потом часто в первые дни приезда в Питер, когда поражало обилие солдат, заполнявших все трамваи.

На берлинском вокзале наш поезд поставили на запасный путь. Около Берлина в особое купе сели какие-то немецкие социал-демократы. Никто из наших с ними не говорил, только Роберт, заглянул к ним в купе и стал допрашивать их на французском языке: „Кондуктор, он что делает?“ Не знаю, ответили ли немцы Роберту, что делает кондуктор, но своих вопросов им так и не удалось предложить большевикам. 31 марта мы уже въехали в Швецию. В Стокгольме нас встретили шведские социал-демократические депутаты—Линдхаген, Карльсон, Штрем, Туре Нерман и др. В зале было вывешено красное знамя, устроено собрание. Как-то плохо помню Стокгольм, мысли были уже в России. Фрица Платтена и Радека Временное правительство в Россию не впустило. Оно не посмело сделать того же в отношении большевиков. На финских вейках переехали мы из Швеции в Финляндию. Было уже все свое, милое—плохонькие вагоны третьего класса, русские солдаты. Ужасно хорошо было. Немного погодя, Роберт уже очутился на руках какого-то пожилого солдата, обнял его ручонкой за шею, что-то лопотал по-французски и ел творожную пасху, которой кормил его солдат. Наши прильнули к окнам. На перронах станций, мимо которых проезжали, стояли толпой солдаты. Усиевич высунулся в окно. „Да здравствует мировая революция!“—крикнул он. Недоуменно посмотрели на него солдаты. Мимо нас прошел несколько раз бледный поручик, и когда мы с Ильичом перешли в соседний пустой вагон, подсел к нему и заговорил с ним. Поручик был оборон-

цем, Ильич защищал свою точку зрения—был тоже ужасно бледен. А в вагон мало-помалу набирались солдаты. Скоро набился полный вагон. Солдаты становились на лавки, чтобы лучше слышать и видеть того, кто так понятно говорит против грабительской войны. И с каждой минутой росло их внимание, напряженнее делались их лица.

В Белоострове нас встретили Мария Ильинишна, Шляпников, Сталь и другие товарищи. Были работницы. Сталь все убеждала меня сказать им несколько приветственных слов, но у меня пропали все слова, я ничего не могла сказать. Товарищи сели с нами. Ильич спрашивал, арестуют ли нас по приезде. Товарищи улыбались. Скоро мы приехали в Питер.



В. И. Ленин. 1916 г.

В ПИТЕРЕ

Питерские массы, рабочие, солдаты, матросы, пришли встречать своего вождя. Было много близких товарищей. В числе их с красной широкой перевязью через плечо Чугурин—ученик школы Лонжюмо; лицо его было мокро от слез. Кругом народное море, стихия.

Тот, кто не пережил революции, не представляет себе ее величественной, торжественной красоты. Красные знамена, почетный караул из кронштадтских моряков, рефлекторы Петропавловской крепости, освещающие путь от Финляндского вокзала к дому Кшесинской, броневики, цепь из рабочих и работниц, охраняющих путь.

Встречать на Финляндский вокзал приехали Чхеидзе и Скобелев в качестве официальных представителей Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов. Товарищи повели Ильича в царские покои, где находились Чхеидзе и Скобелев. Когда Ильич вышел на перрон, к нему подошел капитан и вытянувшись что-то отрапортовал. Ильич, смутившись немного от неожиданности, взял под козырек. На перроне стоял почетный караул, мимо которого провели Ильича и всю нашу эмигрантскую братию, потом нас посадили в автомобили, а Ильича поставили на броневик и повезли к дому Кшесинской. „Да здравствует социалистическая мировая революция!“—бросал Ильич в окружавшую многотысячную толпу.

Начало этой революции уже ощущал Ильич всем существом своим.

Нас привезли в дом Кшесинской, где помещались тогда ЦК и Петроградский комитет. Наверху был устроен товарищеский чай, хотели питерцы организовать приветственные речи, но Ильич перевел разговор на то, что его больше всего интересовало, стал говорить о той тактике, которой надо держаться. Около дома Кшесинской стояли толпы рабочих и солдат. Ильичу пришлось выступать с балкона. Впечатления от встречи, от этой поднятой революционной стихии заслоняли все.

Потом мы поехали домой, к нашим, к Анне Ильинишне

и Марку Тимофеевичу. Мария Ильинишна жила с ними. Жили они на Петроградской стороне, на Широкой улице. Нам отвели особую комнату. Мальчонка, который рос у Анны Ильинишны, Гора, по случаю нашего приезда над обеими нашими кроватями вывесил лозунг: „Пролетарии всех стран, соединяйтесь!“ Мы почти не говорили с Ильичем в ту ночь—не было ведь слов, чтобы выразить пережитое, но и без слов было все понятно.

Время было такое, что нельзя было терять ни минуты. Не успел Ильич встать, а уж приехали за ним товарищи, чтобы ехать на совещание большевиков—членов Всероссийской конференции Советов рабочих и солдатских депутатов. Дело происходило в Таврическом дворце, где-то наверху. Ленин в десятке тезисов изложил свой взгляд на то, что надо делать сейчас. Он дал в этих тезисах оценку положения, ясно, четко наметил те цели, к которым надо стремиться, и пути, по которым надо итти, чтобы добиться этих целей. Публика наша как-то растерялась в первую минуту. Многим показалось, что очень уж резко ставит вопрос Ильич, что говорить о социалистической революции еще рано.

Внизу шло заседание меньшевиков. Оттуда пришел товарищ и стал настаивать на том, чтобы Ильич сделал тот же доклад на общем собрании и меньшевистских, и большевистских делегатов. Собрание большевиков постановило, чтобы Ильич повторил на общем собрании всех социал-демократов свой доклад. Ильич это сделал. Собрание происходило внизу, в большом зале Таврического дворца. Помню, первое, что бросилось в глаза, это—сидевший в президиуме Гольденберг (Мешковский). В революцию 1905 г. это был твердый большевик, один из самых близких товарищей по борьбе. Теперь он пошел следом за Плехановым, стал оборонцем. Ленин говорил около двух часов. Против него выступил Гольденберг. Выступил чрезвычайно резко, говорил о том, что Лениным водружено знамя гражданской войны в среде революционной демократии. Видно стало, как далеко разошлись дороги. Запомнилась мне еще речь Коллонтай, горячо выступавшей в защиту тезисов Ленина.

Плеханов в своей газете „Единство“ назвал тезисы Ленина „бредом“.

Тезисы Ленина были через три дня, 7 апреля, напечатаны в „Правде“. На другой день в „Правде“ же появилась статья Каменева „Наши разногласия“, которая отгораживалась от этих тезисов. В статье Каменева указывалось, что тезисы Ленина—его личное мнение, что ни „Правда“, ни Бюро ЦК их не раз-

деляют. Делегаты-большевики того совещания, на котором Ленин выступил с своими тезисами, приняли-де не эти тезисы, а тезисы Бюро Центрального комитета. Каменев заявлял, что „Правда" остается на старых позициях.

Внутри большевистской организации началась борьба. Она длилась недолго. Через неделю состоялась Общегородская конференция большевиков г. Петрограда, которая дала победу точке зрения Ильича. Конференция продолжалась восемь дней (с 14 по 22 апреля); за эти дни произошел ряд крупных событий, которые показали, насколько прав был Ленин.

7 апреля—в день появления в печати тезисов Ленина—Исполнительный комитет Петроградского Совета голосовал еще за „Заем свободы".

В буржуазных газетах и в газетах оборонческих началась бешеная травля Ленина и большевиков. Никто не считался с заявлением Каменева, все знали, что внутри большевистской организации верх возьмет точка зрения Ленина. Травля Ленина способствовала быстрой популяризации тезисов. Ленин называл происходящую войну империалистической, грабительской, все видели—он всерьез за мир. Это волновало матросов, солдат, волновало тех, для кого вопрос о войне был вопросом жизни и смерти. 10 апреля Ленин выступал в Измайловском полку, 15-го стала выходить „Солдатская Правда", а 16-го солдаты и матросы Петрограда уже устроили демонстрацию против травли Ленина и большевиков.

18 апреля (1 мая) состоялись грандиозные первомайские демонстрации по всей России, никогда раньше невиданные.

И 18-го же апреля министр иностранных дел Милюков издал ноту от имени Временного правительства, где говорилось, что оно поведет войну до победного конца и что оно считает нужным выполнить все обязательства перед союзниками. Что же сделали большевики? Большевики объяснили в печати, какие это обязательства. Они указали, что Временное правительство обещает выполнить те обязательства, которые дало правительство Николая II и вся царская шайка. Они указали, перед кем эти обязательства. Это были обязательства перед буржуазией.

И вот, когда это стало ясно массам, они вышли на улицу. 21 апреля массы устроили демонстрацию на Невском. На Невском же устроили демонстрацию и сторонники Временного правительства.

Эти события сплотили большевиков. Резолюции петроградской большевистской организации были приняты в духе Ленина.

21 и 22 апреля ЦК вынес резолюции, которые ясно указы-

вают на необходимость разоблачить Временное правительство, осуждали соглашательскую тактику Петроградского Совета, призывали к перевыбору рабочих и солдатских депутатов, призывали укреплять Советы, звали вести широкую разъяснительную работу и в то же время указывали на несвоевременность попыток немедленного свержения Временного правительства.

К моменту открытия Всероссийской конференции (24 апреля), три недели спустя после оглашения Лениным своих тезисов, уже достигнуто было единство в среде большевиков.

По приезде в Питер я мало стала видеть Ильича—он работал в ЦК, работал в „Правде", ездил по собраниям. Я пошла работать в секретариат ЦК в доме Кшесинской, но в секретариате работа была не похожа на заграничную секретарскую работу и на секретарскую работу 1905—1907 гг., когда приходилось вести довольно большую самостоятельную работу по директивам Ильича. Секретарем была Стасова, у нее были технические работники, я толковала с приходившими работниками, но местную работу я знала тогда еще мало. Часто приходили цекисты, чаще всех Свердлов. Настоящей осведомленности у меня не было. Меня очень тяготило отсутствие у меня определенных функций. Зато жадно впитывала я в себя окружающую жизнь. Улицы тогда представляли интересное зрелище: везде собирались кучками, везде в этих кучках шли горячие споры о текущем моменте, о всех событиях. Подойдешь к толпе и слушаешь. Раз я с Широкой до дома Кшесинской три часа шла, так занятны были эти уличные митингования. Против нашего дома был какой-то двор—вот откроешь ночью окно и слушаешь горячие споры. Сидит солдат, около него постоянно кто-нибудь—кухарки, горничные соседних домов, какая-то молодежь. В час ночи доносятся отдельные слова: большевики, меньшевики... в три часа: Милюков, большевики... в пять часов—все то же, политика, митингование. Белые ночи питерские теперь у меня всегда связываются в воспоминании с этими ночными митингованиями.

В секретариате ЦК приходилось видеть много народу, там же в доме Кшесинской помещался ПК, военная организация, „Солдатская Правда". Ходила я иногда на заседания ПК, узнавала поближе публику, следила за работой Петроградского комитета. Интересовали меня также очень подростки, рабочая молодежь. Ребят захватывало движение. Среди них были сторонники разных направлений—и большевиков, и меньшевиков, и эсеров, и анархистов. Организация охватывала до 50 тысяч молодежи, но первое время движение было достаточно беспри-

зорное. Я повела среди них кое-какую работу. Прямой контраст этой рабочей молодежи представляли собой учащиеся старших групп средней школы. Часто толпой они подходили к дому Кшесинской и выкрикивали разные ругательства по адресу большевиков. Видно было, что их здорово обрабатывают.

Вскоре после приезда—точно не помню числа—я была на учительском съезде. Народу было там уйма, учительство было целиком под влиянием эсеров. На съезде выступали видные оборонцы. В тот день, когда я там была, выступал утром до моего прихода еще Алексинский. Социал-демократов—большевиков, меньшевиков-интернационалистов—было всего человек 15—20; они собрались в особой небольшой комнатушке, обменивались разными соображениями по поводу того, за какую школу надо будет бороться. Многие из присутствовавших на этом собрании работали потом в районных думах. Учительская масса была охвачена шовинистским угаром.

18 апреля (1 мая) Ильич принимал участие в первомайской демонстрации. Он выступал на Охте и на Марсовом поле. Я не слышала его выступлений—лежала в этот день, не могла даже подняться с постели. Когда Ильич вернулся, меня поразило его взволнованное лицо. Живучи за границей, мы обычно ходили на маевки, но одно дело маевка с разрешения полиции, другое дело—маевка революционного народа, народа, победившего царизм.

21 апреля я должна была встретиться с Ильичем у Данского. Мне был дан адрес: Старо-Невский, 3, и я прошла пешком весь Невский. Из-за Невской заставы шла большая рабочая демонстрация. Ее приветствовала рабочая публика, заполнявшая тротуары. „Идем!"—кричала молодая работница другой работнице, стоявшей на тротуаре.—„Идем, всю ночь будем ходить!" Навстречу рабочей демонстрации двигалась другая толпа в котелках и шляпках; их приветствовали котелки и шляпки с тротуара. Ближе к Невской заставе преобладали рабочие, ближе к Морской, около Полицейского моста, было засилье котелков. Среди этой толпы из уст в уста передавался рассказ о том, как Ленин при помощи германского золота подкупил рабочих, которые теперь все за него. „Надо бить Ленина!"—кричала какая-то по-модному одетая девица. „Перебить бы всех этих мерзавцев",—кипятился какой-то котелок. Класс против класса! Рабочий класс был за Ленина.

С 24 по 29 апреля состоялась Всероссийская апрельская конференция. Были на ней 151 делегат, был на ней выбран новый ЦК, вопросы на ней обсуждались чрезвычайно важ-

ные—о текущем моменте, о войне, о подготовке III Интернационала, о национальном вопросе, об аграрном вопросе, о партийной программе.

Мне особенно запомнилась речь Ильича о текущем моменте. В этой речи особенно как-то ярко выступило отношение Ильича к массам, то, как внимательно вглядывался он в то, чем массы живут, что переживают. „Нет никакого сомнения, что пролетариат и полупролетариат не заинтересован в войне, как класс. Они идут под влиянием традиций и обмана. У них нет еще политического опыта. Отсюда наша задача—длительное разъяснение. Мы не делаем ни малейших принципиальных уступок, но к ним мы не можем подходить как к социал-шовинистам. Эти элементы населения никогда социалистическими не были, никакого понятия о социализме не имеют, они только просыпаются к политической жизни. Но их сознание растет и ширится с необыкновенной быстротой. К ним надо уметь подойти с разъяснением, и это является самой трудной задачей, в особенности, для партии, которая вчера еще находилась в подполье“ (там же, стр. 245—246).

„Многим, в том числе и мне лично,—говорил в этой речи Ильич,—приходилось выступать, особенно перед солдатами, и я думаю, что если разъяснить все с классовой точки зрения, то для них всего более неясно в нашей позиции, как именно мы хотим кончить войну, как мы считаем возможным ее кончить. В широких массах есть тьма недоразумений, полного непонимания нашей позиции, поэтому мы должны быть здесь наиболее популярными“ (там же, стр. 243).

„...Выступая перед массами, надо давать им конкретные ответы“ (там же, стр. 247).

Не только среди пролетариата, но и среди широких слоев мелкой буржуазии, надо уметь вести разъяснительную работу,—говорил Ильич.

Говоря о контроле, Владимир Ильич сказал: „Для того, чтобы контролировать, нужно иметь власть. Если это непонятно широкой массе мелко-буржуазного блока, надо иметь терпение разъяснить ей это, но ни в коем случае не говорить ей неправду“ (там же, стр. 242). Никакой демагогии не допускал Ильич, и это чувствовали солдаты, чувствовали крестьяне, которые с ним говорили. Но доверие не завоевывается смаху. В такое горячее время Ильич сохранял обычную трезвость мысли: „Мы сейчас в меньшинстве, массы нам пока не верят. Мы сумеем ждать: они будут переходить на нашу сторону, когда правительство им себя покажет“ (там же, стр. 243). Не

мало было у Ильича разговоров с солдатами и крестьянами, не мало видел он уже в то время проявлений доверия, но он не строил себе никаких иллюзий: „Нет более опасной ошибки для пролетарской партии, как строить свою тактику на субъективных желаниях там, где нужна организованность. Говорить, что за нас большинство—нельзя; в данном случае нужно недоверие, недоверие и недоверие. Базировать на этом пролетарскую тактику, значит ее убить“ (там же, стр. 246).

В конце речи о текущем моменте Ильич говорил: „Русская революция создала Советы. Ни в одной буржуазной стране мира таких государственных учреждений нет и быть не может, и ни одна социалистическая революция не может оперировать ни с какой властью, кроме этой. Советы Рабочих и Солдатских Депутатов должны взять власть не для создания обычной буржуазной республики или непосредственного перехода к социализму. Этого быть не может. Для чего же? Они должны взять власть для того, чтобы сделать первые конкретные шаги к этому переходу, которые можно и должно делать. Страх есть главный враг в этом отношении. Массам надо проповедывать, что эти шаги надо делать сейчас, иначе власть Советов Рабочих и Солдатских Депутатов будет бессмысленна и ничего не даст народу“ (там же, стр. 250).

И далее Ильич говорил о непосредственных задачах, которые стоят перед Советами. „Надо отменить частную собственность на землю. Это та задача, которая перед нами стоит, потому что большинство народа за это стоит. Для этого нам нужны Советы. Эту меру провести со старым государственным чиновничеством невозможно“ (там же, стр. 250). Закончил свою речь Ильич примером, показывающим, что значит завоевание власти на местах. „Я кончу ссылкой на одну речь, которая произвела на меня наибольшее впечатление. Один углекоп говорил замечательную речь, в которой он, не употребив ни одного книжного слова, рассказывал, как они делали революцию. У них вопрос стоял не о том, будет ли у них президент, но его интересовал вопрос:—когда они взяли копи, надо было охранять канаты для того, чтобы не останавливалось производство. Затем вопрос стал о хлебе, которого у них не было, и они также условились относительно его добывания. Вот это настоящая программа революции, а не из книжки вычитанная. Вот это настоящее завоевание власти на месте“ (там же, стр. 251).

Зинаида Павловна Кржижановская вспомнила как-то, как я ей рассказывала про эту речь углекопа, и говорила: „Теперь им главное надо своих инженеров. Владимир Ильич считает,

что замечательно было бы хорошо, если бы Глеб туда поехал".

На конференции встретили мы много знакомой публики. Запомнилась, между прочим, встреча с Присягиным, учеником школы в Лонжюмо, запомнилось, как слушал он речь Ильича и как светились его глаза. Теперь Присягина нет уже в живых. В 1918 г. он расстрелян белыми на Урале.

В 1917 г., в начале мая, был составлен Ильичем набросок изменений в партийной программе. Империалистская война и революция произвели крупнейшие изменения во всем укладе, требовали целого ряда новых оценок, новых подходов—прежняя программа страшно устарела.

Вся наметка новой программы-минимум дышала стремлением улучшить, поднять жизненный уровень масс, дать простор их самодеятельности.

Меня все больше тяготила моя работа в секретариате, хотелось пойти на непосредственную массовую работу, хотелось также чаще видеть Ильича, за которого охватывала все бо́льшая и бо́льшая тревога. Его травили все сильнее и сильнее. Идешь по Петербургской стороне и слышишь, как какие-то домохозяйки толкуют: „И что с этим Лениным, приехавшим из Германии, делать? в колодези его что ли утопить?" Конечно, ясно было, откуда идут все эти разговоры о подкупе, о предательстве, но не гора́зд их было весело́ слушать. Одно дело, когда говорят буржуи, другое дело, когда это говорят массы. Я написала для „Солдатской Правды" о том, кто такой Ленин, озаглавила „Страничка из истории партии". Владимир Ильич просмотрел рукопись, внес в нее поправки, и она была напечатана в № 21 „Солдатской Правды" от 13 мая 1917 года.

Когда Владимир Ильич возвращался домой усталый, у меня язык не поворачивался спрашивать его о делах. Но и ему, и мне хотелось поговорить так, как привыкли, во время прогулки. И мы иногда, редко впрочем, ходили гулять по более глухим улицам Петроградской стороны. Раз, помню, ходили на такую прогулку вместе с тт. Шаумяном и Енукидзе. Шаумян тогда передал Ильичу красные значки, которые его сыновья заказали ему передать Ленину. Ильич улыбался.

Тов. Шаумяна, „Степана", пользовавшегося громадным влиянием среди бакинского пролетариата, мы знали уже давно. Сразу же после II съезда он примкнул к большевикам, был и на Стокгольмском съезде и на Лондонском. На Стокгольмском съезде он входил в мандатную комиссию. По величине этот съезд был несравним ни со вторым, ни с третьим съездом. На тех съездах знали, что каждый делегат представляет собой,

тут же было много совсем малоизвестных делегатов. Шла в мандатной комиссии из-за каждого делегата острая фракционная борьба. Помню, как маялся в этой комиссии Шаумян. На Лондонском съезде я не была. Потом, во вторую эмиграцию, мы усиленно переписывались с бакинцами. Помню, как запрашивали они меня о причинах раскола с впередовцами, и как подробно приходилось отвечать, описывать как, из-за чего шли споры.

В 1913 г. у Ильича оживилась переписка с Шаумяном по национальному вопросу. Очень интересно письмо, в котором в мае 1914 г. Ильич развивает мысль о том, что надо бы, чтобы марксисты всех или очень многих национальностей составили для внесения в Государственную думу проект закона о равноправии наций и о защите прав национальных меньшинств. В этот проект, по мысли Ильича, должна была войти полная расшифровка того, что входит в наше понимание равноправия, в том числе и вопрос об языке и вопрос о школе, о культуре вообще, но взятые во всех связях и опосредствованиях. „Мне сдается,—писал Ильич,—этим путем можно бы популярно разъяснить глупость культурно-национальной автономии и *убить* сторонников этой глупости окончательно“ (Соч., т. XXIX, стр. 108). Ильич даже набросал такой проект.

И в 1917 г. Ильич рад был повидать Степана и поговорить с ним вплотную обо всех вопросах, с такой остротой вставших в это время перед большевиками.

Осталось в памяти выступление Ильича на I всероссийском съезде Советов рабочих и солдатских депутатов. Съезд происходил в кадетском корпусе на Первой линии Васильевского острова. Шли по длинным коридорам, в классах было устроено общежитие для делегатов. В зале, полном народу, большевики сидели сзади небольшой группой. Речи Ленина аплодировали только большевики, но было несомненно, что она произвела сильное впечатление. Кто-то потом рассказывал, что Керенский после этой речи пролежал без сознания три часа. Не знаю уже, насколько это соответствовало истине.

В июне проходили выборы в районные думы. Я ходила смотреть, как проходит предвыборная кампания на Васильевском острове. Улицы были залиты рабочим людом. Преобладали рабочие Трубочного завода, было много работниц с фабрики Лаферм. Фабрика Лаферм голосовала за эсеров. Всюду шли горячие споры, обсуждали не кандидатов, не лиц, а деятельность партий, за что та или другая партия стоит. Вспоминались выборы по районам, проходившие в Париже в нашу бытность там, поражало там отсутствие политических оценок и масса

личных каких-то счетов, привносимых в выборы. Тут была совершенно обратная картина. Бросалось еще в глаза, как выросли массы по сравнению с 1905—1907 годами. Видно было, что все читают газеты разных направлений. В одной группе толковали, возможен ли у нас бонапартизм. Среди публики шмыгала какая-то шпикообразная фигура небольшого роста, особенно как-то неуместная среди этой толпы рабочих, выросших так за последние годы.

Революционное настроение масс росло.

Большевиками на 10 июня назначена была демонстрация. Съезд Советов запретил ее, постановив, что три дня не должно быть никаких демонстраций. Ильич настоял тогда, чтобы назначенная ЦК демонстрация была отменена; он считал, что коли признаем власть Советов, то нельзя не подчиняться постановлениям съезда и тем дать оружие в руки противников. Но, уступая настроению масс, съезд Советов на 18 июня назначил собственную демонстрацию. Он не ожидал того, что получилось. В демонстрации принимало участие около 400 тысяч рабочих и солдат. 90 процентов знамен и плакатов были с лозунгами ЦК большевиков: „Вся власть Советам!“, „Долой 10 министров-капиталистов!“ За доверие Временному правительству было только три плаката (один принадлежал Бунду, один—плехановскому „Единству“, один казачьему полку). Ильич охарактеризовал 18 июня как один из дней перелома. „Демонстрация 18 июня,—писал он,—стала демонстрацией сил и политики революционного пролетариата, указывающего направление революции, указывающего выход из тупика. В этом гигантское историческое значение воскресной демонстрации, в этом ее отличие принципиальное от демонстраций в день похорон жертв революции и в день 1 мая. Тогда это было поголовное *чествование* первой победы революции и ее героев, взгляд, брошенный народом назад на пройденный им наиболее быстро и наиболее успешно первый этап к свободе. Первое мая было *праздником* пожеланий и надежд, связанных с историей всемирного рабочего движения, с его идеалом мира и социализма.

Ни та, ни другая демонстрация не задавались целью указать *направление* дальнейшего движения революции и не могли указывать его. Ни та, ни другая не ставили перед массами и от имени масс конкретных, определенных, злободневных вопросов о том, куда и как должна пойти революция.

В этом смысле 18 июня было первой политической демонстрацией *действия*, разъяснением не в книжке или в газете, а на улице, не через вождей, а через массы, разъяснением того,

Демонстрация 18 июня 1917 г. в Петрограде.

как разные классы действуют, хотят и будут действовать, чтобы вести революцию дальше. Буржуазия попряталась...“ (там же, стр. 548—549).

Прошли выборы в районные думы. Я прошла по Выборгскому району. По Выборгскому району прошли только большевики и небольшое число меньшевиков-интернационалистов, которые не стали работать. В районной управе работали исключительно большевики: Л. М. Михайлов, Кучменко, Чугурин, еще один товарищ и я. Наша управа помещалась сначала в одном помещении с партийным районным комитетом, секретарем которого была Женя Егорова, там же работал т. Лацис. Между работой нашей управы и партийной организацией была самая тесная связь. Работа в Выборгском районе дала мне чрезвычайно много—это была хорошая школа партийной и советской работы. Мне, прожившей долгие годы в эмиграции, не решавшейся выступать даже на небольших собраниях, никогда не написавшей до тех пор ни строки в „Правду“, такая школа была необходима.

Выборгский район имел крепкий большевистский актив. Большевики пользовались доверием рабочих масс. Вскоре после моего вступления в работу мне пришлось принимать работу выборгского отделения комиссии помощи солдаткам от старой моей знакомой, с которой мы когда-то учились в одной гимназии, потом преподавали вместе в воскресной школе и которая в первые годы развития рабочего движения была социал-демократкой—от Инны Александровны Герд, жены Струве. Теперь мы стояли на совершенно различных политических точках зрения. Передавая мне дела, она говорила: „Нам солдатки не верят; что бы мы ни делали, они недовольны; они верят только большевикам. Ну, что ж, берите дело в свои руки, может лучше наладите!“ Мы не боялись браться за дело, считали, что вместе с рабочими, опираясь на их самодеятельность, сумеем развернуть широкую работу.

Рабочие массы проявили громадную активность не только в политической области, но и в области культурной. Очень быстро у нас образовался Совет народного образования, куда входили представители всех фабрик и заводов Выборгского района. Из представителей заводов помню рабочих Пурышева, Каюрова, Юркина, Гордиенко. Собирались каждую неделю и обсуждали практические мероприятия. Когда возник вопрос о необходимости поголовного обучения грамоте, заводы провели очень быстро силами рабочих учет неграмотных на заводах. Фабрикантам предъявлено было требование отвести помещения

под школы грамоты, а когда один какой-то заводчик отказался дать помещение, то работницы подняли невероятный скандал, выявили, что одно из помещений при фабрике занято ударниками (солдатами из особо шовинистски настроенных батальонов); кончилось тем, что фабрикант нанял помещение под школу. Был налажен со стороны рабочих контроль за посещением уроков и за преподаванием. Недалеко от управы стоял пулеметный полк. Он считался вначале очень надежным, но его „надежность“ очень быстро растаяла. Как только поставили пулеметный полк на Выборгскую сторону, среди солдат начали вести агитацию. Первыми агитаторами за большевиков оказались торговки семечками, квасом и т. д. Среди них было не мало солдаток. Работницы Выборгского района были не похожи на работниц, которых я знала в 90-е годы и даже в революцию 1905 года. Они были хорошо одеты, выступали активно на собраниях, были политически сознательны. Рассказывала мне одна работница: „Муж у меня на фронте. Жили мы с ним дружно, не знаю, как будет теперь, когда вернется с фронта. Я теперь за большевиков, с ними иду, а не знаю, как он там, на фронте... Понял ли, увидал ли, что с большевиками надо итти. Часто ночью думаю—вдруг не понял еще. Только не знаю, дождусь ли, может убьют его да я вот кровью харкаю в больницу еду“. Крепко запомнилось мне худое лицо этой работницы с красными пятнами на щеках, ее тревога за то, не пришлось бы разойтись с мужем из-за взглядов. Но в культурной работе в то время впереди шли не работницы, а рабочие. Они вникали во все. Тов. Гордиенко очень много, например, возился с детскими садами, т. Куклин внимательно следил за работой молодежи.

Я тоже вплотную встала к работе молодежи. Молодежь, сгруппированная в союз „Свет и знание“, вырабатывала свою программу. Среди ребят были большевики, меньшевики, анархисты, беспартийные. Программа была архинаивна и первобытна, но споры вокруг нее были очень интересны. Например, один из пунктов гласил, что все должны научиться шить. Тогда один парень—большевик—заметил: „Зачем же всем шить учиться? Конечно, девочкам надо уметь, а то не сумеет потом мужу пуговицу к брюкам пришить, а всем-то зачем учиться?!“ Эти слова вызвали бурю негодования. Не только девушки, но все ребята возмегодовали, повскакали с мест. „Пуговицу к брюкам жена должна пришивать? Ты что? Старое женское рабство хочешь поддерживать? Жена мужу товарищ, а не служанка!“ Автор предложения, чтобы только женщины учились шитью,

Обезоруженный правительством Керенского 1-й пулеметный полк.

принужден был сдаться. Помню разговор с другим парнем, защищавшим яро большевиков, с Мурашевым. Я его спрашиваю: „Почему вы не входите в организацию большевиков?“— „Видите ли,—отвечал он мне,—нас несколько человек молодежи были в организации. Но почему мы пошли? Думаете, потому, что понимали, что большевики правы? Не потому, а потому, что большевики своим револьверы раздавали! Так никуда не годится. Надо по сознанию итти; я вернул билет, пока до конца не разберусь“. Надо сказать, что в „Свет и знание“ входили все же лишь ребята, революционно настроенные, ребята не потерпели бы в своей среде никого, кто стал бы высказывать правые взгляды. Публика была активная, выступала у себя на заводах, на своих собраниях, только очень доверчивая. С этой доверчивостью приходилось всячески бороться.

Много приходилось работать среди женщин. Я уже забыла свою недавнюю еще застенчивость и выступала везде, где надо.

С головой ушла я в работу, хотелось втянуть массы поголовно в общественную работу, сделать возможным осуществление той „народной милиции“, о которой ставил тогда вопрос Владимир Ильич.

Начав работать в Выборгском районе, я еще меньше стала видеть Ильича, а время было острое, борьба разгоралась. 18 июня было не только днем демонстрации 400 тысяч рабочих и солдат под большевистскими лозунгами, 18 июня было днем, когда Временное правительство, после трех месяцев колебаний, под напором союзников, начало наступление на фронте. Большевики уже стали выступать в печати и на собраниях. Временное правительство почувствовало, что почва колеблется у него под ногами. 28 июня началось поражение русской армии на фронте; это страшно взволновало войска.

В конце июня Ильич вместе с Марией Ильинишной поехал на несколько дней отдохнуть к Бонч-Бруевичам в деревню Нейвола около станции Мустамяки (недалеко от Питера). Тем временем в Петрограде разразились следующие события. Пулеметный полк, стоявший на Выборгской стороне, решил начать вооруженное восстание. За два дня перед тем наша просветительная комиссия сговорилась с культурно-просветительной комиссией пулеметного полка собраться в понедельник для обсуждения совместно некоторых вопросов культурной работы. Никто, само собой, от пулеметного полка не пришел, пулеметный полк весь ушел. Я пошла в дом Кшесинской. Вскоре я нагнала пулеметчиков на Самсониевском проспекте. Стройными рядами шли солдаты. Осталась в памяти такая сцена. С тро-

туара сошел старый рабочий и, идя навстречу идущим солдатам, поклонился им в пояс и громко сказал: „Уж постойте, братцы, за рабочий народ!“ Во дворце Кшесинской из присутствовавших в помещении ЦК товарищей помню Сталина и Лашевича. Пулеметчики останавливались около балкона и отдавали честь, потом шли дальше. Потом к ЦК подошли еще два полка, потом подошла рабочая демонстрация. Вечером был послан товарищ в Мустамяки за Ильичем. Центральный комитет дал лозунг превратить демонстрацию в мирную, а между тем пулеметный полк стал уже возводить у себя баррикады. Я помню, как долго лежал на диване в выборгской управе т. Лашевич, который вел работу в этом полку, и смотрел в потолок, прежде чем пойти к пулеметчикам уговаривать их прекратить выступление. Трудненько ему это было, но таково было постановление Центрального комитета. Заводы и фабрики забастовали. Из Кронштадта прибыли матросы. Огромная демонстрация вооруженных рабочих и солдат шла к Таврическому дворцу. Ильич выступал с балкона дворца Кшесинской. Центральный комитет написал воззвание с призывом о прекращении демонстрации. Временное правительство вызвало юнкеров и казаков. На Садовой открыта была стрельба по демонстрантам.

СНОВА В ПОДПОЛЬЕ

Эту ночь Ильичу устроили ночевку у Сулимовых (на Петербургской стороне). Самое надежное место, где лучше всего можно было укрыть Ильича, было на Выборгской стороне. Решено было, что он будет жить у рабочего Каюрова. Я зашла за Ильичем к Сулимовым, и мы пошли с ним на Выборгскую сторону. Шли мимо Московского полка по какому-то бульвару. На бульваре сидел Каюров. Увидя нас, он пошел немного впереди, за ним пошел Ильич, я повернула в сторону. Юнкера разгромили редакцию „Правды". Днем было собрание ПК в сторожке завода Рено, на котором присутствовал Ильич. Обсуждался вопрос о всеобщей забастовке. Было решено забастовки не устраивать. Оттуда Ильич отправился на квартиру к т. Фофановой, в Лесном, где у него было свидание с некоторыми членами Центрального комитета. В этот день рабочее движение было подавлено. Алексинский, бывший член II Думы от рабочих Петрограда, впередовец, когда-то близкий товарищ по работе, и член партии эсеров Панкратов, старый шлиссельбуржец, пустили в ход клевету о том, что Ленин, по имеющимся якобы у них данным,—немецкий шпион. Они рассчитывали этой клеветой парализовать влияние Ленина. 6 июля Временное правительство приняло постановление арестовать Ленина, Зиновьева, Каменева. Дом Кшесинской был занят правительственными войсками. От Каюрова Ильич перебрался к Аллилуеву, где скрывался также и Зиновьев. У Каюрова сын был анархист, молодежь возилась с бомбами, что не очень-то подходило для конспиративной квартиры.

7-го мы были у Ильича на квартире Аллилуевых вместе с Марией Ильинишной. Это был как раз у Ильича момент колебаний. Он приводил доводы за необходимость явиться на суд. Мария Ильинишна горячо возражала ему. „Мы с Григорием решили явиться, пойди скажи об этом Каменеву",—сказал мне Ильич. Каменев в это время находился на другой квартире поблизости. Я заторопилась. „Давай попрощаемся,—остановил меня Владимир Ильич,—может не увидимся уж". Мы обня-

лись. Я пошла к Каменеву и передала ему поручение Владимира Ильича. Вечером т. Сталин и другие убедили Ильича на суд не являться и тем спасли его жизнь. Вечером у нас на Широкой был обыск. Обыскивали только нашу комнату. Был какой-то полковник и еще какой-то военный в шинели на белой подкладке. Они взяли из стола несколько записок, какие-то мои документы. Спросили, не знаю ли я, где Ильич, из чего я заключила, что он не объявился. На утро пошла к т. Смилге, который жил на той же Широкой улице, там же были Сталин и Молотов. Там я узнала, что Ильич и Зиновьев решили скрываться.

Через день, 9-го, к нам ввалилась с обыском целая орава юнкеров. Они тщательно обыскали всю квартиру. Мужа Анны Ильинишны, Марка Тимофеевича Елизарова, приняли за Ильича. Допрашивали меня, не Ильич ли это. В это время у Елизаровых домашней работницей жила деревенская девушка Аннушка. Была она из глухой деревни и никакого представления ни о чем не имела. Она страстно хотела научиться грамоте и каждую свободную минуту хваталась за букварь, но грамота ей давалась плохо: „Пробка я деревенская!“ — горестно восклицала она. Я ей старалась помочь научиться читать, а также растолковывала, какие партии существуют, из-за чего война и т. д. О Ленине она представления не имела. 8-го я не была дома; наши рассказывали, что к дому подъехал автомобиль и устроена была враждебная демонстрация. Вдруг вбегает Аннушка и кричит: „Какие-то Оленины приехали!“ Во время обыска юнкера ее стали спрашивать, указывая на Марка Тимофеевича, как его зовут? Она не знала. Они решили, что она не хочет сказать. Потом пришли к ней в кухню и стали смотреть под кроватью, не спрятался ли там кто. Возмущенная Аннушка им заметила: „Еще в духовке посмотрите, может там кто сидит“. Нас забрали троих—меня, Марка Тимофеевича и Аннушку—и повезли в генеральный штаб. Рассадили там на расстоянии друг от друга. К каждому приставили по солдату с ружьем. Через некоторое время врывается рассвирепелое какое-то офицерье, собираются броситься на нас. Но входит тот полковник, который делал у нас обыск в первый раз, посмотрел на нас и сказал: „Это не те люди, которые нам нужны“. Если бы был Ильич, они бы его разорвали на части. Нас отпустили. Марк Тимофеевич стал настаивать, чтобы нам дали автомобиль ехать домой. Полковник пообещал и ушел. Никто никакого автомобиля нам, конечно, не дал. Мы наняли извозчика. Мосты оказались разведены. Мы добрались до дому

лишь к утру. Долго стучали в дверь, стали уж бояться, не случилось ли что с нашими. Наконец достучались.

У наших был обыск еще третий раз. Меня не было дома, была у себя в районе. Прихожу домой, вход занят солдатами, улица полна народом. Постояла и пошла назад в район,—все равно, ничем не поможешь. Притащилась в район уж поздно, никого там не было, кроме сторожихи. Немного погодя пришел Слуцкий—товарищ, приехавший недавно из Америки вместе с Володарским, Мельничанским и др.; потом он был убит на Южном фронте. Он ушел только что из-под ареста, стал меня убеждать не итти домой, послать сначала утром кого-нибудь, чтобы разузнать, в чем дело. Пошли мы с ним искать ночевки, но адресов товарищей мы не знали, долго бродили по району, пока не добрались до Фофановой—товарища по работе в районе, которая и устроила нас. Утром оказалось, что никто из наших не арестован и обыск на этот раз производили менее грубо, чем предыдущий.

Ильич вместе с Зиновьевым скрывались у старого подпольщика, рабочего Сестрорецкого завода Емельянова, на ст. Разлив, недалеко от Сестрорецка. К Емельянову и его семье у Ильича сохранилось до конца очень теплое отношение.

Я стала все время проводить в Выборгском районе. В июльские дни поражала разница между настроениями обывателя и рабочих. В трамваях, по улицам шипел из всех углов озлобленный обыватель, но перейдешь через деревянный мост, который вел на Выборгскую сторону, и точно в другой мир попадешь. Дел было уйма. Через т. Зофа и других, связанных с т. Емельяновым, получала я записки от Ильича с разными поручениями. Реакция росла. 9 июля объединенное заседание ВЦИК и Исполнительного комитета Совета рабочих и крестьянских депутатов объявило Временное правительство—„правительством спасения революции“; в тот же день началось „спасение“. В тот же день был арестован Каменев, 12 июля отдан приказ о введении смертной казни на фронте, 15 июля закрыта „Правда“ и „Окопная Правда“ и издан приказ о запрещении на фронте митингов, были произведены аресты большевиков в Гельсингфорсе, закрыта там большевистская газета „Волна“, 18 июля был распущен Финляндский сейм, генерал Корнилов назначен верховным главнокомандующим, 22 июля арестованы были Троцкий и Луначарский.

Вскоре после июльских дней Керенский придумал меру, которой рассчитывал поднять дисциплину в войсках; он решил, что надо пулеметный полк, начавший выступление в июльские

дни, вывести безоружным на площадь и там заклеймить позором. Я видела, как разоруженный полк шел на площадь. Под узду вели разоруженные солдаты лошадей, и столько ненависти горело в их глазах, столько ненависти было во всей их медленной походке, что ясно было, что глупее ничего не мог Керенский придумать. И, в самом деле, в Октябре пулеметный полк беззаветно пошел за большевиками, охраняли Ильича в Смольном пулеметчики.

Партия большевиков перешла на полулегальное положение, но она росла и крепла; к моменту открытия VI съезда партии 26 июля она насчитывала уже 177 тысяч, вдвое больше, чем три месяца назад, во время Всероссийской апрельской конференции большевиков. Рост влияния большевиков особенно в войсках был несомненен. VI съезд сплотил еще больше силы большевиков. В воззвании, выпущенном от имени VI съезда, говорилось о той контрреволюционной позиции, которую заняло Временное правительство, о том, что готовится мировая революция, схватка классов. „В эту схватку,—говорилось в воззвании,—наша партия идет с развернутыми знаменами. Она твердо держала их в своих руках. Она не склонила их перед насильниками и грязными клеветниками, перед изменниками революции и слугами капитала. Она впредь будет держать их высоко, борясь за социализм, за братство народов. Ибо она знает, что грядет новое движение и настанет смертный час старого мира“ (Соч., т. XXI, стр. 484).

25 августа началось движение корниловцев на Петроград. Питерские рабочие и выборжцы в первую очередь, конечно, бросились на защиту Петрограда. Навстречу отрядам корниловских войск, так называемой „дикой дивизии“, были посланы наши агитаторы. Корниловские войска очень быстро разложились, настоящего наступления не получилось. Генерал Крымов, командовавший корпусом, направленным на Петроград, застрелился. Мне запомнилась фигура одного нашего выборгского рабочего—молодого парня. Он работал по организации дела ликвидации безграмотности. В числе первых двинулся он на фронт. И вот, помню, вернулся он с фронта и еще с винтовкой на плече примчался в районную думу. В школе грамоты нехватило мелу. Входит парень, лицо его дышит еще оживлением борьбы, сбрасывает винтовку, ставит ее в угол и начинает горячо толковать о меле, о досках. В Выборгском районе мне пришлось каждодневно наблюдать, как тесно увязывалась у рабочих их революционная борьба с борьбой за овладение знанием, культурой.

Жить в шалаше на ст. Разлив, где скрывался Ильич, было дальше невозможно, настала осень, и Ильич решил перебраться в Финляндию—там хотел он написать задуманную им работу „Государство и революция", для которой он сделал уже массу выписок, которую уже обдумал со всех сторон. В Финляндии удобнее было также следить за газетами. Н. А. Емельянов достал ему паспорт сестрорецкого рабочего, Ильичу надели парик и подгримировали его. Дмитрий Ильич Лещенко, старый партийный товарищ времен 1905—1907 гг., бывший секретарь наших большевистских газет, у которого часто ночевал в те времена Владимир Ильич,—теперь т. Лещенко был моим помощником по культработе в Выборгском районе,—съездил в Разлив и заснял Ильича (к паспорту нужно было приложить карточку). Тов. Ялава, финский товарищ, служивший машинистом на Финляндской железной дороге,—его хорошо знали тт. Шотман и Рахья,—взялся перевезти Ильича под видом кочегара. Так и было сделано. Сношения велись с Ильичем также через т. Ялаву, и я не раз заходила потом к нему за письмами от Ильича—т. Ялава жил также в Выборгском районе. Когда Ильич устроился в Гельсингфорсе, он прислал химическое письмо, в котором звал приехать, сообщал адрес и даже план нарисовал, как пройти, никого не спрашивая. Только у плана отгорел край, когда я нагревала письмо на лампе. Емельяновы достали паспорт и мне—сестрорецкой работницы-старухи. Я повязалась платком и поехала в Разлив, к Емельяновым. Они перевели меня через границу; для пограничных жителей было достаточно паспорта для перехода границы; просматривал паспорта какой-то офицер. Надо было пройти от границы верст пять лесом до небольшой станции Олилла, где сесть в солдатский поезд. Все обошлось как нельзя лучше. Только отгоревший кусок плана немного подсадил—долго бродила я по улицам, пока нашла ту улицу, которая была нужна. Ильич обрадовался очень. Видно было, как истосковался он, сидя в подполье в момент, когда так важно было быть в центре подготовки к борьбе. Я ему рассказала о всем, что знала. Пожила в Гельсингфорсе пару дней. Захотел Ильич непременно проводить меня до вокзала, до последнего поворота довел. Условились, что приеду еще.

Второй раз была я у Ильича недели через две. Как-то запоздала и решила не заезжать к Емельяновым, а пойти до Олилла самой. В лесу стало темнеть—глубокая осень уже надвигалась, взошла луна. Ноги стали тонуть в песке. Показалось мне, что сбилась я с дороги; я заторопилась. Пришла в Олилла,

а поезда нет, пришел лишь через полчаса. Вагон был битком набит солдатами и матросами. Было так тесно, что всю дорогу пришлось стоять. Солдаты открыто говорили о восстании. Говорили только о политике. Вагон представлял собой сплошной крайне возбужденный митинг. Никто из посторонних в вагон не заходил. Зашел вначале какой-то штатский, да послушав солдата, который рассказывал, как они в Выборге бросали в воду офицеров, на первой же станции смылся. На меня никто не обращал внимания. Когда я рассказала Ильичу об этих разговорах солдат, лицо его стало задумчивым и потом уже, о чем бы он ни говорил, эта задумчивость не сходила у него с лица. Видно было, что говорит он об одном, а думает о другом, о восстании, о том, как лучше его подготовить.

13—14 сентября Владимир Ильич пишет уже в ЦК письмо „Марксизм и восстание", а в конце сентября перебирается уже из Гельсингфорса в Выборг, чтобы быть поближе к Питеру; из Выборга пишет письмо Смилге в Гельсингфорс (Смилга в это время был председателем Областного комитета армии и флота и рабочих Финляндии) о том, что надо *все внимание* отдать *военной* подготовке финских войск, флота для предстоящего свержения Керенского. О том, как надо перестроить весь государственный аппарат, как по-новому организовать массы, как по-новому переткать всю общественную „ткань", как выражался Ильич,—об этом он неустанно думал, об этом он писал в статье „Удержат ли большевики государственную власть?", писал в воззвании к крестьянам и солдатам, в письме питерской городской конференции для прочтения на закрытом заседании, где указывал уже конкретные меры, которые надо предпринять для взятия власти; о том же написал членам ЦК, МК, ПК и членам Советов Питера и Москвы—большевикам.

Общий вид Смольного.

Digitized by Google

КАНУН ВОССТАНИЯ

7 октября Ильич перебрался из Выборга в Питер. Решено было соблюдать сугубую конспирацию: не говорить адреса, где он будет скрываться, даже членам Центрального комитета. Поселили мы его на Выборгской стороне, на углу Лесного проспекта, в большом доме, где жили исключительно почти рабочие, в квартире Маргариты Васильевны Фофановой. Квартира была очень удобна, по случаю лета никого там не было, даже домашней работницы, а сама Маргарита Васильевна была горячей большевичкой, бегавшей по всем поручениям Ильича. Через три дня, 10 октября, Ильич принимал участие в заседании ЦК на квартире Сухановой, где была принята резолюция о вооруженном восстании. Десять человек членов ЦК (Ленин, Свердлов, Сталин, Дзержинский, Троцкий, Урицкий, Коллонтай, Бубнов, Сокольников, Ломов) голосовали за вооруженное восстание. Зиновьев и Каменев—против.

15 октября состоялось заседание петроградской организации. Происходило оно в Смольном (один уж этот факт был очень показателен); были делегаты от районов (от Выборгского района было восемь человек). Помню—выступал за вооруженное восстание Дзержинский, против—Чудновский. Чудновский был ранен на фронте, у него была рука на перевязи. Волнуясь, он указывал, что мы потерпим неминуемо поражение, что нельзя торопиться. „Ничего нет легче, как умереть за революцию, но мы повредим делу революции, если дадим себя расстрелять. Чудновский умер действительно за дело революции, погибнув во время гражданской войны. Он не был фразером, но точка зрения его была насквозь ошибочна. Я не помню других выступлений. При голосовании громадное большинство высказалось за немедленное восстание, весь Выборгский район голосовал за.

На другой день, 16-го, было расширенное заседание ЦК в Лесном, в Лесной подрайонной думе, где принимали участие, кроме членов ЦК, и члены Исполнительного комитета Петроградского комитета, военной организации, Петроградского совета профессиональных союзов фабрично-заводских комитетов, железнодорожников, Петроградского окружного комитета. На этом собрании обсуждались две линии: большинства—тех, кто был

за немедленное восстание, и меньшинства—тех, кто был против немедленного восстания. Резолюция Ленина собрала громадное большинство—19 голосов, 2 были против, 4 воздержались. Вопрос был решен. На закрытом заседании ЦК был выбран военно-революционный центр.

К Ильичу ходило минимальное количество народу; ходила я, Мария Ильинишна, был как-то т. Рахья. Раз помню такую сцену. Ильич куда-то услал Фофанову по делу; условлено было, что он дверей не будет никому открывать и не будет отзываться на звонки. Я стучала условным стуком. У Фофановой был двоюродный брат, учащийся в каком-то военном учебном заведении. Прихожу вечером, смотрю, стоит этот парень на лестнице с каким-то растерянным видом. Увидел меня и говорит: „Знаете, в квартиру Маргариты забрался кто-то". „Как забрался?"—„Да, прихожу, звоню, мне какой-то мужской голос ответил; потом звонил я, звонил—никто не отвечает". Парню я что-то наврала, уверила, что Маргарита сегодня на собрании, что ему это показалось, и только тогда успокоилась, когда он сел в трамвай и уехал. Вернулась потом, постучала условным стуком и, когда Ильич открыл дверь, принялась его ругать: „Парень мог ведь народ позвать". „Я подумал, что спешное". Я тоже ходила все время по поручениям Ильича, 24 октября он написал в ЦК письмо о необходимости брать власть сегодня же. Послал Маргариту с этим письмом, но не дождался ее возвращения, надел парик и пошел в Смольный; медлить нельзя было ни минуты.

Выборгский район готовился к восстанию. В помещении выборгской управы сидело 50 работниц, женщина-врач всю ночь учила их делать перевязки, в помещении районного комитета шло вооружение рабочих, группа за группой подходили они к комитету и получали оружие. Но в Выборгском районе подавлять был некого—заарестовали лишь какого-то полковника и нескольких юнкеров, пришедших пить чай при рабочем клубе. Ночью мы с Женей Егоровой ездили в Смольный на грузовике узнать, как идут дела.

Утром 25 октября (7 ноября) 1917 г. Временное правительство был низложено. Государственная власть перешла к Военно-революционному комитету—органу Петроградского Совета, стоявшего во главе петроградского пролетариата и гарнизона. В тот же день на II Всероссийском съезде Советов рабочих и солдатских депутатов образовано было рабоче-крестьянское правительств, организован был Совет народных комиссаров, председателем которого назначен был Ленин.

СОДЕРЖАНИЕ

I часть

Стр.

Введение 7
В Питере. 1893—1898 гг. 11
В ссылке. 1898—1901 гг. 26
Мюнхен. 1901—1902 гг. 42
Жизнь в Лондоне. 1902—1903 гг. 54
Женева. 1903 г. 68
Второй съезд. Июль — август 1903 г. 70
После второго съезда. 1903—1904 гг. 77
«Пятый» год. В эмиграции. 87
Снова в Питере. 104
Питер и Финляндия. 1905—1907 гг. 112
Из России за границу. Конец 1907 г. 124

II часть

Вторая эмиграция. 139
Годы реакции, Женева. 1908 г. 134
Париж. 1909—1910 гг. 150
Годы нового революционного подъема. 1911—1914 гг. 167
Париж. 1911—1912 гг. . . . . —
Начало 1912 года. 176
Краков 1912—1914 гг. 183
Годы войны 215
Краков . . . . . —
Берн. 1914—1915 гг. 220
Цюрих. 1916 г. 245
Последние месяцы в эмиграции. 1917 г. 259
Февральская революция. Отъезд в Россию. 260
В Питере. 269
Снова в подполье. 283
Канун восстания. 289

ИЛЛЮСТРАЦИИ

Стр.

1. В. И. Ленин в 1897 г. 6
2. Брат В. И. Ленина — А. И Ульянов 12
3. Дом предварительного заключения в Петербурге 20
4. Камера в тюрьме, в которой сидел В. И. Ленин в 1895—1896 г.г. 22
5. В. И. Ленин в группе членов Петербургского Союза борьбы за освобождение рабочего класса 24
6. Н. К. Крупская после выхода из тюрьмы в 1898 г. 26
7. Село Шушенское 30
8. Мать В. И. Ленина — Мария Александровна Ульянова 40
9. Группа «Освобождение труда» 44
10. И. И. Радченко 50
11. Могила К. Маркса в Лондоне 56
12. С. И. Радченко 58
13. А. А. Якубова 60
14. И. В. Бабушкин 62
15. Вид г. Женевы 68
16. Участники II съезда РСДРП 74
17. «Дяденька» (Лидия Михайловна Книпович) 122
18. Вид г. Женевы 134
19. Иннокентий (Дубовинский) 142
20. В. И. Ленин у Горького на о. Капри 144
21. Мать и сестра В. И. Ленина 162
22. Каме. 164
23. Лонжюмо. Дом, где была партийная школа 170
24. Лонжюмо. Дом, где жил В. И. Ленин 172
25. Инесса Арманд 186
26. И. В. Сталин 202
27. В. И. Ленин в Закопане (Галиция) 206
28. Дом в д. Пароннно (Галиция), где жил В. И. Ленин в 1914 г. . 214
29. Бернский народный дом 220
30. Мать Н. К. Крупской 234
31. Арестованные большевистские депутаты 236
32. В. И. Ленин в 1917 г. 268
33. Демонстрация 18 июня 1917 г. в Петрограде 278
34. Обезоруженный правительством Керенского 1-ый пулеметный полк 280
35. Общий вид Смольного 288

2011142663